ДЖОЗЕФ КЕМПБЕЛЛ

МИФЫ, В КОТОРЫХ НАМ ЖИТЬ



София, 256 стр

ISBN:5-344-00255-6

МИФЫ, В КОТОРЫХ НАМ ЖИТЬ / ПЕР. С АНГЛ. К. СЕМЁНОВ. — КИЕВ, М. : СОФИЯ, ИД "ГЕЛИОС", 2002. — 256 С.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА МИФ (1961Г.)

На днях я зашел перекусить в одно кафе и по обыкновению сел прямо у стойки. Место слева от меня занял паренек лет двенадцати со школьным ранцем, а на двух табуретах за ним расположились его млад-

ший брат и мама. Пока все ждали своих заказов» мальчик повернул голову к матери и сказал:

— Джимми написал сегодня работу про эволюцию человека, а учитель сказал, что все неверно, потому что нашими прародителями были Адам и Ева.

«Бог ты мой! _ подумал я. _ Ну и учитель!»

— Учитель прав, — ответила мальчику мать, _ Нашими прародителями действительно были Адам и Ева.

«Вот так-так — снова ужаснулся я, _ И это в двадцатом веки»

—Да, я знаю, но это была научная работа, — пояснил мальчик, и за эти слова мне тут же захотелось представить era к премии Смитсоновского института. Мамочка однако, гнула свое:

— Ох уж эти ученые! Все у них одни теории. Но мальчик оказался подкованный

— Да конечно, _ последовал сто спокойный ответ, — но уже есть и факты: они нашли кости,

Подали молоко с булочками, и разговор закончился. Давайте теперь немного поразмыслим об освященной веками картине космоса, погубленной находками и открытиями таких неугомонных искателем истины» как тот мальчишка. В XII—XIII веках, когда культура средневековья достигла своего расцвета, бытовали два противоположных взгляда на устройство Земли. Более распространенный заключался в том, что Земля плоская, как тарелка, и плавает посреди беспредельного космического моря, где обитают самые разнообразные и очень опасные чудища. Эти невероятно древние представления, восходящие к началу бронзового

века, встречаются уже в шумерских клинописных текстах второго тысячелетия до нашей эры. Позже эта картина мира была утверждена авторитетом Библии.

Более серьезными в средние века считались, однако, представления древних греков. По мнению последних, Земля была не плоским блином, а твердым неподвижным шаром, закрепленным в центре семи вложенных друг в друга, как матрешки, прозрачных вращающихся сфер, на каждой из которых крепилась одно из небесных светил — Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн; эти же семь имен мы находим в наших днях недели. Более того, звучания этих семи сфер составляли некую «музыку сфер» — ей соответствуют семь нот нашей диатонической гаммы. Наконец, каждой сфере соответствовал свой металл: серебро, ртуть, медь, золото, железо, олово и свинец. Дух, которому предстояло спуститься с Неба и родиться на Земле, приобретал, по мере нисхождения, свойства этих металлов; потому наши тела и души состоят из основных элементов Вселенной и, можно сказать, напевают ту же мелодию.

Древние греки считали, что музыка и другие искусства предназначены для того, чтобы настраивать мысли человека на вселенскую гармонию, от которой его отвлекают земные труды и заботы. В средние века с небесными сферами связывали также семь основных наук: грамматику, логику, риторику (так называемый тривиум), арифметику, музыку, геометрию и астрономию (квадривиум}. Сами же хрустальные сферы представлялись не стекловидной бездушной материей, а живыми духовными силами, которыми руководили ангелы, или, как называл их Платон, сирены.

Но главным было даже не это. Где-то там, позади сфер, простиралось блистательное небесное царство, где во всей своей славе восседал на триедином престоле Господь. После смерти душа возвращалась к Творцу; вновь проходя сквозь семь сфер, она сбрасывала на каждой соответ-

ствующее качество и представала перед Судом совершенно обнаженной. Император и Папа правили, как считалось, согласно законам и воле Бога и олицетворяли Его власть и могущество для всех христиан. Таким образом, мировоззрение средневековых мыслителей отражало безупречную гармонию между устройством Вселенной, обычаями общественного уклада и благом личности. Беспрекословное подчинение позволяло христианину ладить не только с обществом, но и с естественным мироустройством и лучшими наклонностями собственной души. Христианская Империя была земным отражением неземной иератической организации: идеи одежд, чинов и церемоний пышные имперские дворы черпали в высочайшей небесной образности, а колокольный звон и голоса певчих, возносившиеся над острыми шпилями соборов, перекликались с божественными аккордами ангельских хоров.

В «Божественной комедии» Данте нарисовал картину Вселенной, которая полностью удовлетворила Церковь и соответствовала научным взглядам того времени. Когда Сатана был низвержен за свою гордыню и непокорность, он, как считалось, рухнул с небес пламенной кометой и, столкнувшись с Землей, пронзил ее до самого центра. Образовавшийся громадный кратер стал огненным адским провалом, а на другой стороне Земли вздыбилась гигантская масса — гора Чистилища, которую Данте разместил прямо на Южном полюсе. В его представлении, южное полушарие Земли было целиком покрыто водой, и над океаном высилась только эта могучая гора с земным Раем на самой вершине; оттуда и текли четыре священные реки, перечисленные в Святом Писании.

Когда Колумб поднял паруса и пустился в плавание по «синему морю», которое многие его современники (и, скорее всего, члены команды) считали безбрежным океаном вокруг плоской дискообразной Земли, то, судя по дневникам мореплавателя, его взгляды на мироустройство мало чем отличались от описанных в «Божественной комедии». Из судовых журналов известно, например, что во время третьей экспедиции, когда хрупкие суда Колумба благополучно миновали опасные воды между Три-

нидадом и материком и впервые приблизились к северному побережью Южной Америки, вода за бортом стала более пресной (рядом было устье Ориноко). Со своими средневековыми представлениями Колумб и помыслить не мог, что впереди простирается новый континент, и потому предположил, что пресная вода исходит от одной из райских рек, вливающихся в южное море у подножия огромной горы Чистилища. Больше того, когда корабли развернулись к северу, Колумб обратил внимание на заметное ускорение хода и воспринял это как подтверждение того что теперь они движутся под гору, удаляясь от отрогов мифической райской вершины.

На мой взгляд, 1492 год знаменует завершение — или, по меньшей мере, начало конца — господства прежних мифологических систем, которые с незапамятных времен поддерживали и воодушевляли человеческую жизнь. Вскоре после эпохальных открытий Колумба состоялось кругосветное путешествие Магеллана, а незадолго до того Васко да Гама нашел путь в Индию в обход Африки- Началось систематическое составление подлинной карты Земли; рушилась древняя — символическая и мифологическая — география. Всего за два с половиной столетия до мореплаваний Колумба Фома Аквинский утверждал, что Райский Сад находится где-то на Земле: «Рай отгорожен от обитаемого мира непроходимыми горами, морями или знойными пустынями, поэтому о нем и не упоминается в трудах по описанию земель». Через полвека после первой экспедиции Колумба увидела свет работа Коперника о гелиоцентрической вселенной (1543 г.), а еще шестьдесят лет спустя небольшой телескоп Галилея наглядно подтвердил эту картину мира. В 1616 году инквизиция осудила Галилея за распространение доктрины, противоречащей Святому Писанию, — подобно тому как мать осудила сидевшего рядом со мной у стойки мальчика. Сегодня у нас, конечно, есть телескопы nокрупнее, установленные на вершинах гор — например, Маунт-Вилсон и Паломар в Калифорнии, Китт-Пик в Аризоне или Халеакала на Гавайях, — так что теперь мы точно знаем, что Солнце не только находится в центре нашей планетной системы, но и представляет собой рядовую звезду

среди двухсот миллиардов ослепительно ярких светил, сама же Галактика похожа на гигантскую чечевицу диаметром в несколько сот квинтильонов миль!

Больше того, нынешние телескопы позволяют четко различить среди сверкающих солнц тусклые пятнышки — не звезды, а целые галактики, и каждая из них столь же велика и непостижима, как наша! Открыты уже тысячи этих звездных скоплений. Поистине, возникает благоговейный трепет перед великолепием Вселенной и чудесами, которые открывает в ней наука- Действительность, несомненно, намного удивительнее и громаднее всего, что можно было вообразить в донаучный век. По сравнению с ней крошечная картинка мира из Библии годится разве что для детской комнаты _ впрочем, судя по словам юного естествоиспытателя из кафе, давние сказки теперь не производят впечатления даже на малышей. «Да, я знаю, но это научная работа», — сказал он и, значит, уже нашел способ уберечь свои познания от обломков осыпающегося средневекового храма мамочки.

Развалились древние мифические представления не только об устройстве космоса, но и о началах и ходе истории человечества. Уже в шекспировские времена опытный мореплаватель сэр Уолтер Рэйли, попав в Америку и увидев там огромное разнообразие совершенно неизвестных Старому Свету животных, тут же смекнул, что Ной просто не смог бы собрать «каждой твари по паре», каким бы вместительным ни был его ковчег. Библейское предание о Потопе оказалось несостоятельным: оно противоречило фактам. Хуже того, уже в новейшие времена ученые показали, что первые человекообразные существа появились на земле миллионами лет раньше библейской даты сотворения мира. Гигантские палеолитические пещеры Европы были «обжиты» примерно в тридцатом тысячелетии до нашей эры, земледелие возникло в десятом, а первые крупные города существовали уже за семь тысяч лет до Рождества Христова. Однако Каин, старший сын первочеловека Адама, именуется «земледельцем» (Быт. 4:2); и далее говорится, что он построил в

земле Нод, к востоку от Едема, первый город Енох (Быт 4:17). Библейская теория вновь оказывается ложной: они таки нашли кости. Кроме костей, найдены и строения, что тоже не согласуется с Писанием. Например, описанный в «Исходе» период египетской истории — предположительно, эпоха Рамзеса II (1301—1234 гг. до н. э.), Менептаха (1234—1220 гг. до н.э.) или, возможно, Сети II (1220—1200 гг. до н.э.) — представлен множеством памятников архитектуры и письменности, среди которых нет, однако, даже намеков на известные библейские бедствия, каких-либо упоминаний о чем-то подобном. Больше того, согласно другим хроникам, кочевые племена евреев, хабиру, наводняли Ханаан уже в период царствования Эхнатона (1377—1358 гг. до н. э.), столетием раньше правления Рамзеса. Одним словом, древнееврейские тексты, на основе которых сложились популярные иудейские предания о сотворении мира. Исходе, сорока годах в пустыне и завоевании Ханаана, вовсе не были начертаны Богом или человеком по имени Моисей. Они созданы разными авторами в разные эпохи, намного позже, чем принято было считать. Первые пять книг Ветхого Завета (Тора) приобрели законченную форму уже после Ездры (IV в. до н. э.), а источники их возникновения датируются обширными сроками примерно с IX по II в. до н. э. Легко заметить, например, что некогда существовали две легенды о Потопе: в первой говорится, что Ной разместил в ковчеге «от всякой плоти по паре» (Быт. 6:19—20; период после Ездры), а во второй — «всякого скота чистого [...] по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два» (Быт. 7:2—3; ок. 800 г. до н. э., с погрешностью не более 50 лет). Можно выявить и две версии сотворения мира: ранняя входит во вторую главу «Книги Бытия», а более поздняя — в первую. Во второй главе рассказано о насаждении Сада и создании человека, чтобы тот ухаживал за Едемом; потом появляются животные и, наконец, как в сказке, из Адамова ребра создается праматерь Ева. В первой же главе Бытия Бог _ один над космическими водами _ говорит: «Да будет свет», после чего шаг за шагом рождается Вселенная: сначала свет, три дня спустя Солнце, затем травы, звери и, в завершение, люди — сразу и

мужчина и женщина. Составление первой главы относится к IV в. до н. э. (времена Аристотеля), а второй _ к IX—VIII вв. до н. э. (эпоха Гесиода).

Сравнительная культурология показала, что сходные мифические предания существуют во всех уголках Земли. При встрече с ацтеками Кортес и другие испанцы-католики тут же подметили в религии туземцев необъяснимое множество параллелей с собственной Истинной Верой. Ацтекские храмы-пирамиды точь-в-точь напоминали Дантову гору Чистилища, где ступени символизируют последовательные этапы восхождения духа. У ацтеков было тринадцать небес, которыми правили свои боги и ангелы, и девять кругов ада для проклятых душ, а над всем этим, вне пределов человеческого понимания и воображения, царил Верховный Бог. Был у ацтеков даже связанный со змеем Спаситель: он родился от непорочной девы, умер и воскрес, а одним из его символов был крест. Для пояснения такого сходства католические отцы придумали два собственных мифа. Смысл первого сводился к тому, что святой Фома, апостол обеих Индий, добрался, вероятно, до самой Америки и проповедовал индейцам Евангелие, но поскольку их земли слишком далеки от римского влияния, учение со временем исказилось; таким образом, испанцы увидели собственную веру в чудовищно изуродованном обличье. Второе объяснение предполагало, что дьявол умышленно подбросил несчастным туземцам кощунственную пародию на христианство, чтобы сорвать миссионерскую деятельность.

В ходе методичного сопоставления мифов и обрядов разных народов современные ученые почти всюду обнаружили предания о девах, дарующих рождение героям, которые гибнут и после воскресают. Переполнена такими легендами, например, Индия, чьи храмы-башни, как и пирамиды ацтеков, соответствуют нашей космической горе с раем на вершине и ужасными преисподними в недрах. Сходные взгляды свойственны буддистам и джайнам. Если же оглянуться назад, в дохристианское прошлое, перед глазами разворачивается настоящая вереница умирающих и воскресающих богов: египетский Осирис, месопотамский Думузи

(Таммуз), сирийский Адонис, греческий Дионис _ готовые образцы для раннехристианских сюжетов из жизни Иисуса.

Простой люд всех крупных цивилизаций склонен был истолковывать собственные символические образы буквально и, следовательно, считал себя в определенном смысле избранным народом, непосредственно приближенным к Абсолюту. Даже политеисты греки и римляне, индийцы и китайцы, взиравшие на чужих богов и иноземные обычаи вполне доброжелательно, себе отводили исключительное или, по меньшей мере, высшее положение. Что касается исповедующих единобожие иудеев, христиан и мусульман, то для них, разумеется, все другие божества — сущие дьяволы, а те, кто им поклоняется, — вероотступники. Таким образом, Мекка, Рим, Иерусалим и (менее явно) Бенарес и Пекин долгими столетиями были, каждый по-своему, пупом Вселенной, «прямой линией связи» с Царством Бога, или Света.

В наши дни, однако, ни один человек, начиная с детского сада, не воспринимает подобные притязания всерьез. Но это таит в себе и большую опасность. И не только потому, что буквальное толкование символики всегда наиболее приемлемо для толпы. Кроме прочего, дословное понимание символических образов извечно было — и фактически остается _ опорой самой цивилизации, нравственных ценностей, сплоченности общества, его жизнеспособности и созидательной силы. Утрата подобных корней сменяется неопределенностью, а она, в свою очередь, влечет нарушение равновесия, поскольку человеческое существование, как хорошо понимали Ибсен и Ницше, настоятельно требует жизнеутверждающих иллюзий, иначе у людей не остается ничего верного и надежного, никаких моральных устоев. Нам уже известно, что происходит, например, с «отсталыми» народами после вторжения цивилизованного белого человека: как только гибнут давние табу, первобытные общества тут же разваливаются, заражаются пороками и вымирают.

Но сегодня это происходит и с нами. Современная наука поколебала древние запреты, берущие начало в мифологии, — и теперь по всему цивилизованному миру стремительно катится лавина безнравственности и преступности, душевных болезней, самоубийств и наркомании; обычными стали разрушенные семьи, распущенные дети, жестокость, насилие и отчаяние. Я не преувеличиваю: таковы факты, и они действительно дают проповедникам право призывать к покаянию, изменению взглядов и возврату к прежней религии; они же подвергают нелегким испытаниям твердость новой веры и благонадежность современного педагога. Действительно, чему должен прежде всего хранить верность добросовестный учитель, озабоченный нравственностью своих учеников не меньше, чем глубиной их книжных познаний, — основополагающим мифам нашей цивилизации или «подкрепленным фактами» научным истинам? Действительно ли одно непримиримо с другим? Неужели не существует позиции — вне поля боя истины и заблуждений, — с которой можно вернуть к единству человеческие жизни?

Я считаю, что сейчас это важнейшая проблема в воспитании детей. Именно она решалась тогда за стойкой кафе. В тот день и учитель, и мать приняли сторону отжившей иллюзии. Вообще говоря — во всяком случае, мне так кажется, — большинство авторитетных блюстителей общественных устоев чаще всего настроено против поисков тревожных истин. Такие тенденции проявляются с недавних пор даже в спорах обществоведов и антропологов о происхождении человека. Их беспокойство легко понять и, больше того, в определенной мере разделить: ведь род человеческий живет обманом, и лишь редкие люди способны смело принять вызов истины и соответственно изменить свою жизнь.

После долгих размышлений я пришел к твердому выводу, что ответ на эти важнейшие вопросы может дать только психология, в частности те ее открытия, которые связаны с источниками и природой мифа. Дело в том, что именно на мифах основаны нравственные устои общества и именно канонизированные мифологии становятся религиями. Поскольку

воздействие науки на миф ведет — судя по всему, неизбежно — к утрате морального равновесия, следует задаться вопросом: возможно ли подтвердить жизнеутверждающий характер мифов строго научными средствами и, критически взвешивая архаичное содержание древних преданий, в то же время избежать ложного толкования и отрицания мифов — иными словами, не выплескивать вместе с водой ребенка (точнее, целое поколение детей)?

Как я уже говорил, ортодоксы распространенных верований по традиции воспринимают и преподносят персонажей и события мифов как факты - Прежде всего это касается иудео-христианского мира, где свято верят, что исход из Египта и воскресение Христа действительно были. Но современная историческая наука подвергает сомнениям их фактическую достоверность, а вместе с ней, увы, и следующие из этих событий нравственные принципы.

Но если увидеть в мифологических сюжетах не хронику достоверных фактов, а перенесенные в мир истории воображаемые события и признать, кроме того, явное сходство таких фантазий, где бы они ни рождались — в Китае, Индии или на Юкатане, — приходишь к закономерному выводу, хотя эти легенды нельзя воспринимать как свидетельства подлинных исторических событий, такие повсеместно почитаемые порождения мифотворческой фантазии представляют собой безусловные факты сознания — или, как однажды определила эту загадку моя добрая знакомая, покойная Мэри Дерен, «факты сознания, проявленные в форме исторического вымысла». Разумеется, доказательство того, что мифы — ложные факты, что в нашем многорасовом мире нет никакого избранного народа, нет неоспоримой для всех Истины и одной-единственной Настоящей Церкви, должно оставаться делом историков, археологов и палеонтологов - С другой стороны, все более настоятельной задачей психологии и сравнительной мифологии становится не только выявление, анализ и толкование выраженных символами «фактов сознания», но и поиск средств, которые позволили бы мифам сберечь свою силу и, по

мере исчезновения старых обычаев уходящего прошлого, помочь человеку постигать и оценивать внутренний мир души и окружающий мир непреложных фактов.

За последние три четверти века отношение психологов к этим вопросам действительно заметно изменилось. Открывая великолепный, снискавший заслуженную славу труд сэра Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь», впервые изданный в 1890 году, мы знакомимся с типичным автором девятнадцатого века, когда почти никто не сомневался, что очень скоро наука развенчает суеверия мифологии и навеки предаст их забвению. Фрэзер видел опору мифа в магии, а основы магии — в психике. Его психология, однако, была преимущественно рассудочной и не уделяла особого внимания глубинным, иррациональным побуждениям человеческой души; Фрэзер полагал, что, если показать очевидную неразумность суеверия, давнее убеждение тут же отомрет. Чтобы убедиться в том, насколько он ошибался, достаточно взглянуть на любого профессора философии, играющего в кегли: глядите, как изгибается и приплясывает этот человек после броска, будто силится загнать катящийся шар в нужное место.

Фрэзер так и объяснял природу магии: если вещи имеют нечто общее в мыслях, то должны быть связаны и на самом деле. Потрясите погремушкой, чьи звуки напоминают шум дождя, — и скоро пойдет настоящий дождь. Проведите на поле торжественный обряд совокупления — и это повысит плодородие посевов. Возьмите предмет, напоминающий по виду вашего врага, воткните в него булавку — и враг умрет. Для достижения того же результата вполне достаточно бывает даже предмета, имеющего какое-то отношение к сопернику — обрывка одежды, пучка волос, обрезка ногтя. Итак, по мнению Фрэзера, первый закон магии звучит так: «Подобное влечет подобное», то есть следствие сходно с его причиной, а второй: «Некогда взаимосвязанные предметы продолжают влиять друг на друга на расстоянии и после того, как связь между ними разорвана». Фрэзер считал, что главная и конечная цель как магии, так и религии —

власть над природой, причем магия добивается этой власти механическими, подражательными действиями, а религия — подношениями и молитвами, обращенными к персонифицированным силам, которые якобы повелевают естественными явлениями. Напрашивается вывод, что автор не имел никакого представления о важности магии и религии для внутренних переживаний, а потому и не сомневался, что научно-технический прогресс рано или поздно уничтожит все суеверия, поскольку упомянутые задачи магии и религии намного лучше и точнее решаются наукой.

Но одновременно с многотомной работой Фрэзера в Париже вышел ряд не менее важных публикаций выдающегося невропатолога Жана Мартена Шарко, посвященных истерии, афазии, гипнотическим состояниям и тому подобным явлениям; помимо прочего, в его работах была показана их связь с искусством, в частности с иконографией. В 1885 году Зигмунд Фрейд провел целый год в общении с Шарко, а в первой четверти нашего века занялся принципиально новыми исследованиями истерии, снов и мифов.

По мнению Фрейда, мифы представляют собой психологические законы сновидений; это, так сказать, общественные сны, тогда как индивидуальные сновидения — это личные мифы. В толковании Фрейда, те и другие служат симптомами подавления младенческой тяги к кровосмешению, и потому неврозы отличаются от религии только тем, что последняя имеет общественный характер. Человек, страдающий неврозом, испытывает чувство стыда, одиночества и отчуждения; боги же представляют собой отражение неврозов общества на экране Вселенной. Невротические расстройства и религия в равной мере являются формами таящихся в подсознании заблуждений и навязчивых страхов. Больше того, Фрейд считал патологией искусство в целом и, в частности, искусство религиозное, _ как, впрочем, и любую философию. По существу, сама цивилизация — всего лишь патологический заменитель для подсознательных младенческих разочарований. Словом, Фрейд, как и Фрэзер, относился к сфере мифов, магии и религии отрицательно и видел в них

ошибки, которые рано или поздно будут изобличены, осознаны и искоренены наукой.

Совершенно иным был подход Карла Густава Юнга. На его взгляд, образность мифологии и религии служит положительным, жизнеутверждающим целям. Рассуждал он примерно так: цели и побуждения есть у всех органов человеческого тела (а не только у органов секса и агрессии);

одни из них поддаются сознательному управлению, а другие — нет. Наше обращенное вовне сознание, занятое повседневными хлопотами, порой теряет связь с внутренними силами, но, как утверждает Юнг, мифы — при правильном толковании — помогают эту связь возродить. Они образным языком рассказывают человеку о душевных силах, которые следует признать и сделать неотъемлемой частью своей жизни. Речь идет о силах, извечно присущих всем людям без исключения и олицетворяющих мудрость нашего вида, выкованную в бурях тысячелетий. Таким образом, мифы никогда не будут вытеснены открытиями науки, поскольку наука связана с окружающим миром, а не с глубинами души, куда люди погружаются во сне. Диалог с душевными силами, открывающимися в сновидениях и мифах, позволяет узнать и открыть для себя богатства нашего более сокровенного — и более мудрого — внутреннего Я, Подобным же образом, если общество лелеет свои мифы и поддерживает в них жизнь, оно черпает силы в самых здоровых и богатых слоях человеческого духа.

В этом, однако, тоже таится опасность, поскольку сосредоточенность на собственных сновидениях и унаследованных мифах отвлекает сознание от современного мира, закрепляет архаичные, непригодные для нынешней жизни чувства и образ мышления. По этой причине Юнг и говорит, что необходим диалог, а не жесткая приверженность чему-то одному, внешнему или внутреннему; диалог этот осуществляется посредством

символических форм, которые в непрестанном взаимодействии исходят от бессознательного и осмысляются сознанием.

Что же случится с детьми в обществе, которое не позволяет развивать подобное взаимодействие, цепляется за давние сновидения как источник непререкаемой истины, пренебрегает развитием сознания и рассудка, отвергает научные открытия и новые факты? Исчерпывающим ответом послужит одна из общеизвестных страниц истории-

Как известно любому школьнику, начала того, что называют сейчас наукой, приписывают древним грекам; накопленные ими познания распространились в Азии, дошли через Персию до Индии и дальше, до самого Китая. Однако к тому времени все восточные страны обладали самобытным мифологическим складом ума и не восприняли характерную для греков объективность, реализм, пытливость и любовь к эксперименту. Сравним с научной точки зрения, например. Библию — восточный священный текст, составленный главным образом после того, как Маккавеи отвергли греческую культуру, _ с трудами Аристотеля, не говоря об Аристархе Самосском (ок. 275 г. до н. э.), для которого Земля уже была шаром, движущимся по орбите вокруг Солнца. В те же времена Эратосфен (ок. 250 г. до н. э.) подсчитал, что длина окружности земного шара составляет 250 тысяч стадий (24662 мили вдоль экватора; по современным данным — 24902 мили), а Гияпарх (ок. 240 г. до н. э.) с точностью до нескольких миль вычислил диаметр Луны и ее среднюю удаленность от Земли. Теперь представьте, насколько меньше крови, пота и слез пролилось бы, — да что там говорить, ведь за ересь людей сжигали на костре! — если бы в 529 году нашей эры Юстиниан не закрыл все греческие языческие школы, а, напротив, поддержал их. Но вместо этих школ мы получили первую и вторую «Книги Бытия», что на добрую тысячу лет задержало развитие не только науки, но и всей мировой цивилизации.

Одной из самых поучительных историй отторжения науки стал пример ислама, который первоначально одобрял, признавал и даже разви-

вал античное наследие. На протяжении пяти-шести веков мусульмане внесли впечатляющий вклад в летопись научной мысли и экспериментальных исследований, особенно в области медицины. Но затем, увы, рухнула власть сунны — общего собрания и общего согласия, — неизменную правоту которой провозглашал сам пророк Мухаммед. Единственным источником истины стало Слово Божье — Коран, — а научные исследования неминуемо вели к «утрате веры в происхождение мира и в его Творца». Таким образом, примерно с 1100 года, едва свет греческой мысли начал наконец-то возвращаться из исламского мира в Европу, мусульманская наука и медицина постепенно пришли к полному застою; вместе с ними омертвел и ислам. Факел науки и самой истории вновь приняла христианская Европа, и с двенадцатого века мы можем во всех подробностях следить за ее чудесным развитием, летописью отважных и блистательных умов, чьи открытия не имеют себе равных среди всего достигнутого за долгий срок существования человека. Тот, чья нога никогда не ступала на земли, не затронутые этим европейским чудом, не в силах во всей полноте оценить, в каком долгу мы перед мыслителями прошлого. Все нынешние социальные преобразования в так называемых «развивающихся странах» стали, как и в минувшие века, результатом не самостоятельного прогресса, а внешних вторжений и их последствий. Любая малочисленная группа замыкается в давно замершей, окаменевшей мифологии, которая если и меняется, то только под давлением мощных потрясений — так случилось, например, когда исламские войска вторглись в Индию, где после этого некоторое время происходил неизбежный идейный обмен; так было и позже, когда в Индию пришли британцы, чьи поразительные, неожиданные нововведения ознаменовали зарю новой эпохи брожения в умах. С другой стороны, благодаря чистосердечным и непредвзятым исканиям горстки храбрецов, устремившихся к самим пределам беспредельной истины, современный западный мир переживает последовательное, непрерывное и плодотворное развитие, почти сравнимое по своему характеру с развитием и расцветом живого организма.

Как, однако, понимает смысл слова «истина» современный ученый? Очевидно, совсем иначе, чем мистик! По-настоящему важным, удивительным и многообещающим в научных открытиях является то, что наука не может притязать на «абсолютную» правоту. Научная истина не бывает окончательной. Это всегда лишь пробный набор «рабочих гипотез» («Ох уж эти ученые!» — «Да, но они нашли кости»), неплохо объясняющих известные факты.

Не скрывается ли за этим тайное намерение удовлетвориться неким окончательным сводом теорий или достаточно большим числом фактов?

Ни в коем случае! Поиски чего-то большего будут продолжаться, потому что разуму нужно расти — и пока происходит такое развитие, именно оно остается мерилом жизни современного западного мира со всеми его надеждами на будущее. Это мир перемен, нового мышления, новых изобретений, свершений и непрестанного преображения, а не оцепенения, застоя и навеки канонизированной «истины».

Итак, друзья мои, ничего-то мы на самом деле не знаем, и даже наука не может поведать нам истину, поскольку сама представляет собой, можно сказать, лишь стремление к истинам, пусть безудержное и безоглядное. Поэтому мне кажется, что наука будущего предложит нам откровения более живые, яркие и величественные, чем все, что когда-либо давали и даже обещали древние религии. Старинные тексты успокаивают отдаленными перспективами: по их словам, где-то там есть любящий, добрый и справедливый отец, который взирает на нас с высоты, готов принять нас и непрестанно радеет за наши драгоценные жизни. С другой стороны, наши науки утверждают, что никто не знает, что именно находится «где-то там», да и существует ли где-либо это «там». Утверждать можно только одно: нас окружает колоссальная панорама явлений, а органы чувств и особые инструменты выражают их языком разума в соответствии с природой мышления. Кроме того, существует панорама совершенно иных, внутренних образов, которые отчетливее всего воспри-

нимаются ночью, во сне, но подчас вторгаются в дневную жизнь и грозят нам безумием. Так или иначе, остается лишь гадать и по возможности строить новые гипотезы о том, что лежит в основе внешних и внутренних впечатлений. Что, где, почему? Эти самые обычные вопросы упираются в полную тайну, и мы точно знаем лишь то, что нам ровным счетом ничего не известно; остается просто набраться мужества и признать свое поражение.

Нет больше никаких требований — ничего такого, во что нужно верить и что следует делать. С другой стороны, каждый имеет право, если пожелает, продолжать средневековую, восточную и даже какую-нибудь первобытную игру. Мы живем в сложное время, и для тех, кто теряет присутствие духа, хороши любые средства, ограждающие от сумасшедшего дома.

Зимой 1954 года, когда я был в Индии, мне довелось беседовать с одним индийским господином, моим ровесником. После обычного обмена любезностями он с довольно чопорным видом поинтересовался:

— Что вы, западные ученые, думаете сейчас о возрасте Вед? Как вам, должно быть, известно, для индийцев Веды — то же, что Тора для евреев. Это самые древние индийские священные тексты, и потому к ним относятся с огромным почтением.

— Не так давно ученые сократили возраст Вед, — ответил я. — Если не ошибаюсь, сейчас их датируют десятым-пятнадцатым веком до нашей эры. Вы, наверное, знаете, что тут, в Индии, найдены следы цивилизации еще древнее ведической.

— Разумеется, — сухо, но без раздражения откликнулся мой собеседник и с непоколебимой убежденностью добавил: — Я знаю об этом, но как благоверный индуист не могу поверить, будто на свете есть что-то старше Вед.

И ОН ВОВСЕ НЕ КРИВИЛ ДУШОЙ.

— Ну и ладно, — пожал я плечами. — К чему тогда спрашивать? Следует, впрочем, отдать должное старой доброй Индии и завершить нашу тему отрывком из одного индуистского мифа. Мне кажется, его образность очень метко отражает общее ощущение перемен, которое все мы испытываем сейчас, когда приближаемся к важнейшему перепутью человеческой истории. Миф повествует о первых днях Вселенной, когда боги сражались со своими заклятыми врагами, титанами. Однажды они решили заключить перемирие, чтобы сообща вспахтать Молочный Океан — Вселенское Море — и добыть масло бессмертия. Мутовкой для пахтания стала Космическая Гора (ведический двойник Дантовой), а веревкой — обвившая гору Космическая Змея. Боги взялись за голову Змеи, титаны потянули за хвост, и Космическая Гора завертелась. Океан пахтали тысячу лет, пока из его глубин не поднялось черное облако смертельно ядовитого дыма. Пахтание пришлось приостановить. Боги с титанами пробились к источнику неслыханного могущества, но сначала им нужно было справиться с первыми, губительными проявлениями этой силы. Для того чтобы продолжать работу, кто-то должен был вобрать в себя отравленную тучу. Все знали, что на такой подвиг способен только один — архетипический бог йоги, устрашающий и демонический Шива. Он собрал ядовитый газ в миску для подаяния, одним глотком опустошил ее и, благодаря искусству йоги, задержал в горле, которое тут же налилось синевой (с тех пор Шиву начали называть Нилакантха — «Синяя Шея»). После это чудесного деяния боги и титаны вновь принялись за дело. Они пахтали, пахтали, пахтали без устали — как вдруг из Космического Океана начали подниматься драгоценные блага: Луна, Солнце, слон о восьми хоботах, великолепный жеребец, чудодейственные лекарства и — наконец! — огромная сияющая чаша с амброзией.

На мой взгляд, этот древнеиндийский миф иносказательно описывает наши сегодняшние труды и побуждает бесстрашнее, энергичнее продолжать начатое дело.

II. РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (1966Г.)

Мифология — несомненно, сверстник человечества. Найдены подтверждения того, что уже в самом далеком прошлом, куда удалось заглянуть с помощью разрозненных свидетельств появления нашего рода, творчество и сама жизнь Homosapiens строились на мифических представлениях. Больше того, те же данные указывают на единство человечества, поскольку основные сюжеты мифотворчества остаются неизменными и всеобщими в плоскости не только исторической, но и географической, то есть во всех населенных уголках Земли. Рассуждая об эволюции человека, ученые обычно уделяют основное внимание нашему внешнему облику и характерным анатомическим особенностям — прямохождению, относительному размеру мозга, числу и размещению зубов и противостоящему большому пальцу, чья подвижность позволяет руке ловко обращаться с разнообразными орудиями. Профессор Лики , чьи находки в Восточной Африке легли в основу большей части наших познаний о первых гоминидах, назвал их самых человекоподобных представителей (судя по останкам, живших примерно 1,8 миллиона лет тому назад) Homohabuis — «Человек умелый». Определение, вне всяких сомнений, очень точное, так как именно те отважные парни и были, похоже, изобретателями орудий труда.

Если же перейти от физических признаков нашего вида к психологическим, главным отличием человека от зверей следует считать то, что жизнь его подчиняется прежде всего мифическим целям, и лишь во вторую очередь — экономическим законам. Конечно, вода и пища, деторождение и надежный кров играют в быте человека не меньшую роль, чем в жизни шимпанзе, но как увязать это с пышностью пирамид и средневе-

ковых соборов, с индийцами, которые умирают от голода, хотя кругом бродят стада пригодного в пищу скота, или историей Израиля от эпохи Саула вплоть до нашего времени? Если и существует особенность, отличающая психологию человека от животного, то это, безусловно, полное подчинение всех сфер человеческого бытия — даже хозяйственной — мифологическому мышлению. Но почему и каким образом нереальные представления могли занять главенствующее место среди нужд материальной жизни? Так случилось потому, что в чудесном мозге человека родилось неведомое другим приматам индивидуальное сознание, объявшее не только само себя, но и один важный факт: оно, как и все, что ему дорого, рано или поздно умрет.

Осознание собственной бренности и стремление преодолеть ее — первый порыв к мифологии. Вместе с ним приходит еще одно прозрение: общество, где человек появляется на свет, получает пищу и защиту и где он сам обязан принимать участие в охране и воспитании других, существовало задолго до него и не исчезнет после его смерти. Говоря иными словами, отдельный представитель нашего вида, сознающий себя человеком, сталкивается не только с проблемой смерти, но и с необходимостью приспосабливаться к правилам родного сообщества, где его личный образ жизни подчиняется социальным обычаям — законам сверхорганизма, куда человеку приходится вливаться без остатка: ведь только участие в делах общества позволит постичь ту жизнь, которая превозмогает смерть. В любой мифологической системе, распространявшейся в различных уголках Земли в течение доисторических и исторических эпох, в символическом виде совмещались две основополагающие идеи о неизбежности личной смерти и долговечности общественных устоев; эти принципы представляют собой центральную, упорядочивающую силу всех обрядов и, следовательно, самого общества.

Однако мальчик, подрастающий в племени первобытных охотников, вынужден приспосабливаться к общественному строю совершенно отличному, скажем, от социальных условий развитой промышленной стра-

ны; а между этими разительно несхожими видами долговечных укладов жизни можно выделить неисчислимое множество других форм существования общества. Таким образом, в упомянутой двойственности следует видеть показатель не только единства человеческого рода, но и его многообразия. Смерть ждет каждого, но каждый народ относится к ней по-своему, и потому сравнительная оценка разных мифологий обязана подмечать не только всеобщие черты мифов, но и частные видоизменения единых сюжетов в широчайшем спектре их проявления.

Существует, кроме того, и третий фактор, повсеместно оказывающий глубокое влияние на внешний облик мифологий, третье направление и содержание человеческих переживаний, которые личность неизбежно осознает по мере того, как развиваются ее мышление и наблюдательность. Этот фактор — вселенская драма, игра Природы, в которой участвует каждый человек; это загадка соотношения между внешним миром и бытием самой личности. Мир огромен и непостоянен, но в его меняющихся очертаниях заметна определенная повторяемость. За долгие тысячелетия взгляд человека на Вселенную значительно изменился — главным образом, за недавнее время, когда заметно усовершенствовались наши исследовательские инструменты. Большие перемены происходили, конечно, и в прошлом — например, в эпоху расцвета городов-государств древнего Шумера, чьи жрецы наблюдали за небесными светилами, или во времена александрийских врачей и астрономов, разработавших идею земного шара в окружении семи обращающихся хрустальных сфер.

Таким образом, анализируя мифы, легенды и соответствующие обряды человеческого рода в целом, следует выявлять, помимо устойчивых сюжетов и принципов, некие переменные величины, обусловленные не только широким многообразием существовавших на нашей планете общественных укладов, но и приемами познания природы, которые на протяжении веков неоднократно меняли мировосприятие человека.

Благодаря археологическим находкам стало очевидно, что в первобытные эпохи истории человечества происходило центробежное расселение народов во всех направлениях, когда многочисленные сообщества все больше отдалялись друг от друга и каждое воплощало в жизнь свое толкование всеобщих сюжетов; сейчас, когда людей вновь сближает единая сеть транспорта и связи, различия постепенно исчезают. Частные особенности, отделявшие прежде одну систему взглядов от другой, теперь становятся все менее существенными — во всяком случае, их все легче описывать. С другой стороны, все важнее становится способность видеть за рядом отличий общность сюжетов — неизменных еще с тех времен, когда наши пращуры впервые поднялись на ступень выше животного уровня.

Прежде чем перейти к следующей проблеме, хотелось бы высказать еще одно соображение. Оно связано с тем фактом, что в наше время почти всюду — по крайней мере в главных современных центрах культуры и творчества — люди начали воспринимать социальный порядок как нечто само собой разумеющееся; вместо того, чтобы способствовать защите, укреплению и цельности сообщества, многие переносят все свои заботы на развитие и защиту личности — прежде всего как обособленной, независимой сущности, а не частицы государства. Мы еще вернемся к тому, как это чрезвычайно важное, беспримерное смещение ценностей может повлиять на развитие мифологии в будущем.

Но сначала следует обсудить наиболее заметные различия в традиционных взглядах на мир, которые приводили в прошлом к противоречивым толкованиям всеобщих мифов в разных уголках мира.

2

Не так уж давно иудеи и христиане воспринимали первые главы и книги Библии буквально, как заслуживающие доверия повествования о происхождении Вселенной и о подлинных доисторических событиях.

Предполагалось, скажем, что мир и в самом деле сотворен ровно за семь дней неким богом, о котором известно только евреям; что где-то на бескрайних просторах новорожденной Земли есть Сад Едемский с говорящим змеем; что первая женщина, Ева, сделана из ребра первого мужчины, а коварный змей поведал ей о чудесных свойствах плодов того единственного дерева, от которого Бог не велел есть; что, наконец, первые люди все-таки вкусили запретное яблоко и обрекли на Грехопадение весь род человеческий, так как после этого в мир вторглась смерть и людей изгнали из рая. Дело в том, что в центре Сада росло еще одно дерево, чьи плоды даровали вечную жизнь. Творец побаивался, что люди и сюда доберутся, попробуют плоды и станут такими же всеведущими и бессмертными, как и Он. Поэтому Бог проклял мужчину и женщину и изгнал из Едема, а у ворот Сада поставил «херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (1 Быт. 3: 24).

Трудно вообразить, но в это верили еще полвека тому назад — и не только священники, но и философы, государственные чиновники и все прочие. Сегодня мы точно знаем, что ничего подобного на самом деле не было: нет на Земле Сада Едемского, а змеи не умеют говорить. Не было ни Грехопадения, ни изгнания из рая, ни вселенского Потопа, ни Ноева ковчега. Все предание, на котором построены ведущие западные религии, представляет собой антологию вымыслов. Но, как ни удивительно, предания подобного рода всегда получали большое распространение и становились основой многих других религий. Двойники библейских сюжетов встречаются по всему свету — несмотря на то, что ни в одном уголке мира никогда не было Сада, змея, дерева или потопа.

Как же объяснить эту странность? Кто придумывает такие сказки-небылицы? Откуда вообще появляются подобные мысли? И почему, невзирая на очевидную абсурдность, они вызывают у всех народов особое благоговение?

Мне кажется, что, сравнивая ряд сюжетов из разных уголков мира и разных традиций, мы можем прийти к глубокому пониманию их силы, источников и возможного смысла. Совершенно очевидно, что эти повествования не историчны — и, следовательно, речь идет о воображаемых принципах, а не о событиях во внешнем мире. Но поскольку в таких сюжетах проявляются действительно всеобщие черты, они в определенном смысле отражают характерные особенности общечеловеческого воображения, устойчивые свойства души, или, как сейчас говорят, психики.

Таким образом, мифы рассказывают о том, что имеет для нас первостепенное значение; они излагают вечные принципы, которые следует знать каждому: это не просто полезно, а совершенно необходимо для того, чтобы наше сознание не утратило связи с сокровенными тайниками души, откуда исходят главные побуждения. Иными словами, священные сказки и их символика приносят весточки из тех уголков духа, которые неведомы нормальному бодрствующему сознанию, но попытки толковать эти сообщения как минувшие, нынешние либо грядущие события в мире пространства и времени приводят к неверному пониманию, после чего могущество символов искажается, и они низводятся до уровня чего-то второстепенного, маловажного — священного камня, жезла, животного, человека, события, города или сословия.

Обсудим немного подробнее библейский образ Сада. Его название, Едем, означает в древнееврейском «услада, прелестный уголок», а общеевропейский корень paradis- происходит от персидского pair-, «вокруг», и daeza, «стена», то есть буквально переводится как «место, огороженное стеной». Очевидно, что Едем — это обнесенный оградой чудесный сад, в центре которого высится огромное дерево; точнее говоря, их там два: дерево познания добра и зла и дерево вечной жизни. От неиссякаемого источника у их корней берут начало четыре реки, орошающие мир во всех направлениях. Когда наших прародителей, вкусивших запретный плод, изгнали из рая, у его восточных врат поставили, как

утверждается, двух херувимов, чтобы не позволить людям вернуться назад.

Если считать, что эта картина описывает не географическое место, а сад души, то Едем — внутри нас. Сознание не в силах проникнуть туда и испробовать сладость вечной жизни, поскольку люди уже познали вкус добра и зла. Таким образом, именно это знание изгнало нас за стену сада, отторгло от собственной сердцевины, и теперь мы судим обо всем с точки зрения доброго и дурного, а не бессмертия — но в людских душах по-прежнему цветет наш потаенный сад, о чем сознание и не подозревает. Так, судя по всему, объясняется смысл этого мифа, если не толковать как доисторическую хронику, а соотнести с внутренним, духовным состоянием человека.

От библейского предания, зачаровавшего некогда весь западный мир, обратимся к покорившей Восток индийской легенде о Будде, где также используется мифический образ дерева бессмертия, оберегаемого двумя грозными стражами. Под этим деревом лицом к востоку сидел Гаутама, когда его озарил свет сознания собственного бессмертия, после чего принц Сиддхартха стал Буддой, Пробужденным. Есть в этой легенде и змея, но тут она является не олицетворением зла, а символом неуничтожимой энергии всего живого. Змея сбрасывает свою кожу и словно заново рождается на свет; на Востоке ее уподобляют духу, который в круговороте перевоплощений облачается в новые тела и избавляется от них, как человек меняет одежду. В индуистской мифологии гигантская кобра удерживает на голове плоскую Землю; точкой соприкосновения является, конечно же, центр диска, откуда растет мировое дерево. По буддийской легенде, когда Благословенный обрел всеведение и в течение нескольких дней сидел под деревом в глубочайшей медитации, по всему миру прокатывались сильные бури, но появившаяся из-под земли громадная кобра обвилась вокруг Будды кольцами и прикрыла его своим капюшоном.

Таким образом, в одном предании о дереве змея осуждают и проклинают, а в другом он исполняет благотворную роль. Так или иначе, в обоих случаях змей связан с деревом и, несомненно, сам вкусил его плодов, поскольку способен сбрасывать кожу и рождаться заново. Однако в Библии наших прародителей изгоняют из сада, а в буддийской легенде вход гостеприимно открыт для всех. Это означает, что дерево, под которым сидел Будда, соответствует второму древу Едемского Сада, в котором, как уже упоминалось, следует видеть не географическое место, а сад души. Что же мешает нам вернуться и присесть рядом с Буддой под деревом? Кто эти два херувима и не найдется ли подобных им в буддизме?

Одним из крупнейших центров современного буддизма является японский город Нара, в огромном храме которого высится величественная бронзовая скульптура Будды: шестнадцатиметровый Просветленный со скрещенными ногами восседает на большом лотосе, правая его рука поднята в жесте «не бойся». По обе стороны от ворот перед храмом стоят две гигантские и сказочно жуткие фигуры воинов с мечами _ буддийские двойники херувимов, которых Яхве поставил у райских врат; но здесь они не для устрашения и отпугивания. Проходя мимо грозных стражников, человек должен оставить позади внушаемые ими страх смерти и желание жить.

Это означает, что, по мнению буддистов, обратную дорогу в сад преграждает не ревнивая месть божества, а наша собственная инстинктивная привязанность к тому, что мы считаем настоящей жизнью. Человеческие органы чувств, обращенные вовне, в мир пространства и времени, приковывают нас к этому миру и бренным телам. Нам не хочется расставаться с иллюзорными радостями и удовольствиями материальной жизни, но именно эта привязанность становится величайшей помехой, главным обстоятельством и условием, не позволяющим вернуться в Сад. Только это и мешает нам отыскать внутри себя то бессмертное, всеобщее сознание, чьими робкими посредниками являются обращенные вовне органы чувств.

Согласно этому учению, в херувиме с пламенным мечом у входа во внутренний Сад нет никакой нужды — мы сами не позволяем себе вернуться, поскольку питаем жадный интерес к внешним, преходящим проявлениям своего мира и собственной души. Вход в охраняемые врата символизирует, таким образом, отказ и от хорошо знакомого мира, и от привычного «я» в нем, отказ от видимых вещей, которые на наших глазах зарождаются и гибнут, расцениваются нами как благие либо дурные и, следовательно, вызывают у нас желания и страхи. У одного из буддийских великанов-херувимов рот приоткрыт, у другого губы плотно сжаты — как мне объяснили, в знак того, что мы всегда воспринимаем явления изменчивого мира в категориях противоположностей. Пройдя между стражами, человек должен оставить этот способ восприятия за воротами.

Но разве не таков, в конечном счете, смысл и библейского предания? Адам и Ева вкусили плод от дерева познания добра и зла — иными словами, пары противоположностей, — тут же поняли, что, отличаются друг от друга, и устыдились. Бог, который изгнал людей из рая и обрек на муки жизни и смерти, на тяжкий труд во благо мира, просто подтвердил уже свершившийся факт. Больше того, отныне и сам Бог стал для людей совершенно «чужим», гневным и опасным, а херувим у ворот Сада превратился в олицетворение этого понимания ими Бога и самих себя. Однако как сказано в той же библейской легенде, Адам вполне мог стать бессмертным: ведь Бог остерегался, «как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (быт.3:25). В свете христианского образа распятого Спасителя, именно это человеку и следует делать; и Писание гласит, что Христос вернул людям бессмертие. В средние века крестное древо приравнивали к дереву вечной жизни, чьим плодом стал сам распятый Искупитель, отдавший свою плоть и кровь, чтобы те были для нас «истинно пища» и «истинно питие» (2 Иоан. 6: 55.) Христос, можно сказать, бесстрашно шагнул прямо через охраняемые врата, мимо херувима и пламенного меча об-

ращающегося. Подобно Будде, который за пять веков до того оставил позади эгоистичные желания и страхи, чтобы познать себя как чистую негибнущую Пустоту, западный Спаситель оставил тело пригвожденным к дереву, а духом воссоединился с Отцом — и теперь его путь можем повторить мы все.

Несмотря на то что отдельные взгляды двух традиций трудно примирить, их символическая образность по существу равнозначна. В Ветхом и Новом Заветах человек и Бог — не одно и то же, а противоположности; причиной изгнания людей из рая стало их неповиновение своему Творцу. Вследствие этого жертва на кресте по природе своей — не столько слияние с Единым, сколько покаянное искупление вины. С другой стороны, в буддизме отдаление человека от источника своего бытия надо толковать психологически — как следствие ошибки сознания, отвернувшегося от своего центра и источника и приписавшего окончательную реальность сугубо иллюзорным явлениям. Библейская история отчасти напоминает поучительную вечернюю сказку о наказании за проступки, сюжет которой призван внушать ребенку по отношению к родителям достаточную покорность, боязнь и почтительное уважение. Буддийское учение, напротив, предназначено для людей взрослых, сознающих бремя ответственности за самих себя. Между тем образный ряд, объединяющий обе традиции, намного старше каждой из них. Она древнее Ветхого Завета, буддизма, да и самой Индии, поскольку символика змеи, дерева и сада бессмертия встречается еще в клинописных надписях на древнешумерских цилиндрических печатях, а также в искусстве и обрядах первобытных земледельцев всего мира.

С точки зрения сравнительного изучения символики не так уж важно, действительно ли Христос и Будда были реальным людьми и творили приписываемые им чудеса. Религиозные литературные произведения всего мира изобилуют повествованиями о двойниках этих двух великих учителей. В конечном итоге, каждый подобный рассказ заканчивается одним выводом: спасителем, героем, избавителем становится тот, кто

способен пробраться сквозь оградительную стену внутренних страхов, которая не позволяет нам, обычным людям, ощутить — не только наяву, но даже в ночных снах — божественную основу всего мира и собственной души. Превращенные в миф жизнеописания спасителей несут вести о запредельной мудрости посредством запредельных символов, которые, по иронии судьбы, переводятся впоследствии обратно на словесный язык тех же представлений, из которых и сложены наши внутренние стены. На венчаниях я не раз слышал, как добропорядочные христианские священники увещевают молодую пару поступать в этом мире так, чтобы в грядущем мире их ждала жизнь вечная, — и всякий Раз думал, что куда более подходящим для мифа наставлением стало бы пожелание так устроить новый брак, чтобы испытать жизнь вечную уже в этом мире. Такое бессмертие действительно существует в сфере долговечных, неразрывно связанных с самим процессом жизни ценностей, и во все времена люди одновременно и переживали, и выражали это измерение своей жизни и смерти. Все мы, не подозревая об этом, воплощаем собой такие вечные ценности, просто великими учителями становятся лишь те, кто пробуждается и постигает мироздание. Как сказано в гностическом «Евангелии от Фомы»: «Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его».

Мифологию, таким образом, можно определить как поэтическое выражение сверхопытных прозрений подобного рода, и если мы вправе использовать в качестве свидетельства глубокую древность основных мифических образов — например, бога в облике змеи или священного дерева, — то зачатки всего, что воспринимается ныне как мистическое откровение, были, очевидно, издавна известны по меньшей мере некоторым из первых учителей человеческого рода.

Каковы же древнейшие свидетельства мифологического мышления человека?

Как уже отмечалось, одним из самых ранних свидетельств появления некогда на Земле человекообразных существ служат останки, найденные доктором Лики на раскопках в ущелье Олдовай в Восточной Африке: несомненно гоминидные челюсти и черепа, чей возраст, судя по слоям залегания, составляет около 1,8 миллиона лет — это невероятно далекое прошлое. С тех пор и вплоть до зарождения на Ближнем Востоке искусства хлебопашества и приручения скота человек зависел в своем выживании исключительно от собирательства, охоты и рыбной ловли. В те давние тысячелетия люди жили и кочевали небольшими группками, составляя явное меньшинство на этой земле. Теперь мы, безусловно, являемся господствующим видом, и главным нашими врагами оказываются наши же сородичи, но тогда превосходство было на стороне зверей, которые к тому же были на земле «старожилами» и чувствовали себя тут как дома. Животные отличались четкими и проверенными формами доведения; многие звери были крайне опасны. Человеческим общинам относительно редко доводилось встречаться; во всяком случае, сражения с животными — как трагичные, так и победные — случались намного чаще. Сегодня мы относимся к своим соплеменникам по-разному: с опасением, почтением, отвращением, нежностью или полным равнодушием. В ту эру, которая растянулась на миллионы лет, сходную гамму чувств люди испытывали к обитавшим по соседству животным. Больше того, современный человек понимает — по крайней мере так ему кажется — своих собратьев, и древние люди-обезьяны тоже полагали, что их связывает с животным миром определенное взаимопонимание.

Первые осязаемые свидетельства мифологического мышления относятся к эпохе неандертальцев, которые жили на земле примерно с 250 по 50 тысячелетие до нашей эры. К числу соответствующих находок относятся, во-первых, могилы с запасами пищи, скарбом для загробной жизни, орудиями труда и принесенными в жертву животными и, во-вторых, ритуальные помещения высоко в горах, где сберeглись окруженные церемониальными знаками черепа пещерных медведей. Захоронения наводят на мысль если не о бессмертии, то по крайней мере о

продолжении жизни после смерти, а почти недоступные горные святилища с останками пещерных медведей, безусловно, указывают на культ этих гигантских прямоходящих — и тем схожих на человека — мохнатых чудищ. Медведей до сих пор глубоко почитают охотники и рыболовы европейского и сибирского Дальнего Севера, а также многие племена североамериканских индейцев. Больше того, некоторые из этих народов сохраняют головы и черепа священных зверей — точно так же как делали это пещерные неандертальцы.

Особенно благодарный материал для изучения представляет культ медведя, бытующий у айнов — белой расы, которая пришла в Японию на много веков раньше монголоидов, а теперь заселяет лишь северные острова Хоккайдо и Сахалин (второй сейчас, разумеется, принадлежит России). Любознательные айны придерживались весьма здравого мнения о том, что наш мир намного привлекательнее потустороннего, поэтому обитающие там богоподобные сущности нередко навещают людей. Приходят они в облике животных, но, однажды оказавшись в звериномтеле, уже не в силах от него избавиться, то есть вернуться домой, без человеческой помощи. И айны с готовностью оказывают богам содействие: убивают их, снимают и поедают звериные оболочки, тем самым — ритуально — желая освобожденным гостям счастливого пути.

В нашем распоряжении есть целый ряд подробных отчетов об этих обрядах. Удачливые путешественники могут стать их свидетелями и в наши дни. Медведей отлавливают еще детенышами и воспитывают дома, где звери становятся любимцами всей семьи: женщины ласкают их и даже позволяют им резвиться вместе с детьми. Когда медвежонок подрастает и становится опасным, его переводят в клетку, а в четырехлетнем возрасте пленнику уже пора возвращаться домой. Хозяин дома, где жил медведь, заблаговременно готовится к этому событию и объясняет зверю, что грядущий праздник не очень приятен, но он неизбежен и проводится из самых добрых побуждений. «Маленькое божество, — обращаются к сидящему в клетке мишке во вступительной речи, — мы собира-

емся отправить тебя домой, и если прежде ты не видел этой церемонии, то можешь не сомневаться, что так делают всегда. Мы хотим, чтобы ты вернулся на родину и рассказал своей родне, как хорошо обращались с тобой тут, на Земле. И если тебе понравилось жить среди нас, окажи нам честь и возвращайся, а мы обещаем непременно устроить тебе новую церемонию». Расправляются с медведем быстро и искусно. Снятую шкуру с оставленной головой и лапами закрепляют на распорках так, чтобы медведь казался живым, а затем переходят к пиршеству, главным блюдом которого является медвежатина. К морде убитого зверя подносят вместительный чан с похлебкой из его собственного мяса, чтобы он напоследок подкрепился. Затем богу преподносят прощальные подарки, и он, как предполагается, радостно уходит домой.

Я прежде всего хотел бы привлечь внимание к предложению опять вернуться на Землю, из которого следует, что смерти, по мнению айнов, вообще нет. Та же мысль выражена в последних наставлениях, которые дают айны усопшим на погребальных обрядах. Покойники возвращаются назад обычным, естественным путем — в облике младенцев, а не духов или назойливых привидений. Больше того, поскольку само прекращение жизни айнов ничуть не пугает, самым суровым наказанием за преступления считается у них мучительная смерть под пытками.

Вторая важная мысль, заложенная в этот обычай, заключается в том, что в медведе видят божественного гостя; для того чтобы он мог освободиться и вернуться в свой потусторонний дом, звериную оболочку нужно, как говорят сами айны, «расколоть». Посетителями из иного мира считаются также многие съедобные растения и другие звери, на которых принято охотиться. Айны убеждены, что, убивая и поедая богов, ничуть не вредят им, но, напротив, оказывают большую услугу. Очевидно, что подобные обычаи служат для первобытных охотников и рыболовов определенной психологической защитой от чувства вины и страха мести, поскольку само выживание таких народов целиком зависит от непрестанных безжалостных убийств. Гибнущие звери и истребляемые расте-

ния превращаются в добровольных жертв, а их освобожденный дух должен испытывать не злость, а благодарность за то, что временные материальные оболочки были «расколоты» и съедены.

У айнов с острова Кусиро у юго-восточного побережья Хоккайдо есть предание, из которого можно понять причину высочайшего почтения этого народа к медведям. Рассказывают о молодой женщине, которая каждый день отправлялась с ребенком в горы на поиски съестного. Наполнив мешок, она шла к ручью и промывала собранные корешки: снимала младенца со спины и, завернув в свою одежду, оставляла на берегу, а сама заходила в воду нагишом. Однажды, стоя в ручье женщина запела чудесную песню, а выйдя на мелководье, принялась еще и танцевать. Она так увлеклась собственным пением и танцем, что ничего вокруг не замечала и очнулась только от громкого треска; подняв голову, женщина увидела бредущего к ней бога-медведя и в ужасе убежала в чем мать родила. Подходя к оставленному на берегу младенцу, медведь думал: «Мне так нравилась ее песня, что я ступал как можно тише, чтобы не помешать. Увы! Мелодия была такой чарующей, что я забылся и спугнул женщину нечаянным шумом».

Тут ребенок заплакал, и медведь сунул ему в рот свой язык, чтобы накормить и успокоить. Он нежно заботился о младенце несколько Дней, ни на миг не оставлял его, и умудрился спасти ему жизнь. И только углядев вдалеке охотников из ближайшей деревни, медведь вынужден был скрыться. Те подошли к потерянному ребенку, сообразили, что медведь спас его, и с удивлением сказали друг другу: «Он заботился о бедном малыше. Медведь хороший. Это достойный бог, он заслуживает уважения». Охотники погнались за медведем, убили его, принесли тушу в деревню, устроили большой праздник, угостили душу зверя вкусной едой и бражкой, подарили ему много амулетов и честь по чести проводили на родину. Поскольку медведь, главная фигура пантеона айнов, считается богом гор, ряд ученых полагает, что выбор неандертальцев, отправлявших медвежьи культы в высокогорных пещерах, объясняется сходными

верованиями. Айны тоже сберегают черепа принесенных в жертву медведей. Больше того, в малодоступных храмах неандертальцев замечены признаки очагов, тогда как айны в ходе своих обрядов приглашают богиню огня Фудзи разделить с убитым медведем угощение из его собственного мяса. Считалось, что эти двое, божества огня и гор, беседуют друг с другом, пока хозяева праздника, айны, потчуют их яствами и ночь напролет развлекают пением. Разумеется, мы не можем быть твердо уверены, что у живших двести тысяч лет назад неандертальцев были такие же представления. Некоторые авторитетные ученые сомневаются, вправе ли мы вообще сопоставлять доисторические находки с обычаями современных примитивных народов, но в данном примере сходство и вправду удивительное (подмечено даже, что и в каменном веке, и сейчас у отделенных медвежьих черепов чаще всего оставлены два шейных позвонка). Так или иначе, мы без особых сомнений можем утверждать, что для неандертальцев и айнов медведь — культовое животное, чья сила после смерти целиком сохраняется в черепе, а соответствующие ритуалы призваны обратить эту силу во благо человеческому сообществу; кроме того, с обрядами каким-то образом связана сила огня.

Самые ранние свидетельства использования огня восходят к периоду, столь же далекому от туманной эры неандертальцев, как далека последняя от нашей собственной — а именно, к эпохе питекантропов (около пятисот тысячелетий тому назад), когда в звериных логовах жил прожорливый низколобый каннибал, именуемый сейчас пекинским человеком; судя по всему, он питал особую слабость к мозгам я lanature и пожирал их еще теплыми прямо из только что расколотых черепов. Эти ископаемые люди не пользовались огнем для приготовления пищи — как, впрочем, и неандертальцы. Но зачем тогда им очаги? Чтобы греться? Может быть. Возможно, однако, что огонь был завораживающим идолом, а место его хранения, очаг, — своеобразным жертвенником. Такое предположение кажется еще вероятнее в свете более позднего появления укрощенного огня не только в высокогорных медвежьих святилищах неандертальцев, но и на пиршествах айнов, где пламя явно связывали с

присутствием богини. Таким образом, огонь вполне мог быть для доисторического человека первым олицетворением божественного. У огня есть особое свойство: при делении его становится не меньше, но, напротив, больше. Подобно Солнцу и молнии, огонь распространяет свет, и в этом смысле является уникальным на Земле явлением. Огонь жаркий и, следовательно, живой, поскольку жизнь кроется в теплом человеческом теле и покидает его, когда тело остывает. Огонь приобретает гигантский размах при извержениях вулканов и, как нам известно из преданий многих примитивных традиций, нередко отождествляется с вулканическим демоном, который властвует над загробным миром, где усопшие резвятся в вечной пляске среди причудливо изгибающихся языков пламени.

Тяжелая жизнь и жестокий нрав неандертальца отошли в прошлое и стерлись из людской памяти примерно сорок тысяч лет назад, когда закончился ледниковый период. Вслед за этим довольно внезапно на Земле появилась значительно более развитая человеческая раса — собственно Homosapiens, наш прямой предок. Именно ему большинство ученых приписывает чудесные наскальные рисунки в пещерах французских Пиренеев, в гротах на берегах Дордони и среди холмов испанской Кантабрии. Тот же человек вырезал из камня, мамонтовой и слоновой кости крохотные женские скульптуры, прозванные «палеолитическими Венерами»; эти фигурки являются, по-видимому, первыми на свете произведениями человеческого искусства. Выставленные для поклонения черепа пещерного медведя (как, впрочем, и захоронения или примитивные кремневые орудия труда) — еще не образцы искусства в том смысле, в каком я здесь употребляю это слово. У женских фигурок не было ступней, так как их вставляли прямо в землю в небольшом домашнем святилище.

Важно отметить, что мужчины на пещерных рисунках той эпохи всегда одеты, а женщины, наоборот, неизменно обнажены — они просто стоят безо всяких украшений. Эта особенность отражает психологическую и, следовательно, мифологическую значимость мужского и женско-

го начала. Женщина мифична и без прикрас: она не только является источником и дарительницей жизни, но и околдовывает самим своим прикосновением, присутствием. Не менее таинственна и согласованность ее циклов с фазами луны. С другой стороны, мужчине необходим наряд — он приобретает свои силы и исполняет некую частную, ограниченную социальную роль или функцию. Как отмечали и Фрейд, и Юнг, в младенчестве мать воспринимается как сила природы, а отец -— как власть общества. Мать рожает ребенка, кормит его, и в детском воображении может представать, подобно колдунье из сказки про Ганса и Гретель, матерью пожирающей, готовой проглотить собственное порождение. В силу этого отец связан с инициацией: мальчика он посвящает в предстоящую социальную роль, а девочке дает первые и главные впечатления о природе мужского начала, пробуждает ее к общественной роли женщины рядом с мужчиной. Палеолитических венер всегда находят неподалеку от домашнего очага, а изображения наряженных мужчин — в темноте дальних уголков пещерных храмов, в окружении любовно выписанных звериных стай. Одеждой и позами мужчины напоминают шаманов более поздних примитивных племен, так что эти наскальные рисунки несомненно связаны с ритуалами охоты и посвящений.

Теперь я хочу познакомить вас с легендой североамериканского индейского племени черноногих, которую я уже пересказывал в первом томе «Масок бога» («Первобытная мифология»). Это предание лучше всех мне известных объясняет, как охотники-живописцы палеолита должны были понимать обряды, проводившиеся в загадочно украшенных пещерных святилищах. Миф черноногих рассказывает о преддверии одной зимы, когда индейцы не смогли запастись достаточным количеством бизоньего мяса: животные упорно ускользали от охотников, пытавшихся сбросить их с горы. Когда стадо подгоняли к обрыву, бизоны сворачивали у самого края в сторону и уносились прочь.

Случилось так, что однажды утром девушка из голодающего селения, расположенного у подножия отвесной скалы, пошла за водой и, подняв

глаза, увидела стадо бизонов, пасущихся вверху на равнине, у самого обрыва. Девушка крикнула бизонам, что выйдет замуж за любого из них, если стадо запрыгнет в загон. И вот животные бросились к обрыву, многие сорвались и разбились насмерть. Девушка, конечно, удивилась и обрадовалась, но потом, когда огромный бык одним махом перескочил через ограду загона и помчался на нее, ее охватил ужас.

—Пойдем со мной, — велел бык.

— О, нет! — Девушка попятилась, но бизон напомнил про ее обещание, заставил подняться наверх и увел через прерию прочь от дома.

Тот бизон был духом стада — героем скорее мифическим, чем реальным Его близнецы встречаются в легендах всех примитивных охотников' это получеловек-полузверь, персонаж шаманского толка, в котором как и в образе Едемского змея, человеческое невозможно отделить от животного. Однако в контексте сказаний мы без труда примиряемся с обеими гранями его природы.

Пропажу обнаружили лишь после того, как обрадованные «свалившейся с неба» удаче жители деревни закончили добивать бизонов. Отец девушки отыскал ее следы и, углядев рядом отметины копыт, сбегал домой за луком и стрелами, а потом поднялся на плоскогорье. Одолев немалый путь, он пришел к бизоньему болотцу и увидел неподалеку стадо. Охотник был утомлен и решил посидеть, пытаясь сообразить, что же делать дальше; тем временем прилетела сорока.

—О! — воскликнул человек. — Какая красивая птица! Ты ведь всюду летаешь... прошу тебя, как увидишь мою дочь, скажи ей, что отец ждет ее тут, у бизоньей лужи.

Изящная длиннохвостая белобока вспорхнула и полетела прямо к стаду; углядев среди бизонов девушку, она села на землю и принялась

деловито вертеть головой, будто выискивая жучков, а сама тем временем подбиралась все ближе к пленнице. Оказавшись рядом, сорока сказала:

— Отец ждет тебя у бизоньей лужи.

Девушка испуганно оглянулась: в нескольких шагах от них дремал ее нечаянный муж.

— Тихо!.. Возвращайся, — прошептала она, — и скажи, чтобы отец не уходил.

Птица вернулась с этой вестью к болотцу, а бык-вожак тем временем проснулся.

—Сбегай-ка за водой, — велел он.

Девушка поднялась на ноги, сняла с головы мужа рог и направилась к пруду. Отец тут же крепко схватил ее за руку.

— Нет, — возразила девушка.— Он прибежит и убьет нас обоих! Нужно ждать, пока он опять заснет, тогда я ускользну незаметно, и мы Убежим домой.

Она наполнила рог водой и вернулась к мужу. Бизон осушил рог одним глотком, потянул носом воздух и сказал:

— Чую человека. Он еще раз принюхался, поднялся с земли и заревел. Каким же ужасным был этот рев!

Бизоны вскочили на ноги. Они хлестали себя по бокам короткими хвостами, вскидывали морды и мычали, а затем, взрывая копытами землю, бросились врассыпную на поиски. Они скоро добрались до болотца и насмерть затоптали беднягу индейца, который пытался спасти свою

дочь. Быки поддевали его рогами и вновь сбрасывали под копыта, пока на земле не осталось ни кусочка тела.

— Отец, отец мой! — кричала девушка, и по лицу ее катились слезы.

— Ага, вот как ты плачешь по своему отцу! — сурово заявил бык. — Надеюсь, теперь ты понимаешь, что мы чувствуем, когда режут и убивают наших матерей, отцов и всю родню. Но мне жаль тебя, и я дам тебе еще один шанс. Если тебе удастся оживить отца, отпущу обоих домой.

Несчастная девушка поговорила с сорокой и упросила ее разыскать в изрытой земле кусочек отцовского тела. Птица долго обшаривала болото длинным клювом и наконец наткнулась на осколок позвонка. Девушка осторожно извлекла его из грязи и, спрятав за пазухой, запела волшебную песню. Вскоре у нее под рубахой уже угадывались очертания мужчины. Приподняв подол, девушка узнала отца, но он еще не ожил, и потому девушка вновь опустила рубаху и продолжала петь, пока отец не задышал. Он встал на ноги, а сорока с радостным стрекотанием взлетела в небо. Вожак был поражен.

— Много странного мы сегодня видели, — сказал он остальным бизонам. — Человек, которого затоптали до смерти, снова жив. Люди и вправду сильны. А теперь, — обернулся он к девушке, — прежде чем вы с отцом уйдете, мы научим вас нашим песням и танцам. Никогда их не забывайте.

Дело в том, что это были волшебные песни и танцы: с их помощью можно вернуть к жизни убитого людьми бизона, — подобно тому, как был возвращен к жизни убитый бизонами человек.

И быки затанцевали. Как подобает таким огромным зверям, шаг их был размерен и тяжел, а сопровождающая песня — медленна и торжественна. Когда танец закончился, большой бизон сказал:

— Идите домой и не забывайте того, что видели. Научите этому танцу и песне свой народ. Священные предметы этого обряда — голова и шкура бизона; танцующие должны надевать их.

Просто удивительно, как оживают раскрашенные фигурки на стенах палеолитических пещер в свете подобных легенд, рассказанных охотничьими народами гораздо более позднего времени. Конечно, нельзя утверждать, что предлагаемая связь целиком верна, однако можно не сомневаться, что главные идеи наскальных рисунков были именно такими. К их числу можно отнести представление о том, что убиваемые звери — добровольные жертвы, что церемонии обращения к их духам олицетворяют мистический договор между людьми и животными, а загадочная сила этих обрядов запечатлена в танцах и песнях. Больше того, в этих легендах явно выражена идея, что каждый вид в животном мире представляет собой некую множественную личность, чьим центром, главной монадой, является получеловек-полузверь, наделенный волшебной силой Дух Животного. С этой идеей связана и другая: что смерти вообще нет, а материальное тело — просто одежда незримой монадической сущности, которая способна проникать сквозь неосязаемую стену, отделяющую этот мир от потустороннего. Можно выделить также древние представления о возможности браков, торговли и общения между людьми и животными, о договорах между ними в те времена, к которым восходят народные обряды и обычаи. Добавим, что такие ритуалы имеют волшебную силу и сберегают свое могущество лишь при том условии, что проводятся строго в исходном виде, поскольку даже малое отклонение от установленного порядка полностью лишает их чар.

Таким был мифический мир первобытных охотников. Эти кочевые племена обитали чаще всего среди лугов и пастбищ, где спектакль природы разворачивается на бескрайних просторах Земли под смыкающимся у далекого горизонта лазурным сводом, а главными персонажами становятся скитающиеся по этой гигантской сцене стада животных. Кочевые

племена жили убийствами и были, вообще говоря, весьма воинственными, Искусство выслеживания зверя и боевая отвага мужчин кормили и оберегали племя, потому в обществе закономерно доминировала мужская психология и мифология, превыше всего возносящая личную доблесть.

В тропических джунглях природа устроена совершенно иначе, что, безусловно, сказалось на психологии и мифологии туземцев. Основная драма связана тут с жизнью буйной растительности, среди которой больше неприметного, чем видимого. Над головой — зеленый мир листвы с щебечущими и порхающими крылатыми созданиями; под ногами — густой ковер все той же зелени, там кишат змеи, скорпионы и прочие смертельно опасные твари. Здесь нет далекого чистого горизонта, и со всех сторон человека окружает лишь неистребимое густое переплетение стволов и листьев, куда лучше не соваться в одиночку. Границы деревни относительно устойчивы, вся жизнь прикована к земле и основана на собирании или культивировании растений, чем занимаются главным образом женщины. Мужская психология тут мало что значит, поскольку в мире, где важнейшей работой, куда ни обратись, заправляют знающие свое дело женщины, мальчику трудно решить даже самую первую психологическую задачу — достичь зрелой независимости от матери.

Таким образом, именно в тропических племенах зародился удивительный институт мужских тайных обществ, куда не допускали женщин и где можно было в безопасности, вдалеке от властного ока Матери, предаваться любопытным символическим играм, удовлетворяющим мужскую тягу к подвигам. Помимо того, обычная для таких районов картина смены гниющей растительности зелеными побегами, похоже, внушала человеку мифологическое восприятие смерти как начала новой жизни — откуда сама собой следует ужасная мысль о том, что жизнь можно приумножать расширением масштабов гибели. Итогом стало растянувшееся на многие тысячелетия и на весь тропический пояс планеты неистовство жертвоприношений, совсем не похожее на сравнительно ребяческие це-

ремонии поклонения и умиротворения духов животных среди охотников бескрайних равнин. В тропиках проводились очень жестокие и богатые символикой во всех своих подробностях жертвоприношения не только животных, но и людей. В жертву приносили и первые дары урожая, и детей-первенцев; захоронение вдов вместе с покойными мужьями привело со временем к погребению целых дворов рядом с усопшим царем. Мифическую идею Добровольной Жертвы стали связывать с образом предначального существа, которое некогда позволило себя умертвить, расчленить и зарыть — для того чтобы из скрытых под землей частей его тела проросли съедобные растения и людям было чем кормиться.

На островах Кука в Полинезии рассказывают очаровательный местный вариант этого всеобщего мифа — легенду о девушке по имени Хина (Луна), которая любила купаться в местном озере. Как-то раз ее коснулся проплывавший мимо огромный угорь; с тех пор это случалось день ото дня, пока угорь не сбросил вдруг свою кожу и не обернулся красивым юношей. Звали его Те-Туна (Угорь), и он стал возлюбленным Хины. Отныне он встречался с ней в человеческом облике, но однажды заявил, что ему пришла пора уйти навсегда. В последний раз он явится в виде угря среди бурного потока воды, а девушка должна будет отсечь ему голову и зарыть ее в землю. Хина поступила как он велел, и ежедневно приходила на то место, где похоронила голову. Вскоре из-под земли появился росток, превратившийся со временем в прекрасное дерево, которое в свой срок принесло плоды. Так на земле появились кокосы, и, очистив любой орех, на нем и сейчас можно увидеть глаза и лицо возлюбленного Хины.

III. ЗНАЧИМОСТЬ ОБРЯДОВ (1964)

Задача ритуала заключается, на мой взгляд, в том, чтобы задавать определенный порядок человеческой жизни, причем порядок глубинный, а не условный и поверхностный. В древние времена любое общественное событие было ритуально упорядочено, а ощущение важности происходящего передавалось религиозной тональностью. С другой стороны,

сегодня религиозную окраску приберегают для исключительных, самых особенных, «священных» обстоятельств. Однако ритуал жив и до сих пор просматривается даже в обыденной жизни. Его можно заметить, например, не только в этикете судебных заседаний и воинских уставов, но и в том, как ведут себя сидящие за одним столом люди.

Жизнь — это структура. В биосфере господствует правило: чем сложнее устройство, тем выше форма жизни. Структура, определяющая преобразования энергии в морской звезде, значительно сложнее, чем у амебы. Если же подняться по этой лестнице, скажем, до шимпанзе, структуры невероятно усложнятся. То же относится и к сфере человеческой культуры: непродуманное представление о том, что энергию и силу можно извлечь, отбрасывая или разрушая структурность, опровергается всем, что мы знаем об истории и эволюции живого.

Упорядочивающие схемы поведения животных заложены в унаследованной ими нервной системе своего биологического вида; деятельность этих врожденных механизмов чаще всего стереотипна. В рамках одного вида поведение и реакции отдельных представителей очень схожи. Еще больше порой поражает сложность таких устойчивых схем — птичьих гнезд (например, иволги, которая вьет изящнейшие подвесные гнезда) или паутины. Если бы не привычность этого зрелища, мы замирали бы с недоверием и восторгом при каждой встрече с математической правильностью и уравновешенностью мерцающей сеточки, с идеальной точностью вписанной между ветками дерева чуть в стороне от лесной тропы; будь паутина творением человека, мы сказали бы, что она задумана и воплощена в жизнь даром безупречной чуткости к сопротивлению материалов, линиям напряженности, центрам тяжести и прочим архитектурным параметрам. Эти маленькие чудеса зодчества — осиные ульи, муравейники, раковины моллюсков и т. п. — возникают благодаря полученным по наследству умениям, запечатленным в клетках и всей нервной системе животного вида.

Человек от зверя отличается преимущественной открытостью, а не стереотипностью поведенческих механизмов центральной нервной системы. Схемы наших поступков восприимчивы к воздействию общества, где воспитывается личность. С биологической точки зрения, человеческий ребенок рождается лет на десять-двенадцать раньше срока. Черты его характера, способность ходить и говорить, словарный и мыслительный запас развиваются под влиянием той или иной культуры, причем все эти особенности отпечатываются, можно сказать, прямо в нервной системе малыша. Структурные схемы, которые в животном мире наследуются биологически, вживляются в человека, главным образом, силой традиций, носителем которых является общество, а происходит это на стадии развития, которую уже давно принято называть «впечатлительным возрастом». Общепризнанным средством осуществления такого воспитания стали ритуалы. Мифы — это мыслительная опора обрядов, а обряды — физическое подтверждение мифов. Впитывая мифы своего сообщества и участвуя в его обрядах, ребенок развивает структуры, которые соответствуют его социальной и естественной среде. Из бесформенного, преждевременно появившегося на свет живого комочка он превращается в значимого члена исправно действующего и вполне определенного общественного строя.

По мнению биологов и психологов, необычная незрелость человеческих младенцев, вследствие которой они целиком зависят от родителей на протяжении всего срока возмужания, сравнима с положением сумчатых. Кенгуру рожают детенышей уже через три недели после зачатия; крошечные недоразвитые зверьки инстинктивно карабкаются по животу матери и забираются в сумку, где — без каких-либо указаний со стороны — крепко впиваются в соски и остаются среди щедрости и безопасности этой, так сказать, второй утробы, пока не окажутся готовыми к взрослой жизни. Эволюция млекопитающих шагнула дальше и ввела биологическую новинку — плаценту, позволяющую зародышам оставаться во чреве матери до полной самостоятельности. По этой причине млекопитающие обычно способны позаботиться о себе почти сразу после рождения

— во всяком случае, уже спустя пару дней или недель. Однако у людей, чей крупный мозг требует многолетнего развития, дети вновь рождаются слишком рано, а второе, внешнее чрево — сумку на животе матери — им заменяет родной дом.

Основные социальные схемы усваиваются именно на этом, домашнем этапе жизни. Они, однако, тесно связаны с ощущением зависимости, от которого необходимо избавиться еще до обретения психологической зрелости. Подросток откликается на сложности окружающего мира, обращаясь за советами, поддержкой и защитой к родителям, но прежде, чем ребенка признают взрослым, ему предстоит отказаться от такой привычки. Поэтому одной из главных задач первобытных обрядов половой зрелости (как, впрочем, и современного образования) всегда был перевод систем реагирования подростка от внешней зависимости к личной ответственности — преображение отнюдь не простое. Если же учесть, что в нашей цивилизации период детской зависимости затягивается порой до двадцати - и едва ли не тридцатилетнего возраста, то сегодня проблема эта становится еще сложнее, а наши неудачи — еще заметнее.

С этой точки зрения невротика можно определить как личность, которой не удалось переступить главный порог, отделяющий детство от «второго рождения» — зрелости. События, которые побуждают взрослого думать и поступать ответственно, у невротика вызывают страх наказания, потребность в чужом совете, желание спрятаться под чье-то покровительство и тому подобные реакции. Он вынужден постоянно вносить поправки в свои непроизвольные отклики и, как ребенок, обвинять в провалах и бедах либо самих родителей, либо некий их заменитель — например, оберегающее его государство или общественный уклад. И если первоочередное требование к взрослому заключается в том, itoон должен сам отвечать за свою жизнь, за поступки и ошибки в реальных условиях того мира, где живет, то из этого следует простейший психологический факт: до такого уровня не дорасти тому, кто постоянно размышляет, каким бы он стал в других условиях жизни, если бы родители

были не так равнодушны к его потребностям, общество — не настолько жестоким, а устройство Вселенной — совсем иным. Любое сообщество прежде всего требует от взрослых, чтобы те сознавали главное: что именно они определяют жизнь и бытие общества в целом. В соответствии с этим, обряды полового созревания должны прежде всего прививать личности ту систему чувств, которая наиболее подходит обществу и от которой зависит само существование этого общества.

В современном западном мире есть, однако, дополнительная трудность, ведь от взрослого человека здесь требуют не только того, чтобы он без сомнений и рассуждений принимал традиции и унаследованные обычаи местной социальной среды. Скорее, от него ждут развития тех качеств, которые Зигмунд Фрейд назвал функцией реальности, то есть превращения в независимо наблюдающую, свободомыслящую личность, которая умеет непредвзято оценивать возможности окружающего мира и обладает способностями к самостоятельным суждениям и творчеству. Такой человек не просто воспроизводит унаследованные схемы мышления и действия, но сам становится источником нововведений, деятельным и созидательным центром жизненного процесса.

Иными словами, наш идеал общества — вовсе не статичная, вечно неизменная организация, которая опирается на быт предков, но, скорее, процесс осуществления еще не воплотившихся в жизнь возможностей, и в этом процессе каждый обязан быть и зачинщиком, и сотрудником. Вследствие этого мы сталкиваемся с достаточно сложной проблемой просвещения молодежи, которую нужно научить не просто слепо перенимать схемы минувшего, оставаясь на проверенном уровне давней биологии и социологии, а осуществлять развитие человека как живого вида. Я бы сказал, что в этом, прежде всего, и заключается особая миссия всех представителей современного Запада, поскольку именно западный мир с середины тринадцатого века был единственной новаторской — в буквальном смысле слова — мировой цивилизацией.

Нельзя, однако, не вспомнить, что примерно с 1914 года в нашем прогрессивном обществе со всей очевидностью усилилось пренебрежение и даже презрение к ритуалам, которые некогда породили, а ныне продолжают питать эту бесконечно богатую и плодотворно развивающуюся цивилизацию. Вместо обрядности все больший размах приобретает смехотворная, ребяческая сентиментальность по отношению к природе. Восходит она к восемнадцатому веку, когда Жан-Жак Руссо определил основы надуманного «возврата к естественности» и описал идеал благородного Дикаря. С тех пор общеизвестными поклонниками этих идей стали американцы, начиная с Марка Твена; они без стеснений выражали простодушную убежденность в том, что европейцев и азиатов, живущих в более древней и спертой атмосфере, нужно-де освежить и разбудить к естественной невинности, под которой в данном случае понималась искренняя мужиковатость обитателей Нового Света, нежно любимая американская земля и наш Билль о правах. В Германии представителями этого реакционного течения в период между войнами были Wandervogel с их рюкзаками и гитарами, а позже — гитлерюгенд. Сейчас подобные идиллические картины можно увидеть и у нас, в Новом Свете: босоногие черно- и белокожие «индейцы» устраивают привалы прямо на тротуарах, а их тамтамы, постели-скатки и заплечные сумки с детьми вот-вот превратят целые городские кварталы в участки полевых антропологических изысканий. У этих людей, как и во всяком обществе, есть отличительная одежда, обряды посвящения, обязательные верования и все такое прочее. Тем не менее подобные течения явно реакционны — они возвращают в прошлое, как если бы в ходе биологической эволюции какой-то вид опустился с уровня шимпанзе до морской звезды или даже амебы. Отвергается нынешняя сложность социальных схем, но вместе с тем снижается и степень жизненной свободы; это не обретение, а утрата силы.

Потеря чувства формы и, как следствие, регрессия, ограничение жизнеспособности особенно заметны в сфере искусства, так как именно в нем отчетливее всего отражается и поддается оценке творческая энер-

гия того или иного народа. Невольно напрашивается сравнение современного искусства с древнеримским. Действительно, почему римские архитектура и скульптура, при всей их мощи и красоте, вызывают меньше волнения и чувства церемониальной значительности, чем греческие? Над этим задумывались многие, и прошлой ночью я увидел во сне ответ, который кажется мне сейчас важным прозрением. Объясняется все просто: в таком небольшом сообществе, каким были некогда Афины, художника и местных правителей связывали прямые и тесные отношения — они нередко знали друг друга с детства. Если же художник хочет стать известным в таком сообществе, как современный Нью-Йорк, Лон-Дон или Париж, ему необходимо прежде всего бывать на коктейлях — и заказы получает не потеющий в студии, а тот, кто посещает вечеринки бывает в нужных местах и знакомится с полезными людьми. Современный художник переживает муки уединенного творческого труда не на' столько остро, чтобы вырываться за рамки единожды найденных стиля и техники, тем более если они позволяют создавать годный для продажи товар. Другим последствием стало «минутное искусство», когда смекалистый парень вообще не испытывает особых мучений и попросту вытворяет что-нибудь непредсказуемое, а затем его «шедевр» нахваливаю либо критикуют дружелюбно или враждебно настроенные газетчики — а им, между прочим, тоже приходится постоянно вертеться в обществе и нехватка времени на «внепрограммные» студии и переживания заставляет их недоуменно чесать в затылке при виде чего-то по-настоящему сложного и новаторского. Я с глубоким отвращением вспоминаю появившиеся в 1939 год; критические отзывы о только что изданном романе Джойса «Поминки по Финнегану». Мало того, что это поистине эпохальное произведен» отмели тогда как нечто невразумительное; нет, его отбросили с напыщенным презрением, именуя откровенным розыгрышем и напрасной тратой времени. Однако два года спустя Пулитцеровскую премию за лучшую американскую пьесу того счастливого года получила «Кожа наших зубов» Торнтона Уайлдера — произведение, целиком и полностью от начала до конца построенное на идеях, эпизодах, персонажах и общем

сюжете «Поминок по Финнегану»; у Великого Ирландца были откровенно, нагло, бесстыдно позаимствованы даже мелкие подробности.

Беда в том, что в наше время практически любому примечательному творению трудно вообще попасть на глаза общественности; если же эти и удается, автора почти всегда разрывают на части так называемые «критики». Разве не любопытно — я возвращаюсь к Джойсу, — что на протяжении всей его литературной карьеры величайшему гению нашего столетия так и не дали Нобелевскую премию? И стоит ли удивляться тому, что сейчас у нас нет ни единого произведения, которое могло бы соответствовать требованиям и возможностям легендарного периода после Второй мировой, когда происходили, возможно, величайшие духовные преобразования за всю историю человеческого рода? Их отсутствии еще ужаснее, чем кажется на первый взгляд, поскольку каждый народ разрабатывал жизнеутверждающие, ведущие к зрелости мифы и обряды именно благодаря прозрениям собственных мудрецов и художников.

В связи с этим позволю себе напомнить слова Ницше о классическом и романтическом искусстве. В обоих течениях он выделял два типа, или направления. Есть романтизм по-настоящему мощный, разрушающий современные формы для того, чтобы перейти к новым. Но существует иной романтизм, который вообще не в силах обрести какую-либо форму и потому из чувства обиды крушит и порочит остальные. Точно так же можно разделить и классицизм: первый его тип легко добивается успехов даже в общепризнанных формах, вольно играет ими, добиваясь при этом богатых и полных жизни решений собственных творческих задач; классицизм второго рода отчаянно цепляется за узаконенные принципы по причине своей слабости — он сух и жесток, деспотичен и холоден. Исходя из этого, я подчеркиваю — и Ницше, думаю, со мной бы согласился, — что структурный порядок является проводником, носителем, посредством которого во всем своем величии, явственно и грандиозно проявляется сама жизнь; между тем простое разрушение порядка оборачивается для человека, как и для любого животного, настоящим бедст-

вием. Что касается упорядочивающих форм любой цивилизации, то ими всегда были ритуал и внешний этикет.

Лично я в полной мере оценил жизнеутверждающую роль ритуала после того, как побывал в Японии и принял участие в чайной церемонии, которую проводил известный виртуоз. Честно говоря, я не в силах представить себе процедуру, требующую большей формальной строгости, чем японская чайная церемония. Мне рассказывали, что многие осваивали ее на протяжении всей жизни, но так и не достигли совершенства — настолько изощренны ее правила. Нет нужды говорить, что я вел себя в крошечном чайном домике, как пресловутый слон в посудной лавке. Не секрет, что главное впечатление иностранца от поездки в Японию сводится к тому, что ты постоянно ведешь себя не так, как надо. Соответствующий порядок не впитался в твою кровь и плоть, да и само тело твое имеет какую-то неправильную форму. Чайная церемония, чистейшая квинтэссенция всех чудес официоза японской цивилизации, с ее невероятной любовью к порядку, достигает после ряда ритуальных приготовлений вершин строгих формальностей, когда хозяин помешивает чай и подает его малочисленным гостям. Не буду, впрочем, углубляться в подробности — я не смог бы их описать при всем моем желании. Достаточно сказать, что этикетом определялось каждое движение руки и каждый кивок головы, однако впоследствии, когда я обсуждал событие с другими участниками, все они щедро расточали похвалы раскованности хозяина. Единственным сравнением, какое мне удалось тогда отыскать, было искусство сочинения сонетов, чьи правила тоже задают весьма жесткую форму, но именно благодаря ей поэт добивается сильного впечатления, богатства изобразительных средств — так возникает новый порядок, приносящий ощущение раскрепощенности. В Японии мне выпала честь наблюдать за целым рядом мастеров чайной церемонии, каждый из которых работал в своем стиле, и я даже научился замечать, как свободно, непосредственно они себя ведут. Ритуал всей цивилизации становится для виртуоза, можно сказать, неотъемлемой чертой характера, потому он и проводит обряды непринужденно и, больше того, совершенствует каж-

дую их деталь. В свою очередь, внешнее впечатление, которое он производит, сопоставимо со зрелищем прекрасного японского сада, где искусство сливается с природой в едином порыве, обостряющем и доводящем до совершенства каждую мелочь.

Можно ли найти нечто подобное в современной североамериканской цивилизации? На днях я включил телевизор и случайно наткнулся на соревнования по бегу, проходившие в Лос-Анджелесе. Я впервые видел такую трансляцию с тех пор, как в середине 20-х годов сам занимался легкой атлетикой. Прошло около сорока лет, на протяжении которых я совсем не интересовался спортом (прежде всего потому, что он пробуждает у меня эмоции, которые я предпочитаю сдерживать). Итак, в тот вечер мне довелось наблюдать за состязаниями шести прославленных; бегунов на дистанции в одну милю. Зрелище было захватывающим, но по его завершении комментатор заявил, что соревнования разочаровали. Я очень удивился. Победитель пробежал дистанцию за четыре минуты и шесть секунд, два призера отстали от него всего на две секунды. В мое время лучший результат составлял четыре минуты пятнадцать секунд _ и я до сих пор помню, какой восторг вызвало тогда это достижение, — а сейчас мировой рекорд уже меньше четырех минут. Но, поразмыслив, я понял: когда игра идет всерьез, то есть не требует общения за коктейлем и связана исключительно с честным соперничеством в чистом поле, форма по-прежнему соблюдается, и соблюдается строго! В «Закате Европы» Освальд Шпенглер определяет «культуру» как состояние общества «в форме» — точно так же как «в форме» бывает спортсмен. Угол наклона тела, верное положение рук и прочие подробности! внешнего вида спортсмена — все эти факторы приближают расцвет единого мига жизни во всей его полноте. Сходные рассуждения можно отнести к налаженному укладу общества, японскому виртуозу чайной церемонии и этикету общения цивилизованных людей — все они пребывают в форме. Разрушение формы не приносит победы ни на беговой дорожке, ни в состязании культур. Поскольку наш мир довольно жесток, цивилизованная жизнь способна сохраниться лишь в том случае, если во всем поддержи-

вается высшая форма. И если забег проигран, к старту уже не вернешься.

Чтобы на примере подтвердить исключительное значение ритуала для общества, позвольте напомнить о проведенном в Вашингтоне после убийства президента Кеннеди скорбном государственном обряде. Это церемониальное действо представляло огромную ценность для общества. Народ как единое целое понес большую утрату, вызвавшую всеобщее состояние глубокого потрясения. Независимо от политических мнений и настроений отдельных граждан, тот замечательный молодой человек олицетворял собой все общество — живой и деятельный организм, членом которого является каждый из нас. Внезапная гибель на вершине славы, в том возрасте, когда человек полон жизни, и последовавшие за этим убийством ужасные волнения в обществе требовали искупительного обряда, который возродил бы у нации ощущение солидарности. Впрочем, этот ритуал нужен был не только нам, гражданам этой страны;

он должен был стать обращением ко всему миру, заявлением о силе и чувстве собственного достоинства современного цивилизованного государства. Торжественные радио и телетрансляции в то решающее время я тоже считаю неотъемлемой частью ритуала, о котором идет речь; эти программы стали одной из стихийных, живых сторон происходящего. Наша страна огромна, но по меньшей мере на четыре дня вся нация сплотилась в одно целое, и мы на равных участвовали в едином символическом действе. Могу заверить, что это был первый и единственный случай в мирное время, когда я ощущал себя частицей сплоченного народа, которая принимает участие в чрезвычайно важном обряде и одновременно наблюдает за ним со стороны. К тому времени в Америке уже лет двадцать-тридцать как вышло из моды поднимать государственный флаг — считалось почему-то, что это опасно сближает тебя с последователями Джона Берча. Но тогда, мне кажется, не было никого, кто не ощутил бы, насколько богаче становится его жизнь и личность благодаря сопричастности к жизни и судьбе всей нации. В те дни всеобщих разду-

мий пробудилась и возобновила работу эмоционально и словесно переданная нам — и воплощенная в нас — система взглядов, необходимая для выживания человека как частички общества.

Однако когда я следил за похоронными обрядами, в голове у меня теснились мысли и более общего характера. Они касались, в частности символизма пушечного лафета, на котором покоился прикрытый флагами гроб. Катафалк тянули семь серых жеребцов, чьи звонко цокающие по мостовой копыта были окрашены черным. Рядом медленно вышагивал еще один конь с пустым седлом и развернутыми назад стременами; копыта коня тоже были затемнены, а вел его конюх в мундире. Казалось, я вижу перед собой семь призрачных скакунов серого Владыки Смерти,который явился проводить павшего героя в последний путь, уводящий в высь, через семь небесных сфер, к обители вечности, откуда этот юноша некогда явился. Мифология нисхождения души с небесной родины к земной жизни сквозь семь сфер, а затем, когда приходит срок, возвращения через те же сферы, стара, как сама наша цивилизация. Оседланного коня с развернутыми стременами и без всадника, гарцующего рядом с погибшим воином, в древности непременно принесли бы в жертву и сожгли вместе с телом хозяина на огромном погребальном костре, символизирующем ослепительные врата золотого Солнца, через которые душа героя должна уйти к своему трону в предвечном чертоге погибших воителей. Ибо с той же символической точки зрения конь олицетворяет живое тело, а всадник — руководящее плотью сознание, но они едины! Наблюдая за кортежем и этим прекрасным скакуном без седока, я вспоминал легенду о благородном коне по имени Кантака, принадлежавшем молодому арийскому царевичу Гаутаме Шакьямуни. Когда его хозяин отрекся от мира, ушел от людей в леса и стал Буддой, оседланный конь вернулся во дворец и умер от тоски.

Несомненно, эти древние сюжеты и предания не были известны многим миллионам наших современников, которые следили за похоронами своего погибшего юного героя, вслушивались в стук копыт семи серых

жеребцов о мостовые притихшего города и глядели на благородного скакуна с развернутыми назад стременами. Тем не менее давние легенды были не просто подоплекой происходящего — они напоминали о старинных военных обрядах и были всем понятны. Именно это я хочу подчеркнуть! Кроме того, они перекликались и с другой вехой американской истории: пушками Гражданской войны и похоронами Линкольна, который тоже был убит и которого провожали в вечность такой же церемонией. Мелодия современного обряда многократно усиливаясь символическими обертонами — неслышными, быть может, обычному уху но в глубине души их отмечал каждый — размеренным, торжественным боем военных барабанов и стуком черных копыт коней Царя Смерти, бредущих по безмолвному городу.

Пока я наблюдал за этим обрядом, где древние сюжеты перекликались с современностью, мне на ум приходили и другие мысли — например об открытости человеческого ума, отыскивающего утешительные образцы в таинственных играх, подобных этой, что подражала уходу души с Земли и вознесению сквозь семь небесных сфер. За много лет до того в трудах великого историка культуры Лео Фробениуса я наткнулся на повествование и рассуждения о том, что он сам именовал «пайдевматическими», или педагогическими, силами, посредством которых на протяжении всей истории культура руководит и направляет человека — несформировавшееся и неопределившееся животное, в чьей нервной системе поведенческие механизмы не стереотипны, а открыты оттискам извне. В древности (как и сейчас у некоторых примитивных народов) наставниками человека были звери и травы. Позже его учителями стали семь небесных сфер. Любопытной особенностью нашего лишенного жесткой формы живого вида является то, что мы строим свою жизнь на выдумке: мальчишка воображает себя мустангом и, ощутив в себе новую личность и прилив сил, мчится по улице галопом; девочки подражают матери, а сыновья — отцу.

В давно забытые тысячелетия палеолитической Великой Охоты, когда ближайшими соседями человека были самые разные звери, именно животные играли роль его воспитателей и воплощали своим образом жизни многочисленные силы и законы природы. Члены племени называли себя именами животных, а на обрядах прикрывались звериными масками. С другой стороны, для тех народов, что жили среди тропических джунглей, основное действо природы разыгрывала зелень, а людские игры в подражание были связаны с растительным миром. Как мы Уже знаем, главный миф рассказывал о боге, давшем себя умертвить, расчленить и зарыть в землю, откуда затем выросли годные в пищу растения. В обрядах человеческих жертвоприношений, характерных для всех земледельческих культур, этот изначальный мифологический сюжет разыгрывали до омерзения буквально; ибо в мире трав новая жизнь зарождается из мертвого, молодые ростки восходят из увядшего, и точно так же должна быть устроена человеческая жизнь. Усопших предавали земле, чтобы они родились заново, а образцом мифов и ритуалов стад круговорот растительного мира.

В великий и очень важный период расцвета Месопотамии (ок. 3500 г. до н. э.), древнейшей цивилизации городов-государств, чарующий образец для подражания переместился с Земли, от царства животных и растений, на небеса. Случилось это, когда жрецы-звездочеты обнаружили, что семь небесных сил — Солнце, Луна и пять видимых планет — перемещаются среди неподвижных созвездий с математической точностью и размеренностью. Новое прозрение относительно чудесного устройства Вселенной достигло своих вершин в идее космического порядка, незамедлительно ставшего небесным образцом для общественного устройства на Земле: восседающий на престоле царь в короне Солнца или Луны, царица как богиня-планета Венера и высшие придворные сановники в роли второстепенных светил. В легендарных дворцах христианской Византии еще в V—XIII веках императорский трон был окружен разнообразными символами рая: ревущими золотыми львами с воздетыми хвостами, щебечущими среди самоцветных дерев птицами! из драгоценных

камней и металлов. И когда посол какого-либо варварского племени, только что проведенный по ослепительным мраморным коридорам с бесконечными рядами дворцовых стражников и пестрыми толпами нарядных военачальников и епископов, представал перед внушительной, неподвижной и безмолвной фигурой монарха, восседающего в солнечном венце на своем лучезарном престоле, гость тут же падал ниц в искреннем благоговении перед такой Божественностью — а пока: он лежал в прострации, скрытый от глаз хитроумный механизм возносил царский престол в воздух. И вот, когда потрясенный посетитель поднимался наконец с колен, он видел вдруг, что монарх, успевший уже облачиться в совершенно новые одеяния, взирает на него сверху, словно сам Бог с усеянного звездами неба. В письмах к императору святой Кирилл Александрийский величает царя «Образом Божьим на Земле». Это, возможно, немного чересчур, хотя по существу мало чем отличается от идеи, которую безмолвно выражают современные королевские дворы или папская месса.

Шутливые выходки такого рода до сих пор производят сильное впечатление, поскольку основаны на переносе в мир бодрствования мифических образов из сновидений — человеческой плоти, церемониального наряда или архитектурной композиции, — порожденных не повседневными переживаниями, а теми глубинами души, которые ныне принято называть бессознательным. В силу своей неосознаваемой природы они вызывают у зрителя сноподобный, беспричинный отклик. Вследствие этого характерной особенностью мифических сюжетов и образов, переведенных на язык ритуала, становится то, что они соединяют личность со сверхличностными целями и силами. Ученые, изучающие поведение животных, уже заметили, что в тех случаях, когда дело касается важнейших задач вида — например, при брачных играх и поединках за самку, – схемы стереотипного, ритуализированного поведения ориентируют отдельную особь в направлении, которое согласуется с запрограммированным порядком поступков, характерных для вида в целом. Сходным образом во всех сферах человеческого общения ритуальные процедуры

лишают противников индивидуальных черт, то есть их поведение — поступки уже не личности, а человека как обобщенного представителя вида, общества, касты или профессии. Этим объясняется, например, обычай судей и других государственных служащих облачаться в особую форму: приступая к исполнению своих профессиональных обязанностей, они перестают быть самостоятельными личностями и превращаются в олицетворения принципов и законов общества. Даже в частном предпринимательстве есть свои принципы обмена и договоров, ведения торгов и выдвижения судебных исков — то есть общепризнанные ритуальные правила игры, хотя бы отчасти лишающие личной окраски нередкие столкновения интересов. Без подобных правил игры общество просто не смогло бы жить, поскольку никто не имел бы ни малейшего представления о том, как нужно поступать в тех или иных обстоятельствах. Больше того, именно благодаря правилам игры локального сообщества, человеческие свойства любой личности превращаются из отвлеченных возможностей в одну-единственную реальную жизнь, жестко очерченную границами времени, пространства и характера.

Теперь подумаем, что могло бы стать для современного человека Достойным источником благоговения. Как отмечает Фробениус, первое ощущение загадочности вызывал у человечества мир животных во всем разнообразии его видов — именно эти ближайшие соседи, став предмет том восторга, пробудили в человеке тягу к подражательному отождесвлению. Следующим образцом оказался растительный мир — чудо плодородия почвы, в недрах которой мертвое вновь оживает. Наконец, с расцветом первых развитых цивилизаций Ближнего Востока центр внимания перенесся на математику семи подвижных космических тел, подаривших нам, помимо прочего, семь скакунов кавалькады Царя Смерти и Воскрешения. Однако, как утверждает мой учитель истории, сегодня нашим ближайшим соседом являются уже не звери и не травы, и даже не свод небесный с его завораживающими огоньками. Фробениус подчеркивает, что наука лишила все это мифологичности и потому главной загадкой ныне стал сам человек: человек как «Ты», ближний, — ной не такой, ка-

ким видит или хочет видеть его «Я», а такой, какой он есть а таинственное и удивительное существо «в себе».

Первые похвалы и признание этот новый, такой близкий предмет восхищения снискал в греческих трагедиях. Обряды всех прочих народов того времени были посвящены животным, растениям, космическим и потусторонним силам, но в Греции уже в эпоху Гомера мир стал человеческим, а трагедии великих поэтов пятого века возвестили окончательное духовное становление этого смещения интересов. В «Портрете художника в юности» Джеймс Джойс дает сжатое определение важнейших черт древнегреческой трагедии, благодаря которым открылся пули к мистическому измерению гуманной духовности. Говоря об аристотелевской «Поэтике», Джойс напоминает о двух классических «трагичных» чувствах», сострадании и страхе, одновременно отмечая, что Аристотели не дал им определения. «Аристотель не дает определений сострадания и страха. Я даю, — заявляет его герой Стивен Дедал и продолжает: — Сострадание — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и соединяет нас с терпящими бедствие. Страх — это чувство, которое останавливает» мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и заставляет нас искать их тайную причину». Тайная причина бедствий, разумеется, — сама конечность существования, непременное и следовательно, поистине «значительное и постоянное» его условие, которое невозможно отвергать, если пытаешься утвердить жизнь. Но, несмотря на согласие с этим необходимым условием, мы испытываем создание к человеку бедствующему: в данном случае это поистине родственная нам душа.

В похоронных обрядах, о которых только что шла речь, событие было помечено характерным вниманием древнего и современного Запада человеческой личности, но в любой восточной традиции сходный по длительности случай воспринимали бы совсем иначе — там он указывал бы

посредством человека на предполагаемые космологические обстоятельства. Любой, кому доводилось присутствовать на подобном восточном обряде, заметил, наверное, что церемония истребляет впечатление о личности «человека бедствующего», тогда как на Западе, напротив, ценность индивидуальности подчеркивают всеми средствами. Старые мехи наполнились новым вином — значимостью личности; в данном случае, это была личность выдающегося молодого человека и всего, что он собой олицетворял (в нашу историческую эпоху, а не во вневременном круговороте нескончаемо повторяющихся тысячелетий). И все же в древней символике семи цокающих копытами жеребцов и оседланного скакуна без всадника сбереглось что-то важное и для настоящего. Старинные образы слагались в новую песню — гимн уникальному, непохожему на других, не имеющему близнецов человеку бедствующему, — но, в то же время, продолжали навевать ощущение «значительного и постоянного в человеческих бедствиях» и нести священную весть о неоспоримой «тайной причине», без которой обряд лишился бы глубинного измерения и исцеляющей силы.

Позволю себе обратиться напоследок к надежде на непостижимое чудо: эту надежду силой искусства вызывают у нас мифы и обряды. Я хотел бы повторить красноречивые строки одного поэта. Лет сорок тому назад, когда я впервые прочел это короткое стихотворение, оно глубоко тронуло меня и с тех пор не раз возвращало мне душевное равновесие. Написал его калифорнийский поэт Робинсон Джефферс; он присылал стихи со своей сторожевой башни на берегу Тихого океана, где годами следил за изящным полетом пеликанов вдоль побережья, вслушивался в простуженный, мирный лай тюленей и старался не замечать вторгающегося издалека размеренного и неуклонно нарастающего гула моторов.

Вот это стихотворение.

МУЗЫКА ПРИРОДЫ

Вечный рев океана, птичий щебет речушек

(Зима позолотой сменила их серебро,

Запятнала их воды и зелень побегов окрасила медью,

чтоб берега очертить)

Такие разные голоса поют на одном языке.

И я уверен, что будь мы сильнее,

Вслушайся мы без смеси желаний и страхов

В бурю народов больных и ярь городов истощенных,

Тот же напев к нам донесся бы — ясно, как голос ребенка.

Или дыхание девы, что одиноко танцует

На берегу океана и о возлюбленных тайно мечтает.

IV. РАЗДЕЛЕНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА (1961 Г.)

жителям Запада нелегко представить, что относительно недавно появившиеся у нас идеи важности индивидуального, уважения к личности, ее правам и свободе, для Востока совершенно бессмысленны. Такими же невразумительными показались бы они первобытным людям, народам Древней Месопотамии и Египта, Индии и Китая. Вообще говоря, наши взгляды прямо противоположны идеалам, смыслу и укладу жизни большинства народов мира. Я убежден, однако, что эти принципы — поистине великое новшество, которое подарили миру именно мы. Это — наше, западное откровение о достойных человека духовных идеалах, соответствующих истинному, высшему потенциалу нашего биологического вида.

Основную пограничную черту, отделяющую восточный мир от западного, я провожу вертикально через Иран, примерно вдоль шестидесятого градуса долготы к востоку от Гринвича. Этот меридиан можно считать линией культурного водораздела, по обе стороны от которой наедятся две созидательные матрицы развитых культур: к востоку — Индия и Дальний Восток (Китай и Япония), а к западу — Левант (Ближний восток) и Европа, На протяжении всей истории эти четыре мира сохраняли каждый свои уникальные свойства — мифологию, религию, философию и идеалы, не говоря уже про образ жизни, стиль одежды и искусства; несмотря на различия, их все же следует рассматривать попарно Индию с Дальним Востоком, а Левант с Европой.

Восточные центры, отгороженные от Запада и друг от друга бескрайними горными пустынями и тысячами лет изоляции, оставались глубоко консервативными. Левант и Европа, напротив, постоянно вступали в плодотворные конфликты и торговые отношения и были настежь открыты как крупным вторжениям, так и взаимному обмену добротные товарами и идеями. Изумительные духовные и материальные свершения нынешней бурной эпохи во многом объясняются тем, что некогда крепкие стены Индии и Дальнего Востока были сперва испещрены пробоинами, а потом и вовсе разрушены. После этого, однако, мир столкнулся с проблемой, которую в мифологии олицетворяет библейское предание о строительстве Вавилонской башни, когда Господь смешал языки народов, чтобы те перестали возводить свой вечный город и рассеялись, как сказано в Писании, «по лицу всей земли» (Быт. 11:4). Сегодня, однако, уже нет места, где можно было бы друг от друга спрятаться;

именно в этом, конечно, и заключается особая сложность нашей эпохи;

Мифический образ Вавилона уместен здесь вдвойне, поскольку в древних городах-государствах Месопотамии около 3500 г. до н. э. Был заложены первые основы всех высших (то есть высокообразованных и

колоссальных по масштабам) цивилизаций. Именно от Леванта, а еще точнее — от ранних храмовых городов с башнями-зиккуратами, — разрослись все ветви огромного дерева четырех главных территорий цивилизованности. Больше того, именно там зародились мифические формы общественного строя, до сих пор не позволяющие жителям Востока постичь идею по-настоящему личной жизни. В древних, первобытных общинах охотников, собирателей и рыболовов отдельные кочевые социальные группы, едва добывавшие себе пропитание, не были ни крупными, ни сложными по устройству. Единственными факторами разделения труда были возраст и пол, а каждый мужчина, женщина и ребенок очень неплохо владели всей совокупностью своего культурного наследия. В этом смысле любой взрослый человек был тогда личностью целостной — во всяком случае, в рамках местной культурной модели. Однако примерно после 7500 г. до н. э., с расцветом и развитием сравнительно благополучного Ближнего Востока, жизнь в оседлых общинах» где уже занимались земледелием и скотоводством, намного усложнилась: по мере неуклонного роста населения и площади таких сообществ большее значение приобретали специализированные отрасли знаний и профессиональные навыки. К 4500 г. до н. э. по всему Ближнему Востоку процветали целые созвездия самостоятельных селений, а около 3500 г. до н. э. такие селения в низовьях долины Тигра и Евфрата превратились в города — первые города на свете. Появилось четкое различие между кастами знати и прислуги, цехами ремесленников, орденами жрецов и купеческими гильдиями, так что о целостной личности не могло уже быть и речи — каждый стал человеком односторонним. Вполне закономерно, что в прикладном искусстве той эпохи так ярко и внезапно проявились несомненные попытки символически передать мечту о воссоединении разрозненных частей в единое целое.

Например, уже в керамике середины пятого тысячелетия до нашей эры возникает симметричная геометрическая упорядоченность круговых орнаментов с объединяющей — и олицетворяющей идею целого — центральной фигурой: розеткой, крестом или свастикой. В более поздних

композициях центральное место отводили фигуре божества, а в первых городах-государствах тот же бог воплощается в царей (в частности, египетском фараоне). Больше того, и сам монарх, и все его придворные играли в жизни тех сообществ символические роли, определявшиеся не их личными желаниями, а, скорее, правилами ритуальной пантомимы, где властителей отождествляли с небесными телами, — подобно тому как было прежде, на первобытных этапах культурной мутации человека, когда ритуалы строились как подражание животным или круговороту жизни и смерти в растительном мире.

Как отмечалось в предшествующей главе, именно за оградами храмов древнешумерских городов-государств около 3500 г. до н. э; жрецы, следившие за небесными знамениями, впервые заметили, что Солнце, Луна и пять видимых планет перемещаются среди звезд с математической точностью. Тогда и зародилась грандиозная идея небесного, космического порядка, который непременно должен сказываться на устройстве общества. Облачившись в торжественные наряды и символические венцы, царь, царица и придворные церемониально воспроизводили на земле величие небесных светил. Сейчас трудно поверить, что они так глубоко вживались в свои роли, но у нас есть поразительные свидетельства, найденные покойным сэром Леонардом Вулли в «царских гробницах» древнего города Ур — святыни лунного бога.

Согласно его собственному рассказу, сэр Леонард проводил раскопки на древнем храмовом кладбище, где, по преданию, был похоронен патриарх Авраам. Лопаты археологов наткнулись на удивительные групповые захоронения, где стройными рядами были уложены людские тела порой числом до шестидесяти пяти. Лучше других сохранилось тело женщины по имени Шуб-ад, погребенной вместе с двадцатью пятью слугами непосредственно над могилой мужчины по имени А-бар-ги, рядом с которым покоилось около шести десятков придворных. Тело Шуб-ад в богатом убранстве привезли в гробницу на запряженных ослами дрогах; А-бар-ги — вероятно, ее муж — был доставлен на кладбище в крытой

повозке, которую тянули быки. И животные, и люди были погребены в гигантской могиле заживо. Придворные дамы мирно лежали рядком во всех дворцовых регалиях: в волосы вплетены серебряные и золотые ленты, манжеты красных накидок отделаны бисером, в ушах — крупные серьги в форме полумесяца, а на груди — золотые ожерелья с лазуритом. Скелет девушки-арфистки все еще касался струн — вернее, того места, где были когда-то струны. Музыкальные инструменты напоминали по внешнему виду тело быка, чья золоченая голова была украшена пышной лазуритовой бородой. Дело в том, что это был мифологический, божественный, лунный бык, чья песнь судьбы призвала всех погребенных добровольцев — сначала усопшего царя, а затем его супругу — претерпеть смерть, чтобы родиться заново. Нам даже известно имя бога, восседавшего на мифическом быке; это был великий и легендарный ближневосточный бог-царь и вселенский спаситель Таммуз (шумерский Думузи). Даты празднования его ежегодных смерти и воскресения закреплены и в нашем мифо-ритуальном календаре как дни Пасхи, которую празднуют и в синагогах, и в христианских храмах.

Мы не знаем, по какой причине могли быть похоронены эти две группы царской свиты, но то же самое происходило практически во всех древних цивилизациях. В Египте и Китае найдены могилы, где погребено до восьмисот тел. Можно добавить, что фараоны первых трех династий владели сразу двумя такими «загробными поместьями»: одно в Абидосе, Верхнем Египте, другое — в Мемфисе, Нижнем царстве. Это были, так сказать, столичное и загородное имения, и за каждым приглядывало до четырехсот скелетов.

Так где же, хотелось бы спросить, во всем этом личность? В подобном мире просто не могло быть личной жизни — только великий космический закон, властвующий над всеми и отводящий каждому свое место. Египтяне называли его Маат, а шумеры — Ме; в китайском это Дао а в санскрите _ Дхарма. Единый закон не допускает личного выбора индивидуальных желаний и даже собственных суждений. У человека просто нет

повода задаваться вопросами: «Чем я сам предпочел бы заниматься? Каким мне хотелось бы стать?» Кем тебе быть, о чем думать и как поступать, определяется твоим рождением. Вот что я прежде всего хочу подчеркнуть: в основе восточного мировосприятия вплоть до наших дней лежит зародившаяся в начале бронзового века идея общества как отражения космического порядка, которому обязан без рассуждений покоряться каждый, если он вообще хочет кем-то быть.

В санскрите глагол «быть» в женском роде настоящего времени имеет форму «сати»; то же слово обозначает добродетельную жену, предающую себя смерти на погребальном костре скончавшегося мужа. Этот самоотверженный, бездумный и исполненный чувства долга поступок становится венцом общественной роли жены и делает ее частицей вечности, символом бессрочной верности и нерушимой совместной жизни — иными словами, настоящей женой. Если же индуистка отказывается исполнить свою роль до конца, ее называют а-сати, «небытие» — попросту говоря, ничто, поскольку жизнь человека, весь смысл его существования на Земле сводится к обостренному ощущению общественной роли; он по-настоящему есть лишь когда безукоризненно исполняет свои обязанности. Если же оглянуться назад, на две братские могилы древней царской столицы Ур, то можно убедиться, что на свете была по меньшей мере одна жена, верная своему долгу до конца.

Выясняется, однако, что ритуально умертвили и самого А-бар-ги! Несомненные свидетельства древнего обычая ритуального цареубийства обнаруживаются на большей части земного шара. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть «Золотую ветвь» Джеймса Фрэзера практически на любой странице: древних царей-богов приносили в жертву каждые шесть, восемь или двенадцать лет — в зависимости от местных порядков; вместе с ними умерщвляли и придворных сановников. Знать сбрасывала бренные тела, чтобы родиться заново. Несмотря на ужасность, эта идея фантастична, благородна и чудесна: сама по себе

личность — никто и ничто, она лишь живое (даже после смерти!) воплощение единого, вечного и совершенно безличного космического закона.

Именно с этой концепцией нам предстоит сравнить западный или точнее, современный европейский идеал личности.

2

Перейдем теперь непосредственно к европейскому представлению о личности. Начнем с мнения швейцарского психолога Карла Юнга, в чьих работах понятие «индивидуация» обозначает психологический процесс обретения индивидуальной целостности. Юнг высказывает мысль о том, что в нынешней жизни общество требует от каждого из нас исполнения определенной социальной роли и, вообще говоря, непрерывное разыгрывание ролей является неотъемлемым условием нашего существования в этом мире. Такие роли Юнг называет персонами, от латинского persona, «маска, личина»; римские актеры носили эти маски на сцене и через них говорили (per-sonare, «звучать сквозь что-либо»). Чтобы сосуществовать с другими людьми, приходится надевать ту или иную маску; и даже тот, кто решил отказаться от всякой маски, фактически надевает что-то вроде маски отказа: «Черт побери, нет!». Одни личины шутливы, игривы, легкомысленны; другие, напротив, полны глубокого, очень глубокого, прямо-таки недоступного смысла. Как тело состоит из головы, двух рук, туловища и пары ног, так каждый человек имеет, помимо прочего, характер — надежно закрепившуюся persona, под которой он представляется себе и другим и без которой не может обойтись. По этой причине совершенно глупо предлагать, например: «Давайте снимем наши маски и будем естественными». Так или иначе, повсюду нас окружают ряженые: личины юности, старости и социальных ролей, а также самодельные маски, которые мы цепляем на других и принимаем затем за правду.

Представьте, например, что вы сидите в самолете и ведете непринужденный разговор с соседом, но проходящая мимо стюардесса вдруг почтительно обращается к нему: «сенатор». После этого вы, скорее всего, продолжите разговор совсем в ином тоне, без прежней непринужденности. Собеседник станет для вас тем, кого Юнг назвал «мана-личностью» — субъектом, заряженным чарами внушительной социальной маски. Из обычного человека ваш сосед превращается в важную персону олицетворение власти; больше того, вы сами тут же становитесь персоной подчиненной и малопримечательной — благопристойным американским гражданином, который удостоился беседы с сенатором. В этом кратком эпизоде личины во мгновение ока меняются — по меньшей мере, для вашего восприятия. Что касается самого сенатора, он, разумеется, остался тем же человеком, что и прежде, и если не важничал минуту назад, то едва ли начнет задирать нос теперь.

Для того чтобы пережить, говоря по-юнговски, индивидуацию, то есть перейти к образу свободной личности, необходимо знать, как и когда следует надевать и снимать маски различных социальных ролей. «С воронами жить — по-вороньи каркать», так что дома незачем носить маску той роли, какую исполняешь в зале заседаний сената. Но это, к сожалению, не так легко, ведь некоторые личины срастаются с кожей. Маски предопределяют определенные суждения и нравственные ценности, гордость, честолюбие и тягу к успеху. Они могут требовать даже безрассудных страстей. Очень распространена, в частности, чрезмерная впечатлительность, почтительность к маскам, будь то собственная твоя личина или мана-маска собеседника. Работа индивидуации требует между тем устранения такого непреодолимого подобострастия. Задача заключается в поисках своего настоящего лица и последующей жизни исходя из этого собственного центра, с полной властью над всеми своими «за» и «против»; но этого невозможно добиться, если подчиняешься и подыгрываешь любому маскараду жестко установленных ролей. Как утверждает Юнг, «в конечном счете, каждая жизнь представляет собой постижение целого, то есть самое себя, и по этой причине такое постиже-

ние можно назвать индивидуацией. Жизнь сводится к постигающим ее носителям индивидуальности, без них она просто немыслима. Но каждому носителю отведена индивидуальная судьба и место назначения, и само постижение этого придает жизни смысл».

Эта концепция прямо противоположна идеалу, навязанному всем — даже великим святым и мудрецам — на Востоке, где безраздельно властвует уверенность, что человек должен до конца отождествиться с отведенной ему маской социального положения, а после, когда все обязанности, соответствующие этой роли, безукоризненно исполнены, исчезнуть, или, пользуясь известным сравнением, раствориться, словно капля, в океане всеобщего. В противоположность обычной для Западной Европы идее — что именно индивидуальная судьба и характер, потенциально данные каждому человеку, представляют собой «смысл» и «исполнение» его единственной жизни, — на Востоке центром внимания остается не отдельная личность, а, как любят повторять современные коммунистические тираны, установленный общественный строй. Для Востока важна не уникальная творческая индивидуальность (там считают, что она, напротив, таит в себе угрозу), а ее обуздание посредством отождествления с локальным общественным архетипом и одновременного подавления любых порывов души к обособленной жизни. Просвещение сводится к навязыванию определенных доктрин, либо, как принято говорить сегодня, промыванию мозгов: брамину надлежит быть брамином, башмачнику — башмачником, солдату — солдатом,

жене — женой. И ничем иным, не больше и не меньше.

В таких условиях личность никогда не увидит в себе ничего кроме более-менее успешного исполнителя совершенно стандартной роли. . Любые черты уникального характера, какие могли проявляться в раннем детстве, уже через пару лет полностью исчезают и сменяются чертами социального архетипа, казенной формой, призрачной личностью или, как еще говорят в наше время, высокомерным ничтожеством. В подобном

обществе образцовым учеником является тот, кто без лишних - вопросов исполняет любые указания и, руководствуясь похвальной добродетелью несгибаемой веры в правоту наставника, жадно впитывает не только уже разжеванные знания, но и манеры, суждения и общий образ учителя, в которого ученику предстоит превратиться — и здесь слово «превращение» следует понимать буквально, так как от прежнего ученика не останется ничего, никакой личности в нашем, западном смысле — никаких собственных мнений, предпочтений и антипатий, мыслей и целей.

Интересно отметить, что в «Божественной комедии» путешественник-визионер, скитающийся по аду, чистилищу и раю, легко узнает своих покойных друзей и беседует с ними о минувшей жизни. Сходным образом, в античных загробных мирах «Одиссеи» и «Энеиды» оба главных героя с ходу называют тени усопших по именам и заговаривают с ними. Однако в восточных преисподних и небесах индуистов, буддистов и джайнов не встретить упоминаний о подобном сохранении черт личности, поскольку в миг смерти сбрасывается маска земной роли и надевается новая личина загробных обязанностей: обитатели ада принимают демонический облик, а попавшие в рай — божественный. Когда же, перевоплощаясь, эта безликая сущность вновь переносится на Землю, она просто примеряет очередную маску и ничего не помнит о прошлом. В образцах европейского мировосприятия — будь то античные эпические поэмы и трагедии, «Божественная комедия» или юнговская психология «индивидуации» — центром внимания является личность, которая рождается и живет лишь единожды; уникальные желания, мысли и поступки делают ее непохожей на всех остальных. С другой стороны, на бескрайних просторах Востока — в Индии, Китае, Корее, Японии, Тибете — живое существо воспринимается как бесплотный чужеземец, который задерживается на Земле «проездом» и постоянно меняет наряды. Ты — не твое тело. Ты — не твое «я». Пойми, что все это иллюзорно.

Последствия этой основополагающей разницы между восточными и привычными нам европейскими взглядами на личность затронули все

сферы общественной жизни и нравственности, а равно психологические, космологические и метафизические представления. «Эта объективная Вселенная, — сказано, например, в одном санскритском тексте, — совершенно нереальна. Столь же нереально и «я», чей срок существования, очевидно, — лишь краткий миг. [...] Перестань отождествлять себя со сгустком плоти, грубым телом, и с эго, телом тонким; ведь оба они — в воображении ума. [...] Уничтожив своего врага, эгоизм, могучим мечом Самосознания, вольно насладись непосредственным блаженством своего истинного царства — величием Я, которое есть Всё во Всем».

Вселенная, от которой нам, таким образом, следует обособиться, должна быть понята как извечно возникающее и пропадающее в повторных циклах, подобно сну, иллюзорное видение. Когда приходит такое прозрение и человек исполняет любую роль без участия эго, без каких-либо желаний, надежд и страхов, наступает освобождение от непрестанного круговорота бессмысленных перевоплощений. Солнце восходит и заходит в положенный срок и надлежащем месте, Луна прибывает и убывает, как заведено, звери поступают сообразно своему виду, и потому мы с вами тоже обязаны жить как предопределено рождением. Считается, что вследствие наших поступков в прежних жизнях нынешняя начинается как бы с того же самого места, но для его точного определения не требуется участия какого-либо бога-судьи. Все решается само собой — меряется, так сказать, духовным весом перевоплощающейся монады. Только от этого зависит общественное положение чело> века, предписанный образ жизни и все прочее, что будет приносить ему радости и страдания.

В древнеиндийских сводах законов («Законы Ману», «Установления Вишну» и т. д.) даются подробные объяснения в отношении того, какое обучение приличествует каждой касте, что ее представителям следует употреблять в пищу, на ком жениться, когда молиться и проводить омовения, в какую сторону поворачиваться, когда чихаешь или зеваешь, как полоскать рот после еды — и так далее, adinfinitum. Наказания за нару-

шение этих правил просто ужасают. На Дальнем Востоке, где Естественный Путь, или Порядок, описывается категориями, несколько отличными от индийских, распорядок человеческой жизни определяется примерно равнозначными понятиями. Там тоже существует космический порядок, воплощенный, в частности, в общественном устройстве, подчиняться которому — и долг, и естественный образ жизни человека. Сходные регулирующие законы точно и подробно поясняют каждому, как следует жить; социальное положение человека определяет, например, размеры его спальни, материал циновки и обуви, длину рукавов, допустимое число утренних чашек чаю и тому подобное. Тщательно описывается каждая мелочь, и в результате человек столько всего должен, что у него попросту нет времени задумываться, чего бы он хотел.

Иными словами, принципы личности, открытого мышления, свободы воли и самостоятельных поступков в этих обществах вызывают только отвращение и отбрасываются как противоречащие всему естественному, благому и настоящему. По этой причине индивидуация, которая, по Юнгу, представляет собой идеал душевного здоровья и благополучия взрослой жизни, Востоку просто непонятна. Позволю себе привести лишь один пример, а именно отрывок из «Законов Ману», связанный с общими правилами поведения благоверной индуистки:

Женщиной — в детском возрасте, молодой или даже пожилой — никакое дело не должно исполняться по своей воле, даже в [собственном] доме.

В детстве ей полагается быть под властью отца, в молодости — мужа, по смерти мужа — [под властью] сыновей: пусть женщина [никогда] не пользуется самостоятельностью.

Пусть она никогда не желает разлуки с отцом, мужем и сыновьями; оставляя их, женщина делает заслуживающими презрения обе семьи [свою и мужа].

[Ей] надо быть всегда веселой, искусной в домашних делах, иметь хорошо вычищенную утварь, быть бережливой.

Кому бы ни отдал ее в жены отец или, с разрешения отца, брат, ей следует повиноваться мужу при жизни и не пренебрегать им после его смерти. [...]

Муж, [даже] чуждый добродетели, распутный или лишенный добрых качеств, добродетельной женой должен быть почитаем, как бог. [...]

Вследствие такого поведения женщина, имеющая обузданные мысли, слова и тело, достигает в этом мире высшей славы, а в будущем — местопребывания мужа.

Национальные учителя делят индийскую философию на четыре школы, в соответствии с возможными заверениями жизни, то есть четырьмя целями, к которым стремится человек в этом мире. Первой является дхарма («долг», «добродетель»); именно о ней только что шла речь, и мы удостоверились, что для каждого человека она определяется его местом в общественной жизни. Вторая и третья цели связаны с природой, и к ним естественно тянется все живое: успех, свершение, величие, именуемое на санскрите артха, и чувственное удовольствие, которое называют кама. Эти цели соответствуют тому, что Фрейд обозначил понятием Оно, и представляют собой выражение первичных биологических побуждений души, простейшее «я хочу!» животного естества. В отличие от них, налагаемый обществом принцип дхармы равнозначен Фрейдовскому сверх-Я, культурному «ты должен!». В индийском обществе удовольствиям и успехам человека не следует, так сказать, покидать сень его дхармы: «должен!» властвует над «хочу!». К середине жизни, когда все обязанности исполнены, мужчина уходит в лес, чтобы стать отшельником и силой йоги стереть последние следы «хочу!», а вместе с ним — и все ответные отголоски «должен!». После этого он достигает четвертой це-

ли, окончательного итога жизни, именуемого мокша — «полное освобождение», — хотя это вовсе не «свобода» в понимании Запада, где личность стремится быть тем, кем хочет, и делать то, что нравится. Напротив, мокша означает освобождение от какой-либо тяги к дальнейшему существованию.

«Должен!» вместо «хочу!» — а после: «исчезни!». На взгляд современных представителей Запада, напряженность между первыми двумя требованиями характерна, скорее, для младенческого, чем зрелого возраста, но на Востоке такое конфликтное состояние присуще жизни человека в целом. Там не поощряют и не допускают ничего такого, что на Западе сочли бы признаком зрелой личности. Окончательный вывод выражается просто и ясно: Восток никогда не отличал эго от ид.

Слово «я» (санскр. ахам) означает для восточного философа только желания, требования, страхи и стремление чем-то обладать: те самые побуждения, которые Фрейд назвал Оно, действующим под давлением принципа удовольствия. С другой стороны, эго (опять же по определению Фрейда) означает психологическое свойство, объективно соотносящее нас с внешней, эмпирической «действительностью» (миром фактов, «здесь и сейчас», и присущими ему возможностями, которые объективно наблюдаются, распознаются, осмысляются и оцениваются человеком) и собственной душой (для аналогичного внутреннего постижения и самооценки). Таким образом, взвешенный поступок взрослого и ответственного эго в корне отличается от порывов жадного, необузданного Оно — и, тем более, от действий, вызванных безоговорочным подчинением кодексу поведения, который унаследован от пращуров и вполне может оказаться неприемлемым в современных условиях, а порой приводит даже к непредвиденным общественным и личным конфликтам.

Добродетели жителя Востока сравнимы, таким образом, с достоинствами хорошего солдата, который послушен приказам и несет личную ответственность не за результат своих действий, а лишь за их исполнение.

Но поскольку все законы Востока переданы из бесконечно далекого прошлого, на свете давно не осталось никого, кто лично отвечал бы за своё поведение. Впрочем, на самом деле личной ответственности никогда и не было, так как законы эти утверждены — так, во всяком случае, считается — устройством самой Вселенной. Раз источником всеобщего порядка является не бог или некое испытывающее желания существо, а совершенно безличная сила, пустота, пребывающая вне бытия, сознания и любых категорий, то, в конечном счете, на свете никогда не было никого и ничего, что несло бы ответственность за происходящее, — ведь сами боги тоже являются лишь высшими должностными лицами этого безостановочного калейдоскопа иллюзорных возникновении и исчезновений в беспредельном мире.

3

Возникает закономерный вопрос: как и когда произошел исторический переход от только что описанных восточных воззрений к тому, что мы называем сейчас западными взглядами на взаимоотношения личности со Вселенной? Первые несомненные признаки смещения ценностей замечены в месопотамских текстах второго тысячелетия до нашей эры, где впервые проводится различие между царем как обычным человеком и богом, которому царь обязан служить. Это уже не бог-монарх, кем считали египетского фараона. Отныне его именуют «наместником» бога. Город под правлением царя — владение бога на земле, а сам царь — просто главный управляющий, старший слуга. Больше того, именно в ту эпоху в Месопотамии возникают мифы о сотворении человека как раба Для божеств. Люди превратились в челядь, а боги — в полных хозяев. Человек перестает быть воплощением божественного и приобретает совершенно иное — земное, смертное естество.

Да и сама земля становится отныне глиной, прахом: материя и дух разделяются. Я называю это событие «мифическим разобщением»; по всем признакам, оно было наиболее характерно для поздних религий

Леванта — важнейшими из них сегодня, разумеется, являются иудаизм, ислам и христианство.

Мифологическое влияние этого отрезвляющего сдвига в мышлении можно проиллюстрировать легендой о Потопе. Согласно множеству мифологий, до сих пор процветающих на Востоке, всемирный потоп неизбежно происходит в конце каждого зона, В Индии продолжительность этой мировой эпохи, именуемой Днем Брахмы, исчисляется в 4 320 000 000 лет; этот период сменяется Ночью Брахмы, когда все сущее на столь же долгий срок растворяется во вселенском океане. Общая протяженность космического круга составляет, таким образом, 8 640 000 000 лет. В исландских Эддах сказано, что в Вальхалле 540 дверей и из каждой в день конца света выйдет 800 воинов, готовых к битве с антибогами, Но произведение 800 и 540 равно 432 ООО! За этим совпадением кроется судя по всему, общий мифологический сюжет, который языческая Европа разделяла с Древним Востоком. Действительно, бросив взгляд на обычные часы, я вспоминаю, что в часе 60 минут, а в минуте — 60 секунд, то есть сутки тянутся 86 400 секунд; на протяжении этих суток день непременно сменится ночной порой, а к утру тьму разгонит рассвет. Мифология смены космических дней и ночей никак не связана с идеями наказания или греха: все происходит само собой, в согласии с обычным порядком вещей.

По словам ученого халдейского жреца Бероса, составившего в начале III в. до н. э. рассказ о вавилонской мифологии, Потоп наступил через 432 000 лет после того дня, когда на престол взошел первый шумерский монарх, и на протяжении этого периода страной правило десять царей, живших чрезвычайно долго. Отметим, далее, что, согласно Библии, сотворение Адама и Ноев Потоп разделяло 1656 лет, и в эту эпоху на земле жило десять старцев-долгожителей. Если доверять точности расчетов выдающегося еврейского ассириолога прошлого века Юлиуса Опперта (1825—1906 гг.), то в 1656 годах ровно 86 400 семидневных недель.

Итак, даже в Библии угадывается месопотамская модель повторяющихся с математической упорядоченностью циклов возникновения и уничтожения мира, где каждый круг завершается потопом. Известно, однако, что наиболее распространенное и очевидное ветхозаветное объяснение причин всемирного наводнения сводится к тому, что Яхве решил наказать людей за грехи. Это уже совершенно иная идея, подчеркивающая скорее свободу воли человека, а не более раннее, позабытое представление о совершенно безличном характере цикла рождения и гибели Вселенной, столь же невинных, как обычная смена дней и ночей.

Самыми ранними из дошедших до нас образчиков второго толкования легенды о Потопе являются два шумерских клинописных текста, датируемых периодом от 2000 до 1750 гг. до н. э. В них говорится о разгневанном боге Энлиле и построившем ковчег человеке, которым был десятый Царь Древнешумерского города-зиккурата Киша. Таблички с текстами относятся к тому же периоду, что и упоминавшийся уже обычай именовать месопотамских царей «наместниками» божеств. Подобный сдвиг мировоззрения подразумевает очень многое. Прежде всего, картина Вселенной теряет чудесную составляющую; это уже не божественная и лучезарная непостижимая драма, в которой на равных участвуют боги и демоны, растения, животные и человеческие города. Божественное ушло с Земли, перенеслось в сверхъестественные пространства, откуда боги — единственный отныне источник света — повелевают происходящим в бренном мире.

Но, с другой стороны, наряду с утратой — точнее, вследствие утраты — отождествления с органичным божественным бытием живой Вселенной человек получил — вернее, завоевал — право на самобытность, определенную свободу воли. Тем самым он установил новые взаимоотношения с внешним божеством, тоже наделенным свободой волеизъявления. Боги бескрайнего Востока как посредники мирового цикла едва ли занимают положение выше надзирателей: они следят за ходом естественного циклического процесса, но не в силах его ни сдержать, ни изме-

нить. А теперь появляется божество, которое, напротив, способно по собственному выбору затопить Землю, чтобы наказать созданных им же людей за грехи. Отныне есть бог, который сам устанавливает законы, вершит правосудие и исполняет приговор, — и мы оказываемся в совершенно иных условиях. Коренные перемены в сознании озарили Вселенную и все сущее новым, более ярким светом, и он, как сияние Солнца, затмил блеск Луны, планет и звезд. В течение последующих веков этот ослепительный свет рассеялся по всем странам к западу от Ирана и полностью их преобразил.

Боги и люди перестали восприниматься просто как отдельные грани единого безличного Бытия всего сущего, пребывающего за пределами имен и форм. Люди и боги начали различаться по естеству, стали едва ли не противоположностями, причем человек оказался в положении подчиненном. Больше того, наделенный личностью бог занял место не ниже законов Вселенной, а над ними. Мы уже убедились, что, по ранним представлениям, боги были чем-то вроде космических чиновников и, подобно людям, руководствовались в своих делах и обязанностях великими естественными законами Вселенной. Теперь же появился бог, который сам решает, как должны выглядеть законы. Он говорит: «Да будет так!» — и становится так. Акцент смещается с непреложного всеобщего закона на личность и ее прихоти: отныне бог вправе менять свои намерения и делает это довольно часто. Подобные взгляды тесно сближают дух левантинцев с врожденным индивидуализмом европейцев, но тем не менее их мировоззрения кое в чем различаются.

Особенность Леванта заключается в подчеркнутой покорности людей воле божьей, в каких бы капризах она ни проявлялась. Основная Я мысль сводится к тому, что бог даровал запечатленное в книге откровение, и каждый обязан его читать и почитать, никогда не подвергать сомнениям, только верить и подчиняться, а от того, кто пренебрегает священной книгой или отрицает ее, создатель просто отвернется. Таким образом, многие большие и малые народы, а подчас и целые континенты

населены нечестивыми безбожниками. Действительно, всем крупнымрелигиям, зародившимся в районе Леванта — зороастризму, иудаизму, исламу и христианству, — свойственна идея о том, что на свете есть только один народ, получивший Слово, единственная верная традиция, а представители ее, следовательно, образуют один исторический организм; подразумевается, однако, уже не то природное, космическое единство, идея которого характерна для древних и нынешних восточных мифологий, а наделенный сверхъестественной силой, исключительный общественный институт со своими собственными, подчас на удивление неестественными законами. В Леванте главным героем является не отдельный человек, а благословенный, богоизбранный народ или Святая Церковь, где личность может рассчитывать только на роль рядового члена. Христианин, например, благословен уже потому, что крещен и принадлежит к Церкви, а иудей не должен забывать, что у него есть обязательства перед Яхве в силу самой тайны рождения от матери-еврейки. Главное, что Конец Света переживут только те, кто следовал Заветам — либо, как в христианском варианте, те, кто прошел таинство крещения и скончался «в благодати». Лишь эти люди воскреснут и предстанут перед Ц Богом, а после, как заверяет одна из приятных версий загробной жизни, будут вечно вкушать за общим райским столом мясо Левиафана и Бегемота.

Поразительным свидетельством глубочайших трудностей, которые испытывали европейцы, когда пробовали совместить общинные идеи Леванта с исконным чувством значимости личности у греков и римлян, кельтов и германцев, может послужить католическая доктрина о двух судах, ожидающих душу в загробном мире. Первый, «частный» суд происходит сразу после смерти; на нем каждому человеку в отдельности определяют награду или искупительную кару. Второй, «всеобщий» суд состоится, когда наступит конец света; всех, кто когда-либо жил на Земле, соберут вместе и будут судить открыто — вероятно для того, чтобы Промысел Божий, который в земной жизни частенько вынуждает хороших людей страдать, а злодеям дарует благоденствие, мог наконец наглядно явить всему человечеству свою непогрешимую справедливость.

4

В завершение я хочу пересказать три версии одного древнего мифа, которые сохранились независимо друг от друга в Индии, на Ближнем Востоке и в Греции. Это сопоставление со впечатляющей наглядностью показывает разницу между общевосточными воззрениями и двумя не очень схожими западными представлениями о характере личности и ее высших достоинствах.

Начнем с индийского мифа, изложенного в религиозном тексте «Брихадараньяка упанишада», составленном около VIII в. до н. э.

Во времена до начала времен Вселенная была ничем, кроме Я в облике человека. И человек «оглянулся вокруг и не увидел никого кроме себя. И прежде всего он произнес: "Я есмь". Так возникло имя Я». И когда он осознал себя как Я, это, ему стало страшно. «И он подумал: "Ведь нет ничего кроме меня — чего же я боюсь?" И тогда боязнь его прошла».

Однако, как сказано далее, «он не знал радости. [...] Он захотел второго». Он разросся и, разделив себя на две части, стал мужчиной и женщиной. Мужчина сочетался с женщиной, и родились люди. «И она подумала: "Как может он сочетаться со мной после того, как произвел меня через самого себя? Я должна спрятаться". Она стала коровой, он — быком и сочетался с ней; тогда родились коровы. Она стала кобылой, он — жеребцом...» и так далее, «вплоть до муравьев».

«Тогда он узнал: "Поистине, я есмь творение, ибо я сотворил все это». Так он стал творением. Кто знает это тот находится в этом его творении».

Так выглядит индийский вариант предания. Перейдем к его левантийской версии, датируемой примерно тем же периодом и сохранившей-

ся во второй главе «Книги Бытия». Это довольно скорбное повествование о нашем первопредке Адаме, сотворенном Создателем из праха, чтобы возделывать и хранить Едемский Сад. Но человеку было одиноко, и Творец, желая порадовать его, создал из земли всех животных полевых и птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Но ни одна тварь не принесла Адаму утешения. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его...» И, увидев женщину, человек сказал: «вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:18—23). Хорошо известно, что случилось потом и как все мы оказались здесь, в этой юдоли слез.

Однако обратите внимание: второй вариант отличается от первого тем, что уже не бог делится надвое, а сотворенный им слуга! Не сам бог становится мужчиной и женщиной, чтобы излиться затем в виде всего сущего. Он остается в стороне и обладает особым естеством. Таким образом, это действительно две разные версии одного предания. Соответственно, различны и вытекающие из них следствия, связанные с идеалами и правилами религиозной жизни. На Востоке идеал сводится к тому, чтобы каждый осознал, что он сам и все вокруг сотканы из той же субстанции, что и всеобщее Бытие, представляющее собой, по существу, единое «Я» во всем. По этой причине традиционной целью большинства восточных религий является восприятие и постижение собственной тождественности Бытию всего сущего, тогда как на Западе, в согласии с Библией, главное место занимают особые взаимоотношения с совершенно иной личностью, Создателем, который пребывает вовне, «где-то там», и ни в коем случае не является сокровенным «Я» человека.

Перейдем, наконец, к той же легенде в ее греческом варианте, который соответствует еще одному мировосприятию. Эта версия приводится в платоновском диалоге «Пир» и приписывается Аристофану. Как свойственно беззаботному настроению его блистательного товарищества, Платон предлагает скорее метафорическое объяснение загадки любви,

нежели серьезное и достоверное рассуждение о происхождении человека.

Фантазия начинается с тех времен, когда уже существовал род человеческий, а еще точнее, сразу три расы: одна состояла исключительно из мужчин и обитала на Солнце, другая, женская, населяла Землю, а третья, представляющая собой слияние мужского и женского, жила, разумеется, на Луне. Ростом представители третьей расы вдвое превышали обычного человека, у каждого было по четыре руки и ноги, бока и спины образовывали круг, у головы было два лица, прочие же части тел имели привычное для нас устройство. Боги побаивались этих могущественных созданий, и в конце концов Зевс с Аполлоном рассекли их надвое, «как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском. [...] И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода...», пока боги не разлучили их вновь. Урок притчи заключается в том, что «такова была изначальная наша природа и мы составляли нечто целостное. Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. [...] Помирившись и подружившись с богом, мы встретим и найдем тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому удается»; с другой стороны, «если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся [...] выпуклым надгробным изображениям, которые как бы распилены вдоль носа».

Как и в библейском варианте, здесь надвое разделяется не высшее божество. Нет сомнений, что мы по-прежнему на Западе, где Бог и человек разобщены, а главной проблемой являются их взаимоотношения. Однако греческие боги, в отличие от Яхве, не создавали человеческий род; как и люди, они возникли из чрева богини Земли и потому были скорее старшими, более могущественными братьями человека, а не его творцами. Больше того, согласно этой типичной для греков, поэтичной и шутливой версии архаичного предания, прежде чем рассечь первых лю-

дей пополам, боги боялись их — такой ужасной властью обладал человек, столь велика была его душа. Однажды люди даже отважились напасть на богов, населявших небо, и на какое-то время весь пантеон был ввергнут в панику, ведь если бы боги уничтожили людей ударами молнии, некому было бы приносить жертвы, а без поклонения боги и сами бы вскоре погибли. По этой причине богам и пришла в голову счастливая мысль о рассечении людей — она и была воплощена в жизнь.

Можно не сомневаться, что симпатии греков на стороне человека, с которым их, как-никак, связывают родственные узы. Евреи, напротив, занимают сторону Бога. Невозможно представить себе, чтобы древний грек повторил, например, слова измученного «справедливого и богобоязненного» Иова, обращенные к Богу, который «погубил его безвинно» (Иов 2:3), а после предстал перед праведником в виде бури и бахвалился своей властью.

«Знаю, что Ты все можешь», — рыдал Иов, — «поэтому отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (42:3; 6).

«Раскаиваюсь»! Но в чем?!

В ту же эпоху, в пятом веке до нашей эры, когда неизвестный автор составил «Книгу Иова», великий греческий драматург Эсхил вложил в уста своего Прометея — а его, между прочим, тоже терзал бог, способный «удою вытащить левиафана, [...] забавляться им, как птичкою, [...] и пронзить кожу его копьем», — потрясающие строки: «Чудовище ... А мне до Зевса дела никакого нет. Пусть правит как угодно...»

Эти слова и сегодня все мы повторяем в душе, хотя многих из нас приучали лишь к лепету Иова.

V. РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА (1970Г.)

В двадцатые годы, когда я был студентом, едва ли кто-то мог предположить, что и через полвека образованные люди все еще будут читать и размышлять о религии. Тогда никто не сомневался, что в будущем с религией будет навсегда покончено. Главное место уже заняли наука и разум. Мы победили в войне — я имею в виду, конечно, Первую мировую, — и Земля стала идеальным местом для рационального царства демократии. В литературе тон задавали ранний Олдос Хаксли с его «Контрапунктом», Бернард Шоу, Герберт Уэллс и прочие рассудительные авторы. Но именно тогда, в разгар оптимистической веры в силу разума, демократии и социализма, вышла тревожная работа — «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Именно в то счастливое время начали появляться и другие книги совершенно неожиданного содержания: «Волшебная гора» Томаса Манна, «Улисс» Джеймса Джойса, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и «Бесплодные земли» Томаса Элиота.

Если судить по успехам литературы, те годы были поистине триумфальными. Однако некоторые авторы, казалось, пытались предупредить нас, что, несмотря на торжество разума и прогрессивные политические достижения, озарившие светом самые мрачные утолки Земли, в сердце нашей родной западной цивилизации гибнет что-то очень важное. Самыми неутешительными среди подобных предостережений и провозвестий были раздумья Шпенглера, основанные на идее органической схемы жизненного пути цивилизации — морфологии истории. Его мысль сводилась к тому, что у каждой культуры есть пора юности и период расцвета, после чего начинаются годы шаткой старости и попытки сберечь себя рациональным планированием, прожектами и жесткой организацией; несмотря на все усилия, завершается это немощью, оцепенением — тем, что Шпенглер именовал «феллахинизмом» (Термин О. Шпенглера. «В конце концов остается лишь примитивная кровь, из которой, однако, высосаны наиболее крепкие и богатые будущим элементы. Возникает тип феллаха» (Шпенглер О. «Закат Европы: очерки морфологии мировой истории». — М.: Мысль. — 1998. —Т.2. —С. 109; в пер. И. И.

Маханькова)) — и, наконец, полной безжизненностью. Больше того, по мнению Шпенглера именно в те годы мы оказались на пороге перехода от эпохи Культуры к периоду Цивилизации, то есть от юношеской непосредственности и удивительных творческих задатков к неопределенному возрасту тревог и напускных надежд — иными словами, к началу конца. Шпенглер искал аналогии в античном мире, и, по его утверждению, наша эпоха соответствовала концу второго века до нашей эры, когда бушевали Пунические войны, культурный мир Греции скатывался к эллинизму, расцветало римское военизированное государство, самодержавие и то, что сам Шпенглер назвал «второй религиозностью» — политика, основанная на подаче хлеба и зрелищ толпам жителей гигантских городов, а также всеобщая грубость и жестокость в искусстве и досуге.

Что ж, теперь я могу подтвердить: изрядная доля моего жизненного опыта свидетельствует, что в нашем мире действительно проявилось — причем не так уж постепенно — все то, что обещал Шпенглер. Помню, как мы рассаживались кружком, рассуждали об этих смутных перспективах, придумывали, как их отсрочить, и пытались предугадать, что положительного сможет принести этот тяжкий переломный период. Шпенглер утверждал, что в такие, как наша, эпохи перехода от культуры к цивилизации происходит отмирание и отбрасывание культурных форм. Действительно, в моей нынешней преподавательской работе я все чаще сталкиваюсь со студентами, считающими, будто вся история западной культуры «безнадежно устарела» — именно так они выражают свое отсутствие интереса к прошлому. Такое впечатление, что нашим «парням» (им нравится, когда их так называют) просто не хватает сил вобрать все минувшее, а потом уж двигаться дальше. Каждый из нас отмечает — по меньшей мере подозревает — у нынешней молодежи какую-то сердечную недостаточность, потерю самообладания. С другой стороны, можно взглянуть на все иначе и поразмыслить над тем, как длинна цепочка нынешних проблем, требующих решения, сколько новых фактов и факторов теперь приходится учитывать. Напрашивается вывод, что наша молодежь все свои силы тратит на освоение сложного настоящего и неоп-

ределенного будущего. Кроме того, развивая идею Шпенглера, можно заключить, что в настоящее время западный человек не только отбрасывает культурные формы прошлого, но и занимается созданием новых форм цивилизации, с помощью которых удастся выстроить крепкое многокультурное будущее.

Эти рассуждения наводят на мысли об очень странной, пророческой работе «Видение» великого ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса. Он писал эту книгу на протяжении двух десятилетий, с 1917 по 1936 год, и показал в ней определенное сходство своих интуитивных предчувствий с морфологическими построениями Шпенглера. Йейтс видел в своей эпохе завершающий этап огромного христианского цикла — «спирали», или «вихря» — с окружностью в два тысячелетия. «И я замечаю, — говорит он, — что, когда предел близок или перейден, когда наступает момент сложить оружие, когда подает о себе знать новый вихрь, меня наполняет восторг»1. Развивая эту мысль, он написал и опубликовал уже в 1921 году стихотворение, внушающее чувство мрачной предрешенности:

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Шире и шире кружась в воронке, Соколсокольничего не слышит;

Связи распались, основа не держит;

Анархия выплеснулась на землю,

Тусклый от крови поток вскипает,

И в нем почтенье к невинности тонет;

Добро утратило убежденья, Зло одержимо неистовой страстью.

Ясно, что откровение близко;

Ясно, Второе Пришествие близко.

Второе Пришествие! Только помянешь

Его, как образ из SpiritusMundi

Взор потревожит: в песках пустыни

Лев с головой человека и взглядом

Безжалостным и пустым, как солнце,

Поводит бедрами, и на склонах

Мечутся тени разгневанных птиц.

Возвращается мрак; но теперь я знаю,

Что каменный сон двадцати столетий

Был прерван качанием колыбели,

Что ныне зверь, дождавшийся часа,

Ползет в Вифлеем к своему рождеству.

В те годы работал и другой немецкий историк культуры, Лео Фробениус. Подобно Шпенглеру и Йейтсу, он тоже рассуждал о культуре и цивилизации с морфологической точки зрения и видел в них органичный, необратимый и неотвратимый процесс. Фробениус был, однако, африканистом и антропологом, и потому в его поле зрения попадали не только развитые, но и примитивные цивилизации, что привело к идее трех

принципиально различных крупных этапов, охватывающих всю культурную историю человечества. Первый этап, когда нет еще письменности, представляет собой стадию первобытной охоты, собирательства и оседлого земледелия; он тянется от самого зарождения человеческого рода вплоть до настоящего времени (в некоторых уголках земного шара). Второй период, начинающийся примерно с 3500 г. до н. э., можно назвать эпохой «монументальных», сложных и обладающих письменностью культур: сначала Месопотамия и Египет, затем Греция и Рим, Индия, Китай и Япония, Центральная и Южная Америка, Левант и Европа (начиная с готических времен и кончая нашей эпохой). Ныне наступает, наконец, третий этап — заря многообещающей глобальной эры, в которой Фробениус видел вероятное завершение всей культурной истории человечества, хотя допускал, что она может растянуться на несколько десятков тысячелетий. Таким образом, период, который Шпенглер и Йейтс толковали как завершение цикла западной культуры, Фробениус считал, напротив, началом новой эпохи безграничных возможностей.

Действительно, наше время, когда прежде разобщенные культурные миры наконец-то соприкоснулись, вполне может ознаменоваться не только окончанием господства Запада, но и совершеннолетием человечества, объединенного величайшими западными достижениями, наукой и техникой, без которых зрелости не достичь.

Тем не менее Шпенглер и в этой области пророчит только запустение. По его мнению, наука и техника — проявления исключительно европейского мировосприятия, и прочие народы позаимствуют их лишь как средства борьбы с Западом и его уничтожения. Когда же они зарежут эту курицу, несущую золотые яйца, развитие промышленности прекратится, к научным знаниям потеряют какой-либо интерес, они будут преданы забвению, что приведет к полному упадку технологии и возвращению многих народов к прежним обычаям. Таким образом, нынешний «золотой век» Европы и все, что она несет миру, — заведомо несбыточные надежды. С другой стороны, Фробениус, как и чуть ранее Ницше, видел в на-

стоящем эпоху необратимого движения всего человечества к единому образу жизни — переход от детских, ограниченных ступеней культурного роста к новому, общечеловеческому будущему с такими творческими прорывами и озарениями, какие сейчас просто невозможно предугадать. Лично я должен признаться, что склоняюсь к таким же взглядам, и все же не могу выбросить из головы то, другое, шпенглеровское видение...

Так или иначе, сегодня все мы сознаем, что вступаем в новую эпоху, требующую новой мудрости — причем мудрость эта связана скорее с опытом зрелого возраста, чем с поэтическими фантазиями юности; и каждый из нас, стар и млад, должен каким-то образом ее усвоить. Больше того, когда обращаешься мыслями к религии, прежде всего замечаешь, что в любой великой традиции ныне царит полная неразбериха: то, что прежде считалось неоспоримой истиной, теперь кажется несостоятельным.

Очевидно, однако, что религиозные брожения захватывают умы не только молодежи, но и людей среднего и преклонного возраста. Горячность эта, впрочем, имеет мистическую направленность, а самые почитаемые учителя приходят из того мира, который, как считалось прежде, безнадежно отстал от Европы с ее великим стремлением к цивилизованности и олицетворяет архаичный, давно отживший свое склад мышления. Запад наводнили индийские гуру, японские роси и тибетские ламы, а китайские книги прорицаний опережают по объемам продаж труды Наших собственных философов.

Последнее замечание не относится, впрочем, к работам наших лучших психологов, и в этом нет ничего удивительного, ведь главный секрет привлекательности восточных учений заключается в том, что они нацелены на внутренний мир, мистичны и психологичны.

Сложившееся сейчас положение в сфере религии сильно напоминает ситуацию в конце XIX века, когда обстоятельства жизни североамериканских индейцев резко изменились вследствие истребления бизонов Было это не так давно, меньше ста лет назад: на равнинах прокладывадывали железные дороги, и бледнолицые уничтожали целые стада бизонов, что-бы очистить путь перед «железным конем» и колоннами поселенцы, чьи фургоны шли от Миссиссипи на запад. Бойня преследовала и друг цель: лишить индейцев источника пищи и окончательно вынудить жизни в резервациях. Непосредственным следствием такого развития — для индейцев, безусловно, опустошающего — стало внезапаное распространение среди коренных племен Запада новой религии, основанной на видениях и внутренних переживаниях.

С жителями прерий случилось то же, что и с другими первобытны» охотниками: центром и основой их религиозно-общественного порядка были взаимоотношения человека с животными — главным источника пропитания. Гибель бизонов привела к исчезновению связующего символа. За какое-то десятилетие вся религия стала архаичной, и имени тогда на равнины выплеснулся спасительный с психологической точки зрения мексиканский культ пейотля и мескаля. Сейчас опубликован уже немало отчетов непосредственных участников этих ритуалов, и М) знаем, как индейцы собираются в особых местах, чтобы молиться, пет и жевать пейотль, а после погружаться в удивительные видения и находиться в глубинах своей души утраченные сообществом прозрения — частности, символику святости, которая дарует глубокое ощущение психологической надежности и придает ясный смысл существованию.

Важнейшая задача живого мифологического символа заключается в том, чтобы пробуждать и направлять энергию жизни. Высвобождающие и руководящие знаки не просто, как сейчас модно говорить, «заводят», но и разворачивают в определенную сторону, вынуждают к особым поступкам, благоприятным для самого человека, его социально жизни и деятельности общественной группы. Если же символы, предлагаемые сооб-

ществом, уже не исполняют свою роль, а новые действенны образы социальной группой еще не выработаны, личность дает трещины, теряет соотносительные связи и ориентиры — происходит то, что „/но назвать патологией символа.

Доктор Джон Перри, выдающийся профессор психиатрии Калифорнийского университета, охарактеризовал живой мифологический символ, как «аффективный образ». Говоря простыми словами, такой символ затрагивает в душе именно то, что нужно. Он не обращается к мозгу, поскольку не требует толкования и оценок; мало того, символ вообще можно считать мертвым, если он проходит через мышление. «Аффективный образ» нацелен непосредственно на чувства и вызывает мгновенный отклик — а уж после этого разум вправе высказывать свои замечания. Увиденный во внешнем мире образ вызывает в душе трепет, подобно тому, как неподвижная струна резонирует в ответ на колебания звучащей. И когда активные символы пробуждают во всех членах сообщества такого рода отклик, волшебный аккорд объединяет людей в неразрывный духовный организм, действующий посредством своих пространственно обособленных, но единых в естестве и вере частиц.

Возникает вопрос: как это относится к библейской символике? Образность, восходящая к древнешумерским астрономическим наблюдениям шеститысячелетней давности и столь же устаревшей антропологии, едва ли может сейчас кого-то «завести». По правде говоря, пресловутое столкновение науки и религии ничуть не связано с верой и представляет собой конфликт двух наук: одна относится к IV тысячелетию до нашей эры, а другая — к 2000 г. н. э. По иронии судьбы, великая западная цивилизация, распахнувшая перед всем человечеством бесчисленные чудеса Вселенной _ размерами с миллион галактик и возрастом в миллиарды лет, — опиралась в младенческие годы на религию с самой крошечной космологической картиной из всех, что существовали когда-либо на Земле. Намного логичнее выглядело бы зарождение такой науки У Древних майя, чей цикличный календарь охватывал 64 миллиона лет, или у

индийцев, где каждая кальпа растягивалась на 4320 миллионов лет. Кроме того, в этих куда более размашистых системах окончательная божественная сила не имеет пола и превосходит любые категории; это не «мужчина», обитающий «на небесах», а сила, которая пронизывает все сущее, — для современной науки образ не настолько чуждый, чтобы ему нельзя было найти подходящего применения.

Сейчас в библейский образ Вселенной попросту никто не поверит, как не поверят в идею «народа Божьего», которому все прочие будут служить

(Ис. 49:22—23; 61:5—6 и др.), не говоря уже о своде ниспосланных свыше законов на все времена. Наши социальные проблемы совсем не похожи на сложности крохотного уголка Древнего Леванта в VI в. до н. э Жизнь каждого общества постоянно меняется, и законы одного нельзя навязывать другому. Сложности нашего мира мало связаны с десятью заповедями, но мы упорно тащим на себе каменные скрижали, несмотря на то что само Священное Писание пренебрегает ими уже в следующей главе (Исх. 21:12—17; 20:13 и далее). Нынешняя концепция уголовного кодекса — не перечень непреложных заветов Бога, а рациональный, продуманный, развивающийся набор положений, разработанных людьми сообща — поскольку человеку свойственно ошибаться, — для того, чтобы решать логически обоснованные (и, следовательно, сиюминутные) общественные задачи. Понятно, что наши законы предписаны вовсе не свыше; известно также, что это относится к законам любого народа. Таким образом, мы знаем _ пусть и не всегда осмеливаемся открыто это говорить, — что притязания нашего духовенства на непререкаемость нравственного закона обоснованы не больше, чем заявления о правдивости церковной науки. Наконец, даже роль доверенного лица» дающего духовные советы, Церковь уступила сейчас ученым-психиатрам — до такой степени, что многие священники сами обращаются за помощью к психологам, чтобы научиться лучше исполнять обязанности пастырей. Вол-

шебство традиционных религиозных символов уже не в силах исцелить и вызывает только замешательство.

Подведем итоги: когда с лица североамериканских прерий внезапно исчезли бизоны, индейцы утратили не только центральный мифический символ, но и сам образ жизни, который этим символом олицетворялся. В нашем собственном прекрасном мире всеобщие религиозные символы тоже лишились власти и рассеялись, а вместе с ними исчез и прежний уклад жизни. И, подобно индейцам, которые ушли в себя, многие обитатели озадаченного западного мира пустились — чаще под руководством Востока — в потенциально очень опасное и нередко опрометчивое путешествие в глубины собственной души, чтобы отыскать в ней волнующие образы, которые не в силах уже предложить утративший веру общественный строй с его несообразно архаичными религиозными институтами.

Чтобы подтвердить это и описать некоторые проблемы противостояния Востока и Запада в религии, я позволю себе рассказать три истории из личного опыта.

Вот первая. В середине 50-х, когда доктор Мартин Бубер читал лекции в Нью-Йорке, я удостоился чести войти в узкий круг приглашенных на его выступления в крохотном зале. Этот человек небольшого росточка, наделенный, однако, неожиданно внушительным видом и тем таинственным свойством, что именуют ныне «харизмой», с поразительным ораторским мастерством прочитал там пять или шесть недельных циклов лекций. Английский язык был для него не родным, и это удваивало впечатление от его красноречия. Тем не менее уже к середине третьей лекции я постепенно сообразил, что совершенно не понимаю, какой смысл доктор вкладывает в одно слово. Его лекции были посвящены истории ветхозаветного избранного народа и ее связи с новейшими эпохами, а понятием, значение которого от меня ускользало, — слово «Бог». Порой так именовался воображаемый наделенный личностью творец бескрайней Вселенной, чьи просторы открыла перед нами наука. В других слу-

чаях речь шла явно о ветхозаветном Яхве на том или ином этапе развития представлений о нем. Наконец, бывали случаи, когда доктор Бубер, казалось, говорил о ком-то, с кем нередко беседовал лично; например, в разгар одной лекции он неожиданно умолк и, постояв немного в задумчивости, покачал затем головой и тихо пробормотал: «Как тяжело говорить о Боге в третьем лице!» Позже я рассказал об этом доктору Гершому Шолему, который сейчас тоже живет в Тель-Авиве, и тот, усмехнувшись, ответил довольно загадочно: «Да, иногда старик и вправду слишком далеко заходит».

Так вот, когда на лекции в очередной раз прозвучало слово-хамелеон, я нерешительно поднял руку. Выступающий замолчал и вежливо поинтересовался:

— Что-нибудь не так?

— Доктор Бубер, — начал я, — сегодня вечером вы очень часто покоряете слово, смысла которого я не понимаю.

—— Какое же?

— «Бог», — ответил я.

Его глаза расширились от удивления, голова подалась вперед:

—— Вы не знаете, что такое «Бог?»

—Я не понимаю, что вы понимаете под «Богом», _ пояснил я. — Вы вот сказали, что сейчас Бог спрятал свое лицо и уже не показывается человеку. Но я недавно побывал в Индии (чистая правда, я вернулся от-

тудаза год до того), и там присутствие Бога ощущают, похоже, постоянно.

Доктор откинулся назад и поднял обе руки ладонями вперед:

—Не собираетесь же вы сравнивать...

Тут в разговор поспешно вмешался Джейкоб Таубз:

— Доктор, я вас очень прошу! — Все присутствовавшие прекрасно поняли, что намеревался сказать лектор, а я только того и ждал. — Господин Кэмпбелл просто попросил вас объяснить, что вы подразумевает под словом «Бог», — продолжил доктор Таубз.

Бубер быстро собрался с мыслями и, обратившись ко мне, произнес тем тоном, каким обычно отмахиваются от неуместных пустяков:

— Каждый бежит из Пленения своим путем. С его точки зрения ответ был, вероятно, вполне исчерпывающим, а с моей — совершенно неправомерным, так как народы Востока вовсе непребывают в плену, вдалеке от своего бога. Божественная тайна — не «где-то там», а в тебе самом, внутри. Никто не оторван от Бога. Единственная трудность сводится к тому, что некоторые не знают, как заглянуть в свою душу, но никто в этом не виноват, кроме них самих. Ни никакого первородного греха, содеянного много тысяч лет назад, нет ни пленения, ни воссоединения. Проблема исключительно психологическая — и, самое главное, решаемая

Таков первый из трех моих рассказов. Второй случай произошел года три спустя, когда ко мне пришел незнакомый индиец. Молодой человек — работал он то ли делопроизводителем, то ли секретарем одного из представителей Индии в ООН — оказался очень набожным и поклонялся Вишну. Он читал труды Генриха Циммера, посвященные индийской фи-

лософии, религии и искусству, и хотел поговорить о них со мной, так как я был редактором этих книг. Но этим цели его посещения не ограничились.

— Знаете, — сказал он, справившись с первой неловкостью, — попадая в чужую страну, я всегда стараюсь познакомиться с местной религией. Я купил Библию и вот уже несколько месяцев читаю ее с самого начала, но, понимаете... — Он замялся, раздумывая, стоит ли продолжать» но потом решился: — Я не вижу там религии!

Достойное дополнение к невысказанным словам доктора Бубера, не правда ли? В том, что каждый из этих джентльменов считал настоящей религией, другой вообще не видел ничего примечательного.

Разумеется, я сам был воспитан на Библии, но, кроме того, изучал индуизм и потому предположил, что смогу чем-нибудь помочь своему новому знакомому.

— Охотно верю, — ответил я. — Если вы не понимаете, что чтение воображаемой истории еврейского народа считается здесь религиозным занятием, то, на мой взгляд, едва ли найдете религию в большинстве библейских книг.

Позже я подумал, что следовало, пожалуй, предложить ему перейти сразу к Псалмам, но затем, когда раскрыл Библию и попытался перечитать их с точки зрения индуиста, даже порадовался, что не дал такого совета: главным сюжетом каждой песни почти неизбежно оказывалась либо добродетель самого певца, оберегаемого Богом — который «истребит врагов» или «сокрушит зубы грешным», — либо сетования на то, что Господь не воздал еще своему верному слуге должной награды. Все это прямо противоположно тому, что приучают считать подлинно религиозным чувством праведного индуиста.

На Востоке сокровенную тайну божественного ищут за пределами человеческих категорий мышления и чувств, за гранью имен и форм — и уж точно вне таких идей, как личное великодушие или мстительность, превосходство одного народа над другими, вознаграждение молящегося и истребление тех, кто бога не чтит. С точки зрения индуиста, попытки приписать непостижимой загадке антропоморфные, человеческие чувства представляют собой религию для малых детей, поскольку главным признаком «зрелой» веры является постижение того, что сущность самого человека — тайна, превосходящая любые понятия, имена и формы, мысли и чувства. Это откровение и выражено в знаменитых словах, с которыми кроткий брамин Аруни обращается к своему сыну в «Чхан-догъя упанишаде» (ок. VIII в. до н. э.): «Ты — одно с Тем, дорогой мой Шветакету» — mam твам аси.

Речь идет не о том «ты», которое можно назвать, под которым нас знают и любят друзья, которое когда-то родилось и однажды умрет. Такое «ты» _ совсем не «То». Нети нети, «ни то, ни это». Лишь уничтожив в себе все, чем оно дорожит сейчас, бренное «ты» вплотную приблизится к порогу слияния с Бытием, которое есть одновременно не-бытие но все же остается Бытием за гранью не-бытия всего сущего. «Тем» где является также ничто на свете, что «ты» когда-либо познавало или назвало именем, о чем хотя бы задумывалось. «То» — не сонм божеств и не какой-либо Бог, чьим воплощениям поклоняются. Как сказано в «Бру. хадаранъяка упанишаде» (составлена примерно в одно время с «Чхандогья»):

И когда говорят: «Приноси жертву тому богу», «приноси жертву другому», то это лишь его творение, ибо он _ все боги. [...]

Он [Атман] проник сюда до кончиков ногтей, как нож в ножны, как огонь в пристанище огня. Его не видят, ибо он неполон. Дышащий, он зовется дыханием, говорящий — речью, видящий — глазом, слышащий — ухом, разумеющий — разумом. Это лишь имена его дел. Кто почитает

лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он неполон. Пусть почитают его как Атмана, ибо здесь все [его дела] становятся одним. Этот Атман — след всего сущего, ибо, поистине, как находят по следу [утерянное], так узнают по нему все сущее («Брихадараньяка упанишада», 1:4.6—7; ранее цит., Т. 1.)

Мне вспоминается яркое выступление японского дзэн-философа Д. Т. Судзуки, которое он начал с эффектного противопоставления восточного и западного восприятия загадок Бога, человека и природы. Говоря о библейском взгляде на положение человека после Грехопадения, он отметил: «Человек против Бога, Природа против Бога, Человек и Природа — друг против друга. Образ и подобие Бога (Человек), Божье творение (Природа) и Сам Бог — все три воюют между собой». Разъясняя затем восточные представления, он сказал: «Природа — лоно, откуда мы приходим и куда возвращаемся»; «Природа порождает Человека из самой себя, и Человек не может жить вне Природы»; «Я — в Природе, а Природа _ во мне». Бога, высшую Сущность, следует понимать, по его утверждению, как предшествующую всему сотворенному, «в ком не было когда-то ни Природы, ни Человека. Но стоит назвать его, как Бог перестает быть Богом. Возникают Человек и Природа — и мы снова в словесном лабиринте отвлеченных понятий».

Здесь, на Западе, мы назвали Бога — точнее, узнали его имя из книги, дошедшей до нас из чужих мест и времен. Нас приучили верить не только в абсолютное существование этого метафизического вымысла, но и в то что он оказывает влияние на нашу жизнь. На Востоке, напротив, основное внимание уделяют переживаниям — своим, а не чужим. Разнообразные учения указывают пути к безошибочному, все более углубленному и обостренному восприятию собственного тождества с тем, что понимается под «божественным»: сначала отождествление, а после — избавление и от него.

Слово «Будда» означает «проснувшийся, Пробужденный». Оно происходит от санскритского корня будх: «измерять глубину, дотягиваться до самого дна» и, кроме того, «воспринимать, постигать, приходить в себя, просыпаться». Будда — тот, кто пробудился и увидел в себе не тело, а познающего тело, не мышление, а наблюдателя за мышлением и собственным сознанием. Кроме того, он постиг, что его значимость определяется способностью излучать сознание, как ценность лампы — свечением. В электрической лампочке важна не нить накаливания и не стеклянный баллон, а сам свет; в каждом из нас важно не тело или нервная система, а озаряющее их сознание. И тот, кто постигает это и перестает трястись над стеклянной колбой, обретает сознание Будды.

Существуют ли такие учения на Западе? Ничего подобного нет ни в одной нашей религиозной доктрине. Согласно Священному Писанию, Господь создал мир и человека, но Бога и его тварей заведомо нельзя приравнивать друг к другу. Собственно говоря, проповедь равенства Бога и человека как раз и есть главная примета ереси. Иисус сказал: «Я и Отец — одно» (Иоан. 10:30) и был распят за богохульство, а девять веков спустя за те же идеи казнили исламского мистика Халладжа. Но именно к этому сводятся представления Востока о настоящей религиозности!

Чему же тогда учат наши западные религии? Явно не тому, как ощутить свое равенство Богу; это, напротив, страшная ересь. Западные религии объясняют, как установить и поддерживать должные взаимоотношения с названным Богом. Как же их установить? Только благодаря принадлежности к избранному сообществу, наделенному свыше уникальными правами. Ветхозаветный бог вступил в соглашение только с одной социальной группой, одним народом — иными словами, единственным, что свято на Земле. Как примкнуть к этой группе? Совсем недавно, 10 марта 1970 года, в Израиле законодательно подтвердили традиционный ответ: первейшим условием права на гражданство в этом мифовдохновенном государстве является рождение от матери-еврейки. Как достигается

сходная богоизбранность в христианстве? Благодаря вочеловечению Иисуса Христа, истинного Бога и истинного Человека (что на взгляд христианина, представляет собой поистине чудо, тогда как на Востоке настоящим Богочеловеком считается всякий, просто лишь немногие до конца сознают свое подлинное естество). С Христом нас роднит наша человечность, а его Божественность, в свою очередь, соединяет нас с Богом. Но как на деле вступают в такие взаимоотношения с единственным Богочеловеком? Путем крещения и, следовательно, духовного членства в его Церкви — опять же, благодаря принадлежности к особому социальному институту.

Наше знакомство с образами, архетипами, общеизвестными главными символами раскрывающихся загадок духа ограничивается декларациями этих двух самозваных социальных групп. Но сегодня многие их, слова опровергнуты историей, астрономией, биологией и прочими науками, причем все это знают. Неудивительно, что духовенство выглядит встревоженным, а паства смущенной!

И что теперь творится с нашими синагогами и церквами? Многие из церквей, как я замечаю, давно превратились в театры, другие — в лекционные залы, где по воскресеньям громогласно, с тем особым богословским тремоло, которое выдает Божью волю, преподают этику, политику и социологию. Почему священникам приходится падать так низко? Разве они уже не в силах исполнять свои подлинные обязанности?

Ответ, мне кажется, очевиден: конечно, могут — точнее, могли бы, если бы понимали, какой волшебной силой обладают имеющиеся в ИХ распоряжении символы. Прямые обязанности можно было бы выполнять, просто представляя эти символы правильным, аффективным, волнующим образом. Ведь главным в религии является обряд, ритуал и его символика, а где нет обряда, там слова остаются просто носителями понятий, часто не имеющих никакого смысла в современных условиях. Ритуал представляет собой упорядоченную систему мифологических символов.

Участие в драматическом обряде позволяет человеку непосредственно соприкоснуться с ними, увидеть в символике не рассказ о событиях исторического прошлого, настоящего или грядущего, а откровения происходящем здесь и сейчас, всегда и вечно. Главная ошибка синагог церквей — в стремлении разъяснить «смысл» символов; но ценность живого обряда заключается в том, что он вызывает у каждого свои мысли а догматы и определения лишь сбивают с толку. Вдалбливание рациональных доктрин вовсе не способствует религиозным размышлениям, но неизбежно им мешает, поскольку ощущение присутствия Бога рождается у человека только в развитии его собственного духовного начала. Какой прок в том, что твои представления о Боге — самой сокровенной и потаенной загадке жизни — описаны понятиями, которые были введены каким-то собором или святым отцом, скажем, в пятом веке? Созерцание распятия, аромат ладана, культовые одежды, звучание слаженного григорианского напева, невнятная перекличка молитв и ответствий, слышимые и беззвучные освящения — вот что по-настоящему действенно! Но как «волнующая значительность» такого рода чудес связана с догматами соборов? Разве мы улавливаем буквальный смысл таких, например, выражений, как «Oramuste, Domine, permeritaSanctorumtuorum». Захочется узнать их точное значение — вот он, перевод, здесь же, в молитвеннике. Но если рассеиваются волшебные чары обряда...

Теперь я намерен высказать несколько соображений. Начнем с индийской традиции, затем перейдем к японской, а после я хотел бы поговорить о том, какие наши чисто европейские нужды не может удовлетворить Восток.

Основополагающим текстом индуизма является, конечно же, «Бхагавад-гита», где описаны четыре главных пути йоги. Само слово йога происходит от санскритского корня юдж, означающего «укрощать, связывать одно с другим». Йога подразумевает соединение ума с его источником, сознания — с причиной сознания, и смысл этого определения лучше всего объясняется учением, которое называют йогой знания или, иначе,

йогой различения — в любом акте познания — познающего и Узнаваемого, субъекта и объекта, и последующего отождествления себя с познаваемым. «Я знаю свое тело. Мое тело — объект. Я — наблюдать, познающий этот объект. Следовательно, я — не мое тело». Затем: я – знаю мои мысли. Я — не мои мысли», «Я знаю мои чувства. Я — не Мои чувства» и так далее. Тут мимо проходит Будда и добавляет: «Ты Даже не наблюдатель. Наблюдателя нет». Что же остается? Где же, собственно, «я»? Этот подход именуется джняна-йога, путь истинного знания.

Второй путь называют раджа-йога — «царская», «высшая» йога Именно ее обычно имеют в виду, когда говорят просто о йоге. Этот путь можно описать как психологическую гимнастику с одновременным физическим и духовным развитием: поза лотоса, разнообразные виде медитации, глубокие вдохи и выдохи с определенной скоростью и ритмом — вдох через правую ноздрю, задержка, выдох через левую, задержка и так далее. Итогом становится подлинное психологическое преображение, а вершиной — восторженное переживание ярчайшего света сознания, освободившегося от всех условностей, ограничений, причини следствий.

Третий путь, именуемый бхакти — йога благочестия, — больше всего похож на то, что понимают на Западе под словами «религиозность» и «вера». Следуя этому пути, человек посвящает всю свою жизнь бескорыстному служению возлюбленной сущности, которая становится, таким образом, «избранным божеством». Индийский святой XIX века Рамакришна рассказывал очаровательную историю: однажды к нему явилась дама, взволнованная внезапным пониманием того, что на самом деле никогда по-настоящему не любила бога и поклонялась ему неискренне. «А вы вообще кого-нибудь любите?» — спросил ее Рамакришна, и женщина ответила, что любит своего маленького племянника. «Он Я есть ваш Кришна, ваш Возлюбленный, — сказал святой. — Заботясь о нем, вы служите Богу». Малыш и вправду был самим богом, ведь в одной из легенд говорится, что, когда Кришна родился в племени простых пастухов, он научил этот народ поклоняться не какому-то невидимому божеству на

небесах, а своим собственным коровам. «Вот кому нужно служить, так как через коров Бог несет вам благословение. Поклоняйтесь коровам». И пастухи украсили свой скот гирляндами и начали проводить в его честь обряды. Урок притчи ясен и даже в чем-то схож с поучением современного богослова Пауля Тиллиха, который провозгласил:

«Бог — главная наша забота».

Наконец, четвертым путем йоги является карма-йога, йога действия. Именно ей посвящена большая часть «Бхагавад-гиты». К разговору о ней читателя готовят сами обстоятельства знаменитого сюжета: поле битвы, где разворачивается легендарная война Сынов Индии, знаменующая закат ведо-арийской эпохи рыцарства, когда феодалы-аристократы всей страны истребили друг друга в кровавых сражениях. Центральное место на фоне зловещего пейзажа занимает юный царевич Арджуна, который, готовясь к важнейшему событию своей воинской карьеры, просит возничего — своего прославленный друга, юного бога Кришну.— Провести колесницу меж двумя рядами противостоящих армий. Глядя налево и направо, Арджуна видит по обе стороны множество родственников и друзей, благородных товарищей и отважных героев. Дрогнувшая рука царевича роняет лук, и, охваченный чувством вины и горя, он говорит богу-возничему:

При виде моих родных, пришедших для битвы, Кришна,

Подкашиваются мои ноги, во рту пересохло,

Дрожит мое тело, волосы дыбом встали. [...]

Их убивать не желаю, Мадхусудана, хоть и грозящих смертью,

Даже за власть над тремя мирами, не то что за блага земные.

Юный бог отвечает на это упреком, после чего начинает великое поучение:

Как у тебя в беде такое смятенье возникло?

Оно для арийца позорно. [...]

Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится;

О неотвратимом ты сокрушаться не должен. [...] Если же ты справедливого боя не примешь, Ты согрешишь, изменив своим долгу и чести. [...] Итак, на дело направь усилья, о плодах не заботясь, Да не будет плод дела твоим побужденьем, но и бездействию

не предавайся.

После суровых речей бог открывает Арджуне глаза, и тот с изумлением видит своего друга преобразившимся: лучезарным, как тысяча солнц, многоглавым, с тысячей лиц, горящих глаз, бряцающих оружием рук и усеянных клыками ртов. С обеих сторон в эти ужасные зубастые пасти вливались два несметных полчища гибнущих живых тварей, а чудовище слизывало их с губ. «Бог мой! Да кто же ты?» — восклицает Арджуна, и волосы у него становятся дыбом. И его друг, Владыка Мира отвечает так: «Я Время, продвигаясь миры разрушаю, для их погибели здесь возрастая; и без тебя погибнут все воины, стоящие друг против друга в обеих ратях. Поэтому — воспрянь, победи врагов, [...] ибо| раньше их поразил, ты будь лишь орудием, как воин [...] Богатырей, убитых Мною в сраженье, рази не колеблясь, сражайся, одолей соперников в битве!»

«Будь орудием» означает в Индии «без сомнений исполняй долг, предписанный твоей касте». Арджуна — воин, и его долг — сражаться. Однако у нас, на Западе, так уже никто не рассуждает, и потому восточная идея непогрешимости духовного наставника, гуру, не принесет нам

какой-либо реальной пользы. Она не сработает, просто не сможет пор действовать. По нашим представлениям, зрелая личность — вовсе не тот, кто без раздумий соглашается с требованиями и преходящими идеалами своей социальной группы, как поступают дети, которые обязаны во всем слушаться родителей. Нашим идеалом, напротив, является человек, который благодаря личным переживаниям, житейскому опыту и взвешенным суждениям (я имею в виду суждения, основанные имений на опыте, а не попугайское повторение отрывков из курса лекций по социологии, составленного для первокурсников старым профессоров Имярек в духе его собственной программы мироустройства) пришел к достаточно трезвым и продуманным взглядам на мир и превратился из покорного слуги непреложной власти в ответственную, самостоятельную и самоопределяющуюся личность. С этой точки зрения, на Запада| «долг» означает нечто совсем иное: не смиренное детское согласие со всем, что твердят власть имущие, а рассудительное, оценивающее и развивающееся эго — иными словами, способность к независимому наблюдению и обоснованным сомнениям, умение толковать окружающий мир и соизмерять свои силы с весом обстоятельств. Разумеется, поступки человека в этом случае соотносятся не с идеалами прошлого, а с возможностями настоящего. Но именно это на Востоке и запрещено!

Многие мои друзья полагают, что сегодняшним студентам нужен не преподаватель, а именно учитель восточного типа, гуру, который несёт ответственность за нравственность ученика. Верно и обратное: цели ученика должны совпадать с целями гуру, то есть ученику следует как можно больше походить на учителя. Однако, по моему мнению — и я высказывал его своим приятелям из академических кругов, — наши студенты лишены главного достоинства восточного ученика, а именно веры, шраддха, «безоговорочного доверия» к почитаемому гуру. С другой стоны мы-то стараемся развивать в учениках здоровый скептицизм и самостоятельные суждения — и это не так уж редко удается. По правде сказать, с нынешним поколением мы даже в чем-то перестарались, так что оно едва не с пеленок поучает собственных наставников. Не берусь да-

же угадать, что именно современная молодежь сможет перенять у Востока, к которому сейчас многие так тянутся. На мой взгляд, достаточно отметить, что это непременно будет как-то связано с мистическим погружением в себя — хотя бы и неглубоким. И если при этом молодежь не утратит связи с современными условиями жизни, следствием вполне могут стать многочисленные прорывы творческой мысли и жизненные свершения, новые явления в искусстве и литературе.

Эти размышления подводят нас к обещанной третьей истории о столкновении миров в сфере религии; на сей раз речь о том, как Восток превращает волшебство религии в искусство. Случилось это летом 1958 года, когда я приехал в Японию на Девятый Международный Конгресс по истории религий. Даже в этом необычайно пестром собрании явно выделялся один участник — знаменитый обществовед из Нью-Йорка, человек эрудированный, добродушный и обаятельный, но не очень-то подкованный в том, что касается как Востока, так и религии (честно говоря, я вообще не мог понять, как он там оказался). Вместе со всеми участниками он посетил ряд величавых синтоистских святынь и буддийских храмов, после чего начал задавать довольно показательные вопросы. В конгрессе участвовало много японцев, в том числе духовенство, и на большом пикнике на лоне природы наш друг направился прямиком к одному из священников-синтоистов. «Знаете, — заявил он. — Я видел уже много церемоний, посетил изрядное число храмов, но до сих пор не улавливаю идеологии. Я не понимаю вашего богословия».

Как известно, японцы не любят огорчать гостей. Благовоспитанный синтоист отнесся к серьезному вопросу иностранного ученого с видимым почтением, немного помолчал с задумчивым видом, а затем, покусывая губы, удрученно покачал головой и признался: «Думаю, у нас нет идеологии. Богословия у нас тоже нет. Мы просто танцуем».

На мой взгляд, это был важнейший урок всего конгресса. По существу, тот краткий разговор показал, что исконная для Японии религия син-

то с ее невероятно величественными, впечатляющими своей музыкальностью обрядами далека от каких-либо попыток свести «волнующие образы» к обычным словам. Символы — в обличье обрядов и произведений искусства — говорят сами за себя и обращаются к глазам внимающего сердца. Мне кажется, того же следовало бы добиваться и в наших религиозных обрядах. Спросите художника, в чем «смысл» его картины, и вы едва ли решитесь задать подобный вопрос когда-либо еще. Наглядные символы передают свои откровения без участия речи;

они лишены того смысла, какой вмещают слова. И если символы безмолвствуют, то только для того, кто еще не готов их воспринять, а слова в этом случае лишь позволяют ему мнить, будто он что-то понимает, и тем самым окончательно отгораживают от возможности постичь символику. Мы ведь не спрашиваем, в чем смысл танца, мы просто весело танцуем. Мы не спрашиваем, что означает окружающий нас мир, а просто получаем от него удовольствие. Мы не спрашиваем, в чем смысл нас самих, — просто радуемся тому, что мы есть (по крайней мере когда пребываем в добром здравии).

Но для того чтобы радоваться жизни, нужно не только хорошее самочувствие и расположение духа — ведь этот мир, как всем нам уже понятно, в высшей степени ужасен. «Жизнь есть страдание», — возвестил Будда; так оно и есть. Живое пожирает живое, и в этом вся сущность бытия, которое означает извечное становление. «Мир — неугасимое пламя», — сказал Будда, и это тоже правда. Именно это и приходится подтверждать... да! конечно, танцем! — исполненным понимания, торжественным, величавым танцем мистического блаженства, возносящим человека над той болью, что кроется в сердце любого мифического обряда.

В завершение я расскажу удивительную индийскую легенду из бесконечного изобилия мифических преданий о боге Шиве и его прекрасной жене Парвати, богине всего нашего мира. Однажды перед великим божеством предстал дерзкий демон, который только что сверг богов —-

правителей мира, а теперь явился к высочайшему среди них с ультиматумом: демон требовал, чтобы бог отдал ему свою супругу. Чем же ответил Шива? Он просто приоткрыл свой мистический третий глаз посреди лба и — бабах! — землю поразил удар молнии, и появился второй демон, еще сильнее первого. Порождение Шивы представляло собой гигантскую вытянутую тварь с львиной головой и раскинувшейся на все стороны света гривой; естеством же этого чудовища был неутолимый голод. Существо должно было сожрать наглого демона и, похоже, без труда справилось бы с этой задачей. Демон лихорадочно искал спасения, и вот ему в голову пришла счастливая мысль — сдаться на милость Шиве.

Есть известное богословское правило: если сдаешься на божью милость, бог не может отказать тебе в помощи. Теперь Шиве пришлось спасать и защищать демона от собственного создания; но в результате чудовищу нечем было утолить голод, и оно в отчаянии спросило Шиву:

«Кого же мне съесть?», на что бог ответил: «Почему бы тебе не сожрать самого себя?»

Сказано — сделано. Омерзительное создание принялось грызть собственные ноги и, продвигаясь вверх, проглотило затем живот, грудь и шею, пока не осталась только морда. Это зрелище привело в совершенное восхищение Шиву, так как явило собой идеальный образ чудовищности самой жизни, живущей за свой же счет. И тогда обрадованный Шива сказал солнцеподобной маске льва (а это было все, что осталось от алчной твари): «Я назову тебя Кирттимукха, Лицо Славы, и будешь ты блистать над входом в каждый мой храм. И кто не станет воздавать тебе почести, тому никогда не познать меня».

Урок очевиден: первым шагом к постижению высшего божественного символа чудесности и загадочности жизни является признание ее чудовищной сущности и в то же время величия, проявившихся в персонаже легенды. С этим можно только смириться: так уж заведено и ничего тут

не изменишь. Тем, кто уверен — а имя им легион, — будто прекрасно знают, какое мироустройство было бы лучше существующего и как бы оно выглядело, если бы Вселенную создавали они, — без боли, без горя, без времени, без жизни, — не видать просветления. Подобным образом многие предлагают: «Давайте сначала изменим общество, а потом уже каждый займется собой»; но и эти не смогут миновать даже самые первые врата божественной обители мира. Любой общественный строй эол, ужасен и несправедлив. Так было и будет всегда, и если хочешь по-настоящему помочь этому миру, научи нас жить в нем; но на это способен лишь тот, кто сам смирился с радостной скорбью и горьким счастьем знания жизни в том виде, какая она есть. Вот смысл чудовищного образа Кирттимукхи, «Лица Славы», украшающего вход в святыни бога йоги и его супруги — богини жизни. И эту божественную чету не постичь, не склонившись с должным почтением перед висящей над дверью маской, прежде чем скромно пройдешь внутрь.

VI. ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ИСКУССТВА (1958Г.)

В индийских пособиях по эстетике различают четыре классические темы, достойные художественного изображения. Это, во-первых, такие отвлеченные качества, как добро, истина и красота; во-вторых, деяния и настроения (умерщвление чудовищ или врагов, завоевание любви, состояния тоски, счастья и т. п.); в-третьих, типы людей (брамины и нищие, добрые и злые царевичи, купцы, прислуга, влюбленные, изгои, разбойники) и, наконец, божества — особо отметим, что все они абстрактны. Восток не проявляет интереса к личности как таковой и единичным, исключительным фактам или событиям. По этой причине величественная галерея восточного искусства состоит, главным образом, из многократных повторений испытанных временем сюжетов. При сравнении этого искусства с галактикой европейских художественных произведе-

ний эпохи Возрождения и последующих периодов в глаза прежде всего бросается практически полное отсутствие в восточных традициях портретов. Вспомним картины Рембрандта или Тициана: основное внимание Уделяется изображению того, что именуют характером, индивидуальностью, особенностью каждого человека — как его внешнего облика, так и души. Подобная озабоченность преходящими свойствами явно противоречит духу, пронизывающему все восточное искусство. Наше Уважение к личности как уникальному явлению, чьи особые свойства нужно не подавлять, а, напротив, развивать как своеобразие, какого никогда еще не было на свете и больше не будет, совершенно неприемлемо не только для искусства, но и для всего образа жизни Востока, где личность должна не изобретать и выдумывать что-то свое, а совершенствоваться в мастерстве воспроизведения изобразительного канона.

Соответственно, восточному художнику следует обращаться к проверенным сюжетам и избегать всего, что понимается под самовыражением. Изобилующие в жизнеописаниях западных мастеров рассказы об одиночестве и муках художника, который ищет собственный, особый язык, с помощью которого удастся передать свою личную весть, в анналах восточного искусства придется искать очень долго и, скорее всего, безуспешно. Такая самососредоточенность совершенно чужда восточному образу жизни, мысли и религиозности, нацеленному на подавление эго и любой привязанности к недолговечному «я», которое представляет собой лишь мимолетный сон.

Изъяном такого поощрения безликости стало возникновение необозримой панорамы академических стереотипов, но я не буду особенно углубляться в эту тему, поскольку хочу прежде всего обсудить те классические шедевры искусства, которые являют глазу смертного подлинные откровения о присутствии Бессмертного во всем, что нас окружает. Песня, которую слышит душа при чтении «Бхагавад-гиты», — звучание вечного, нерожденного и негибнущего духа, истинной жизни, восславляющей и пронизывающей своим светом призрачное существование всего

бренного, что появляется на свет лишь для того, чтобы затем умереть, — песнь всеобщая, и звучит она не только в индийском искусстве, но и во всем дальневосточном образе жизни. Именно эту мелодию мне хотелось бы сейчас подхватить.

Начнем с того, что индийское искусство — своеобразная йога, а его выдающиеся представители — опытные йоги. Они долгие годы ходят в учениках, послушно исполняют порученные задания, и лишь затем находят признание как настоящие мастера — скажем, получают заказ на воздвижение храма или создание священного образа. Прежде чем взяться за работу, художник медитирует, чтобы перед его внутренним взором предстал полный образ символического строения иди божества. По легендам именно так, мысленно, создавались целые города: святой монарх мог увидеть в пророческом сне окончательные очертания еще не построенных храмов и целого города. Порой мне кажется, что именно поэтому многие восточные города и сегодня вызывают такое ощущение, будто идешь в сновидении: все вокруг кажется сказочным, потому что задумано было во сне и лишь затем воплощено в камне.

Искусный художник, которому предстоит создать образ божества — предположим, Вишну, _ сначала изучит все относящиеся к делу тексты, чтобы закрепить в памяти канонические знаки, позы, пропорции и прочие приметы бога. Затем он усядется и начнет мысленно повторять корневой слог имени божества — и, если повезет, в свой срок перед его внутренним взором возникнет облик, который и предстоит воссоздать наяву, образец будущего произведения искусства. Величайшие творения периодов расцвета Индии являются, по существу, откровениями, и для того, чтобы оценить их должным образом — не как ниспосланные свыше некими сверхъестественными существами, а вызванные дремлющей в самом человеке силой природы, для высвобождения которой просто надо ее осознать, — достаточно обратиться к превосходному в психологическом отношении учебнику «Шатчакра-нирупанам» — «Описание шести

центров раскрывающейся в человеческом теле силы Змеи», которую еще шестьдесят лет назад блестяще перевел сэр Джон Вудроф.

В этом фундаментальном труде раскрывается основное положение кундалини-йоги: в теле человека есть шесть и еще один — в сумме семь — психических центров, расположенных вдоль позвоночника от его основания до темени; благодаря йоге эти центры, именуемые «лотосами» (падма) или «колесами» (чакра), можно последовательно привести в действие и добиться тем самым высших уровней духовного сознания и блаженства. В обычном состоянии центры малоактивны, но прикосновение духовной силы под названием кундалини, восходящей по мистическому каналу в позвоночнике, воспламеняет чакру, пробуждает ее к жизни. Санскритское слово кундалини, «свернувшаяся кольцами», представляет собой существительное женского рода и передает образ змеи, изначально спящей в самом нижнем из семи центров. В восточных мифологиях змея обычно олицетворяет силу жизни, которая отвергает смерть, словно сбрасывает кожу, и, можно сказать, рождается заново. В Индии эта сила относится к женскому — формирующему, живительному, жизнеутверждающему — началу, одушевляющему Вселенную и все живое. Когда змея дремлет в нижнем центре, остальные шесть чакр остаются бездеятельными. Таким образом, цель кундалини-йоги заключается в том, чтобы пробудить змею, заставить ее поднять голову и взойти По мистическому позвоночному каналу (он носит название сутумна — «богатый удовольствиями»), поочередно пронзая по пути этого волнующего подъема другие лотосы. Сидящий со скрещенными ногами и прямой спиной йог удерживает в голове определенные мысли и произносит мистические слоги. На первом этапе он следит за правильным ритмом дыхания — глубокие вдохи, выдохи и задержки между ними должны иметь точную продолжительность; дышать следует попеременно разными ноздрями и так далее. Благодаря упражнениям его тело наполняется пряной — «духом, дыханием» жизни — и свернувшаяся кольцами змея пробуждается.

Когда змея спит в первом лотосе, характерной чертой личности является духовное безразличие. Ее мир — оцепенелая сфера бодрствующего сознания, но человек жадно тянется к этому бездушному существованию и не желает с ним расставаться. Когда речь заходит об этом, я всегда вспоминаю легенды о привычке драконов прятать в своих логовах несметные богатства и бдительно их охранять. В роли сокровищ чаще всего выступают юные красавицы и золото. Пользы от них дракону, разумеется, никакой, но он все равно жадно их бережет. В миру таких людей называют скупердяями — и, бог свидетель, как же их много! Первый лотос — с четырьмя темно-красными лепестками — носит название муладхара, «корневое основание»; ему соответствует стихия земли, а расположен он между гениталиями и анусом.

Второй центр находится на уровне половых органов, и потому каждый, чьи энергии поднялись до этого уровня, представляет собой идеал фрейдовской психологии: для такого человека все так или иначе связано с сексом — как и для самого Фрейда, убежденного в том, что это единственный смысл человеческого существования. Впрочем, у нас и сейчас сохранилась крупная школа мыслителей (сами они мнят себя философами), которые оценивают всю историю человека, его сознания и искусства исключительно с точки зрения половой жизни _ подавленной, несостоявшейся, сублимированной или благополучной. Указанный центр носит название свадхиштхана, «ее любимое пристанище»; у него шесть алых лепестков и связан он со стихией воды.

Третий лотос расположен на уровне пупка. Его название, манипура, означает «город сверкающих драгоценностей». У лотоса десять лепестков цвета грозовых туч, а соответствует ему стихия огня. Когда сила змея задерживается в этом центре, человека охватывает желание поглощать, покорять, превращать все в свое подобие и навязывать другим свои взгляды. Его психология, определяемая ненасытной жаждой власти, относится к адлеровскому типу. Таким образом, можно сказать, что Фрейд, Адлер и их последователи толковали феноменологию духа ис-

ключительно в понятиях второй и третьей чакры — и одного этого достаточно, чтобы понять, почему им не удалось заметить более интересные мифологические символы и устремления человека.

Дело в том, что подлинно человеческие — в противоположность сублимированным животным — цели и побуждения активизируются и становятся заметными только на уровне четвертой чакры. По индийским представлениям, религиозные символы, художественные образы и философские проблемы воспринимаются по-настоящему именно начиная с этого центра, расположенного на уровне сердца. Его стихия — воздух; у него двенадцать лепестков оранжево-малиновой окраски (как у цветка бандхука — PentapoetesPhoenicea). Что касается названия, то оно очень любопытное: анахата — «без удара» — означает в развернутом виде «звучание, которое не вызвано столкновением двух вещей». Все звуки, возникающие в мире пространства и времени, рождаются соприкосновением пары предметов: например, моя речь вызвана ударами потока воздуха по голосовым связкам. То же относится и ко всем прочим звукам — это стук от удара двух видимых или незримых предметов друг о друга. Но какой же звук может рождаться иным путем?

Ответ такой: звучание изначальной энергии, чьим выражением является сама Вселенная. Этот звук предшествует появлению всего сущего. Быть может, он чем-то напоминает гудение проводов линии электропередачи или неслышное жужжание протонов и нейтронов в атоме; иными словами, это внутреннее звучание вибрирующей первичной энергии, видимые проявления которой — мы сами и все вокруг. В текстах также говорится, что звук этот больше всего напоминает «ОМ».

Считается, что этот священный для индийцев слог молитвы и медитации состоит из четырех символических частей. Поскольку в санскрите звук «о» считается слиянием «а» и «у», священный слог можно записывать и произносить как «АУМ», и в этой форме явно заметны три из четырех частей. Четвертой составляющей является Безмолвие, окружаю-

щее сам слог, потому что тишина, где он зарождается и после растворяется, представляет собой опору его звучания.

Когда произносишь этот слог, легко заметить, что начальное «а» возникает в глубине рта. При переходе к «у» звучащий воздух заполняет bc& полость, а «м» рождается на кончиках губ. Говорят, что при правильной, произношении священный слог содержит все гласные звуки речи. Поскольку согласные представляют собой не что иное, как прерывание гласных, слог «АУМ» вмещает в себя — опять же, при правильном произношении — семена всех слов, в том числе названий всех вещей и отношений между ними.

В одной из чрезвычайно интересных и важных упанишад, «Мандукъя», четыре символические части священного слога — тишина и звуки «а», «у», «м» — аллегорически толкуются как указания на четыре уровня, ступени или вида сознания. Звук «а», исходящий из глубины рта, символизирует бодрствующее сознание; на этом уровне субъект и объект познания воспринимаются как независящие друг от друга. Предметы соответствующей сферы бытия состоят из грубой материи; они не обладают собственным свечением и меняют свой облик медленно. Тут господствует аристотелева логика: А равнозначно отрицанию не-А. Основному складу мышления этого уровня соответствуют механистические науки, позитивистские рассуждения, а цели жизни определяются свойствами первой, второй и третьей чакры.

Следующую составляющую — звук «у», раздающийся, когда воздушная масса, так сказать, заполняет всю голову, — упанишады связывают с сознанием сновидения, где субъект и объект, спящий и сам со» лишь кажутся разделенными, но в действительности неразрывно связаны, ведь картины сновидения порождены волей спящего. Кроме того, они сотканы из тонкой, быстро меняющейся и обладающей самостоятельным свечением материи и совпадают естеством с божествами — я это закономерно, так как все боги и демоны, небеса и преисподние, являются, по

существу, космическими двойниками персонажей снов. Больше того, поскольку на этом тонком плане существования наблюдающий и наблюдаемое представляют собой одно, то все боги и демоны, рай и ад кроются внутри нас — это мы сами. Хочешь найти образец изображения божества? Загляни в глубины собственной души. Таким образом, восточное искусство выражает восприятие именно этого уровня сознания.

Третья часть слога, звук «м», издаваемый сомкнутыми губами, уподобляется в «Мандукъя-упанишаде» глубокому сну без сновидений. Нет уже ни объекта, ни наблюдающего субъекта, есть лишь несознаваемое — точнее, дремлющее, потенциальное, единообразное и окутанное тьмой сознание. Мифологически это состояние приравнивается к бытию Вселенной в промежутке между великими циклами, когда все погружается в космическую ночь, чрево вселенской матери — «хаос», как выразились бы греки. Говоря языком «Книги Бытия», «земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Нет сознания объекта ни наяву, ни во сне — только затерянное во мраке неизменное сознание в его незапятнанном, девственном виде.

Конечной целью Йоги, следовательно, может быть только проникновение в эту область в пробужденном состоянии. Иными словами, йог стремится «слить», «соединить» (санскритский корень юдж, отсюда и само слово «йога») бодрствующее сознание с его источником, сознанием как таковым, которое не сосредоточено на каком-либо объекте и не ограничено никаким субъектом из мира бодрствования или сновидений, — сознанием чистым, неопределенным и ничем не скованным. Поскольку все слова языка указывают либо на явления, либо на связанные с ними идеи и мысли, восприятие этого, четвертого состояния невозможно описать словами. Даже такие понятия, как «тишина» или «пустота», постигаются только при сопоставлении со звучанием и наличием, то есть как отсутствие звуков или вещей. Однако в данном случае речь идет об изначальной Тишине, предшествовавшей зарождению первого звучания и вмещающей звук как потенциальную возможность, и о предвечной Пус-

тоте, которая была раньше всех вещей и содержала в себе зародыши всего пространства, времени и космических галактик. Нет слов, способных выразить то, о чем говорит Безмолвие, окутывающее нас извне и царящее внутри, — Тишина, которая вовсе не тишина и которая слышна сквозь все явления, будь то наяву, в сновидении или глубоком сне. Именно эта Тишина окружает, покрывает и поддерживает слог «АУМ».

Прислушайтесь к городскому шуму, голосу соседа или крикам диких гусей в небе. Вслушайтесь в любой звук и обычную тишину, но не ищите им толкования, и тогда анахата почувствует Пустоту, откуда явилось все сущее, саму опору бытия — Безмолвие и Слог. И когда «услышишь» этот беззвучный голос, когда ощутишь его как звучание и бытие собственного сердца и всей своей жизни, воцарится полный покой: нечего больше искать, потому что всё — здесь, и там, и повсюду. Высшая задач» восточного искусства — подтвердить, что это правда. Наш, западный поэт Герхарт Гауптман сказал, что задача настоящей поэзии в том, «чтобы заставить Слово зазвучать вне слов». Ту же мысль выражал в богословских понятиях мистик Мейстер Экхарт, говоривший своим прихожанам: «В Господе любая букашка благороднее высочайшего ангела, ее ли тот сам по себе. В Господе все становится одним — самим Богом»Так, вкратце, можно описать переживания на уровне анахаты, четвертой чакры, где вещи уже не скрывают истину и ощущается чудо, увиденное Блейком, который после написал: «Если б врата познания были открыты, людям открылась бы бесконечность».

Но что же тогда можно сказать о пятой чакре.

Она расположена на уровне гортани и носит название вишуддха, «очищение». У этого лотоса шестнадцать пепельно-лиловых лепестков, а стихия его — эфир, пространство. Достигнув этого центра, йог оставляет позади искусство, религию, философию и само мышление. Подобно тому как в христианском Чистилище душа избавляется от последних привязанностей к земному и готовится переживать блаженное созерцание Бо-

га, в этом индийском средоточии очищения устраняются все мирские помехи, отделяющие человека от звучания «АУМ», — либо, если пользоваться зрительными сравнениями, от видения Божественности. Идеалы этого этапа связаны не с искусством и светской жизнью, а с кельей или скитом отшельника, — аскеза взамен эстетизма.

Когда же достигается, наконец, шестой центр, мистическое внутреннее око и ухо раскрываются до конца, и человек во всей полноте воспринимает зрелище и звучание Бога, чей вид есть Облик всех обликов, чье сияние звучит как музыка. Название шестого лотоса — аджня — означает «власть, господство». У него два ослепительно белых лепестка; его стихия — разум, а находится он, как известно, чуть выше бровей, посреди лба. Человек попадает на Небеса, и душа его созерцает самый совершенный объект — Бога.

Остается, тем не менее, еще одна, последняя преграда: как объяснил однажды своим ученикам великий индийский святой и учитель Рамакришна, когда искусный йог созерцает своего Возлюбленного, между ним и тем, в ком йог хотел бы познать последнее исчезновение, все еще высятся незримая стеклянная стена. Ибо окончательная цель — не блаженство, обретаемое на шестом уровне, а целостное, недвойственное состояние вне всяких категорий, без созерцания, без каких-либо чувств, мыслей и ощущений; его и приносит седьмой, высший лотос на темени — сахасрара, что означает «с тысячей лепестков».

Уберем же стеклянную стену. Вместе с ней исчезают оба — душа и ее бог, внутренний взор и созерцаемое. Теперь нет ни объекта, ни субъекта, ничего, что познается и чему можно дать имя, _ только Безмолвие, четвертая и последняя основная составляющая прозвучавшего, но более не слышного слога «АУМ».

Разумеется, исчезает и искусство — даже индийское. Я бы сказал, что произведения этого искусства призваны передавать переживания, сход-

ные с теми, что соответствуют четвертому, пятому и шестому центрам-лотосам: на четвертом уровне объекты и живые существа предстают как они есть, — или, повторяя слова Экхарта, «в Боге»; на пятом уровне проявляются пугающие, опустошающие грани космических сил в роли губителей эго, и предстают они под личинами яростных, чудовищных, омерзительных демонов; наконец, на шестом уровне открывается их благодатный, чудотворный, мирный, героический, дарующий блаженство и избавляющий от страха облик. В этих поистине утонченных, пророческих шедеврах извечно просматриваются либо существа под маской вечности, либо мифические олицетворения тех сторон вечности, что доступны человеку.

Таким образом, в восточном искусстве очень редко проявляется эмпирическая, повседневная действительность — мир, как мы воспринимаем его обычным зрением. Главный интерес для этого искусства представляет далекое: боги и мифологические сюжеты. И когда приближаешься к индийскому храму любого периода и стиля, возникает Удивительное ощущение: сооружение кажется не то выросшим из-под земли, не то спустившимся с высей. Храм был то ли частью подземного Пейзажа и вырвался на поверхность вследствие извержения, то ли мягко приземлившейся колесницей или волшебным дворцом какого-то небесного божества, — полная противоположность, например, уютным, родным и земным храмовым садикам Дальнего Востока. Поистине, входя в один из многочисленных и дивных пещерных храмов Индии, высеченных в отвесных скалистых стенах руками настоящих кудесников, не просто оставляешь позади мир обыденных переживаний и словно переносишься в подземелье гномов, но и теряешь привычное ощущение реальности, причем новые чувства кажутся более правдивыми, достоверными и, как ни странно, близкими твоей душе, чем давно знакомые откровения залитого солнцем мира, оставшегося там, за спиной. Можно сказать, что индийское искусство стремится подняться выше обычного, зрительного восприятия жизни; оно пытается открыть третий глаз в межбровье, лотос

власти, разбудить зрителя и показать ему похожий на сон мир застывших в камне небес и преисподних.

Искусство другого Востока — Китая, Кореи и Японии — совсем иное. Конечно, распространенный в этих странах буддизм родился в Индии и пришел в Китай в первом веке нашей эры, а в Японию и Корею еще позже, в шестом столетии. Вместе с буддизмом на эти земли перекочевало удивительное индийское искусство, изображающее силы Небес и Преисподних за пределами нашего мира. Однако естественные наклонности дальневосточного мышления приземленнее, прозаичнее индийских; его больше волнуют зрительные, преходящие и практические стороны бытия. Как подчеркивал во многих своих трудах по истории буддизма выдающийся японский философ Д. Судзуки, буйство индийского воображения, ослепительный блеск его поэтических взлетов, пренебрежение ходом времени и легкое порхание среди измеряемых только бесконечными категориями сфер и эонов, — все это совершенно не похоже на склад ума, присущий, в частности, китайцам, где обычным мерилом безбрежности Вселенной был всего-то «мир десяти тысяч вещей». Такого числа вполне достаточно для взора и мысли, сосредоточенных скорее на времени, чем на вечности: времени в его историческом течении и пространстве в земных масштабах, не выходящих за обозримые горизонты. Таким образом, даже в буддийском искусстве Дальнего Востока заметно, в целом, смещение интересов с уровня шестой чакры до четвертого лотоса — от луноподобного центра с двумя лепестками, где контуры вещей уже не заслоняют божественное, до богатейшего сада этой прекрасной Земли, где именно своеобразие любого предмета, пребывающего на своем месте, позволяет различить в нем божественное — ведь, как мне доводилось слышать, «даже в едином волоске кроется тысяча золотых львов».

В соответствии с этим, в дальневосточном искусстве можно выделить два достаточно разных направления. Одно представлено буддийской иконографией, сберегающей дух индийского мечтательного воодушевления, пусть и низведенного до уровня четвертой чакры. Другое направле-

ние наиболее заметно выражено в непревзойденной японо-китайской пейзажной живописи. Эти работы выполнены в совершенно ином стиле и олицетворяют исконную дальневосточную философию Дао. Это китайское слово переводится обычно как «Путь» или «Путь Природы»: всё появляется на свет из мрака, а затем вновь уходит во тьму. Два начала — свет и тьма — пребывают в постоянном взаимодействии, и весь мир «десяти тысяч вещей» состоит из многообразных сочетаний и видоизменений этой пары.

В этой философской системе свет и тьма именуются ян и инь, — соответственно, «освещенный» и «затененный» берега ручья. На солнечной стороне светло, тепло и сухо; в тени прохладно и влажно. Темное, холодное и мокрое против яркого, жаркого и сухого — вот оно, противостояние Земли и Солнца. Кроме того, эта пара связана с женским и мужским, пассивным и активным началами. Такое деление не влечет, однако, никаких моральных выводов: один принцип ничуть не «лучше» и не «сильнее» другого. Это в равной мере могущественные и основополагающие начала, на которых покоится все мироздание. В своем взаимодействии эти начала пронизывают, порождают и разрушают все сущее.

Обозревая, скажем, природный пейзаж — горы, водопады и пруды, — мы видим только свет и тень; куда ни глянь, всюду царят лишь чернобелые тона, разнообразные сочетания света и тьмы. Следовательно, изображая эту картину, художник может просто накладывать кистью черное на белое, мрак на свет. По существу, в этом и заключается первый принцип обучения живописи: как черным и белым изображать вещи, которые не только по облику, но и по сущности сотканы из света и тьмы, ян и инь. При этом внешняя форма становится проявлением внутреннего содержания. Итак, кисть художника выводит оттенки первичных свойств, лежащих в основе всех вещей, а произведение искусства раскрывает и помогает понять сущность этого мира, опирающегося на бесконечное многообразие переплетений инь и ян. Удовольствие от созерцания этого взаимопроникновения объясняется тем, что нам не хочется разрушать

стены мира и вырываться наружу, — достаточно оставаться здесь, внутри, и играть свою роль в бесконечном и неутомимо меняющемся разнообразии этой всемогущей пары.

Взор китайского и японского художника сосредоточен на окружающем мире. Хочешь нарисовать бамбук? Погрузись в ритм инь и ян бамбука, познай бамбук, стань им, гляди на него, ощути его, даже попробуй на вкус. В Китае и Японии придерживаются шести канонов, классических принципов живописи, и первый из них — ритм. Рисуя бамбук, нужно ощутить ритм бамбука, глядя на птицу — ритм ее жизни, ходьбы, полета и парения. Для того чтобы нарисовать предмет, необходимо сперва познать и ощутить его внутреннее биение. Итак, ритм является первым законом, без которого искусство невозможно.

Второй закон — органичная форма. Линия, например, должна быть изящной, непрерывной, живой, то есть органичной в себе, а не просто подражать чему-то настоящему. Разумеется, в то же время она должна подчиняться ритму изображаемого предмета.

Третий закон — верность природе. Взор художника не должен отвлекаться от предмета. Он рисует реальную природу, хотя это не значит, конечно, что нужна фотографическая точность. Художник должен быть верен прежде всего ритму жизни предмета: если он изображает птицу, на картине должна быть именно птица, а если она сидит на бамбуке, то нужно учесть и природу бамбука.

Четвертый закон — цвет, что подразумевает все таинственное богатство света и тени, белизны и черноты, олицетворяющих сущность подвижности и бездеятельности.

Пятый закон — между прочим, я заметил, что он на редкость ярко проявляется в современной японской фотографии, — размещение предмета в пространстве. В Японии существует, например, особый род поло-

тен, именуемых «уголком»: сравнительно небольшой по величине предмет размещают на краю огромной пустоты (скажем, рыбачья лодка в тумане) так продуманно, что картина буквально оживает и вызывает сильнейшее впечатление.

Наконец, последний, шестой закон — выбор стиля и всего, что его составляет: нажим, размах, толщина мазков и прочее должны гармонировать с ритмом изображаемого.

Для того чтобы практически познать объект, художник, главным образом, созерцает его; а созерцание — действие ненасильственное. Глазам не прикажешь: «Пойди и сделай что-нибудь вон с той штукой». Ты смотришь, смотришь долго, а мир живет своей жизнью. У китайцев есть важное понятие — у-вэй, «недеяние», но означает оно не безделье, а отсутствие усилий, когда все идет своим чередом, в согласии со своей природой. И, подобно тому, как медитирующему индийцу сам собой может явиться бог, так мир по собственному почину раскрывает свою глубинную сущность перед взором китайца или японца. «Люди ищут Дао вдалеке, а оно рядом», — сказал китайский философ Мэн-цзы. Идея Вселенной, обретающей внешний облик самопроизвольно, является одной из неотъемлемых особенностей даосского мировоззрения; столь же самопроизвольна природа самого художника и, следовательно, его кисти, передающей черным по белому Дао всего сущего.

В китайском языке есть два разных слова для понятия «закон»: ли и цзэ; Джозеф Нидхем разъяснил их значения во втором томе своего труда «Наука и цивилизация Китая». Предполагают, что слово ли некогда обозначало естественные зерна и прожилки на кусочках нефрита, а позже так начали называть всякую естественную крупицу жизни вообще; второе слово, цзэ, указывало, напротив, на рукотворные отметины резца. Впоследствии под цзэ стали понимать общественные, учрежденные человеком законы — в противоположность естественным: правила, созданные разумом, в отличие от непреложного устройства природы. Цель ис-

кусства заключается именно в том, чтобы постигать и передавать естественное, то есть законы природы и принципы ее деятельности. Однако, познавая их, художник не вправе навязывать природе свои намерения, и потому искусство превращается в чуткое согласование представлений художника о природе, его творческого замысла и плана предстоящей работы с реальным мироустройством; так достигается точная соразмерность труда и недеяния, ведущая к рождению шедевра.

Принцип творчества путем недеяния пронизывает все направления жизни Дальнего Востока, связанные с активной деятельностью. Во время моего последнего посещения Японии в Токио проходил чемпионат по борьбе сумо. Сумо, как известно, это поединок двух толстых и рослых парней. Они и вправду здоровенные; какой-то остряк сказал, что сумо — ярчайшее свидетельство закона «выживают жирнейшие». Большая часть схватки заключается в том, что два борца неподвижно сидят на корточках и оценивающе глядят друг на друга: посидят чуток, отойдут в коронку, возьмут горсть соли, аккуратно посыплют перед собой пол и снова застынут. Так повторяется несколько раз, и толпа японцев вопит от восторга, наслаждаясь единственным мигом, когда эти двое внезапно бросаются друг на друга и один из них — бабах! — уже прижат к ковру. Вот и все, бой закончен. Почему же борцы на несколько раундов замирают в неподвижной позе готовности? Оба оценивают друг друга и ищут в собственной бездеятельности тот центр, где зарождается любое действие, устанавливают равновесие между активностью и пассивностью, своеобразный паритет инь и ян — и проигрывает тот, кто не успевает это сделать.

Мне рассказывали, что в старину, когда юноша-японец учился обращению с мечом, наставник какое-то время почти не обращал на него внимания: ученик просто прибирал в школе, мыл посуду — в общем, возился по хозяйству. Время от времени наставник внезапно появлялся рядом и наносил ученику удар палкой. Вскоре юноша уже был готов к неожиданностям, но от этого тоже было мало проку: когда он ждал уда-

ра из-за угла, учитель заходил со спины, а то и вовсе возникал будто из-под земли. В конце концов сбитый с толку ученик начинал понимать, что нет смысла угадывать, с какой стороны ударят; попытки предвидеть, откуда надвигается угроза, только мешают увернуться от внезапного нападения, так как обычно отвлекают внимание в ложном направлении. Единственной действенной защитой, таким образом, остается неизменная уравновешенность, когда внимание не обращено ни в какую конкретную сторону; от нападения спасает только постоянная бдительность и мгновенная реакция.

Есть прелестная история о том, как один такой наставник сказал своим ученикам, что поклонится любому из них, кто застанет его врасплох. Шли дни, и никому это не удавалось: учитель все время был начеку. Но однажды, вернувшись после прогулки по саду, наставник потребовал принести ему воды, чтобы вымыть ноги. Вода, поданная десятилетним учеником, оказалась холодной, и наставник велел подогреть ее. Парнишка вернулся с кипятком; учитель без раздумий сунул ноги в таз, вскрикнул — и почтительно опустился на колени перед самым младшим учеником школы.

Невнимательность, отсутствие настороженности и осмотрительности приводят к тому, что человек не сознает текущий миг жизни, тогда как все искусство действенного недеяния, у-вэй, сводится к неослабной бдительности, полному сознанию происходящего. И тогда жизнь, представляющая собой выражение сознания, течет, можно сказать, как есть — нет нужды задавать ей особое направление. Она идет своим чередом, живет своей жизнью, говорит и действует сама собой.

По этой причине в восточном мире — Индии, Китае, Японии — идеальное искусство никогда не превращалось в оторванное от жизни занятие, ограниченное, как заведено у нас, студией скульптора, живописца, танцора, композитора или актера. Древневосточное искусство — искусство жизни. Говоря словами покойного доктора А. К. Кумарасвами, кото-

рый около тридцати лет проработал хранителем Бостонского музея изящных искусств, «в древнем мире художники вовсе не были своеобразной категорией людей; напротив, каждый человек был своеобразным художником». Для всякого, кто жил и трудился, как и в любом ремесле, главной задачей и высшей целью было совершенство в своем деле — и это, пожалуй, полная противоположность идеалам современных профсоюзов, где самое важное — сколько за работу заплатят и как быстро ее удастся закончить. «Зрелому рабочему должно быть стыдно, — писал Кумарасвами в одной из статей на эту тему, — если результат его труда не дотягивает до уровня шедевра». А я могу добавить, что за долгие годы изучения произведений искусства древних народов — Египта и Месопотамии, Греции и Востока — у меня часто возникало впечатление, что создатели этих невероятных шедевров были, должно быть, эльфами или ангелами — уж во всяком случае, совсем не такими, как мы. С другой стороны, мне кажется, что, если бы мы овладели сегодня умением удерживать сосредоточенное внимание от перекура до перекура, нам тоже удалось бы открыть в себе силы, таланты и мастерство под стать ангельским.

Как я уже упоминал, если индийское мышление и искусство склонны улетать воображением прочь от этого мира десяти тысяч вещей, то китайские художники следуют Дао, остаются верными природе и добиваются созвучия с ее чудесами. Старинные тексты утверждают, что древнекитайские даосские мудрецы тоже любили холмы и ручьи. Они чаще всего покидали города и уединялись в пустынной местности, где могли пребывать в гармонии с природой. В Японии, однако, это невозможно:

там повсюду столько людей, что остаться наедине с природой — по крайней мере надолго — совершенно невозможно. Вскарабкайся на вершину самой неприступной скалы — а там уже в самом разгаре праздничный пикник. В Японии от людей и общества не скроешься. Хотя идеограммы, обозначающие «свободу» (японское дзию, китайское цзу-юй), внешне одинаковы, китайский знак подразумевает освобождение от свя-

зей с людьми, а японский — уступчивость обществу, которая выражается добровольной социальной деятельностью. С одной стороны — свобода вне общества и собирание грибов в затянутых туманом горах под бескрайним сводом небес, где никто тебя не найдет; с другой — свобода в рамках непреодолимых оков мира и общества, где ты родился, вырос и живешь. Тем не менее даже в этой тесноте можно ощутить «свободу», если достиг полного и добровольного согласия с окружающим миром. В конце концов, сердце человека живет одной жизнью, будь то на вершине утеса или в перенаселенном городе.

В японском языке есть очень любопытное понятие, обозначающее особый оборот вежливой, благородной речи, — так называемый «язык игры», асёбасэ котоба. Вместо того чтобы сказать, например: «Я вижу, вы приехали в Токио», то же замечание можно выразить иначе: «Я вижу, вы делаете вид, будто приехали в Токио». Основная идея заключается в том, что человек, к которому обращена фраза, настолько властен над своей жизнью, что для него все превращается в игру, забаву. Он погружается в жизнь, как в игру, где все дается легко, словно само собою. Доходит до того, что вместо: «Я слышал, ваш отец скончался» человеку могут сказать: «Я слышал, ваш отец сделал вид, будто умер». Должен признать, что это действительно благородный и величественный подход к жизни: даже неизбежное воспринимается так, словно «разыгрывается» по воле человека. Именно это Ницше называл Amorfati — той любовью к собственной судьбе, о которой римлянин Сенека сказал: Ducuntvolentemfata, nolentemtrahunt — «Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит».

Обязаны ли мы покоряться предназначению? В этом кроется смысл мучительного гамлетовского вопроса. Окончательная сущность жизненных переживаний заключается в неразлучном переплетении боли и наслаждения, горя и радости. Воля к жизни, что некогда произвела нас на свет, означает в то же время и готовность страдать, иначе мы просто не рождались бы. Эта мысль и лежит в основе восточного учения о перево-

площениях: раз уж ты родился в этом мире здесь и сейчас, с предопределенной судьбой, то, значит, именно это и требовалось на самом деле для твоего окончательного просветления. Ты есть — вот оно, осуществление великого чуда; это, конечно, не тот «ты», кем сам себя теперь считаешь, а «Ты», которое было еще до твоего рождения, которое заставляет твое сердце биться, легкие дышать, и вообще поддерживает все сложные внутренние процессы, именуемые в целом жизнью. Так не теряй мужества! Пройди этот путь, играя свою игру на всем его протяжении!

Всякий, кто играл в игры, разумеется, знает, что самым увлекательным в них — неважно, выигрываешь или проигрываешь — является решение сложнейших, наиболее запутанных и даже рискованных задач. По этой причине художникам (как восточным, так и западным) редко нравится заниматься простыми делами — а настоящему художнику простым кажется то, что для большинства из нас невыполнимо. Художника манят испытания и трудности, так как он видит в жизни не столько работу, сколько игру.

Такое восприятие искусства как фрагмента игры жизни, а самой жизни — как искусства игры, представляет собой удивительно радостное, оптимистическое отношение к неоднозначному благословению бытия. Подход этот, в целом, противоположен настроению христианского Запада, воспитанного на мифе о всеобщей вине. Некогда там, в Саду, случилось Грехопадение, и с тех пор все мы появляемся на свет с несмываемой печатью проклятия. Любой естественный поступок — грех, отягощенный к тому же сознанием собственной вины. На Востоке, напротив, царствует идея врожденной невинности всего естественного, несмотря на то что человеческий взор и чувства порой видят в нем жестокость. Как говорят в Индии, этот мир — «игра» Бога: игра дивная, беспечная, но грубая, беспощадная, опасная и труднейшая, допускающая самые грязные приемы. Часто кажется, что в ней выигрывают худшие, а лучшие терпят поражение. Цель, впрочем, совсем не в победе, ведь мы уже

взошли по «богатому удовольствиями» пути пробудившейся кундалини и потому знаем, что победы и поражения — обычные чувства, испытываемые только на уровне нижних чакр. Задача восходящей змеи — разжечь и усилить внутренний свет сознания, а первый шаг к этому дару, как утверждает «Бхагавад-гита» и многие другие своды мудрости, заключается в том, чтобы отбросить все тревоги о плодах действий как в этом мире, так и в грядущем. На поле боя Господь Кришна говорит царевичу-воину Арджуне: «На дело направь усилье, о плодах не заботясь [...] Кто видит, что санкхья и йога одно _ тот зрячий».

Жизнь — как искусство, искусство — как игра, действие ради действия, без раздумий о прибылях и потерях, славе и порицании, — вот ключ, поворот которого превращает саму жизнь в йогу, а искусство — в образ жизни.

Есть одна буддийская сказка, которая, как мне кажется, окончательно разъяснит смысл этой идеи. Это рассказ о том, как молодой китайский ученый Чжу отправился с приятелем побродить в горах. Друзья наткнулись на древний храм, полуразвалившиеся стены которого служили уединенным приютом для монаха-отшельника. При виде гостей старик привел в порядок одежду, вышел, ковыляя, навстречу и показал юношам окрестности. Среди руин сохранилось несколько скульптур Бессмертных, а на стенах кое-где еще виднелись живые и яркие изображения людей, зверей и цветов. Чжу и его друг завороженно разглядывали развалины, но особый восторг у них вызвал написанный высоко на стене портрет юной красавицы с букетом цветов на фоне какого-то городка. Распущенные волосы девушки означали, что она не замужем, и Чжу влюбился с первого взгляда. В воображении он то и дело возвращался мыслями к милой улыбке на ее губах, как вдруг — это старый монах решил преподать юноше урок — перенесся прямо в городок на картине, а рядом стояла очаровательная девушка.

Красавица встретила его радушно, привела к себе в дом, и они несколько дней предавались страстной любви. Проведав, что девушка живет с каким-то юношей, подруги начали посмеиваться над ее распущенными волосами и принесли в подарок изящные заколки. Увидев девушку с подобранными волосами, бедняга Чжу полюбил ее пуще прежнего. Но однажды утром влюбленные услышали на улице грозные голоса, бряцанье цепей и тяжелый топот: явившиеся в город императорские чиновники выискивали чужаков. Испуганная девушка велела Чжу спрятаться, и он полез было под кровать, но, заслышав оживленный говор совсем рядом, не выдержал и бросился к окну... Чжу почувствовал, как затрепетали на ветру его рукава, и понял, что выпрыгнул из картины. Юноша свалился к ногам старого монаха и своего друга, которые стояли там же, где и прежде. Пораженные Чжу и его приятель обернулись к старику, ожидая пояснений.

— Картины рождаются и гибнут в тех, кто на них смотрит, — сказал отшельник. — Что может объяснить простой монах? — Но с этими словами он, а за ним и юноши, перевели взгляд на картину. Уже догадались? Да, волосы девушки были теперь прихвачены заколками.

VII. ДЗЭН (1969Г.)

В Индии два принципиально разных вида религиозности олицетворяются очаровательными образами: «котенком» и «обезьянкой». Когда котенок мяукает, мать хватает его за загривок и переносит в безопасное место. Тот же, кому доводилось бывать в Индии и видеть прыгающие по деревьям и пересекающие дороги стаи обезьян, замечали, наверное, что малыши сидят на спине матери и сами за нее держатся. Вернемся к религиозности: в первом случае человек просто молится: «Боже, боже, спаси и помилуй», а во втором ни о чем не просит, не хнычет и делает все сам. В Японии те же формы религиозного отношения именуются тарики — «внешняя сила», или «сила извне», и дзирики — «собственная сила», «сила изнутри». В японском буддизме два явно противоположных

образа религиозной жизни и мысли определяют совершенно разные пути к просветлению.

Первый, более распространенный, представлен сектами дзёдо и синтю, где верующие молятся недостижимому, совершенно мифическому Будде, именуемому на санскрите Амитабха, «Безграничная Лучезарность» (также Амитайюс, «Бесконечная Жизнь»), а в японском —Амида. Подобно Христу, приносящему спасение, этот Будда освобождает от перерождений. С другой стороны, дзирики, путь внутренней энергии, не предполагает ни просьб, ни надежд на помощь божества или Будды; этот путь основан только на самостоятельном труде и собственных достижениях и представлен в Японии главным образом дзэн-буддизмом.

В Индии рассказывают притчу о боге Вишну, опоре Вселенной. Однажды Вишну ни с того ни с сего призвал свое летающее средство передвижения —Гаруду, солнечную птицу с золотым опереньем. Жена Вишну, богиня Лакшми, спросила, зачем вызван Гаруда, и бог ответил, что один из его поклонников попал в беду. Однако, едва воспарив, Вишну тут же вернулся, отпустил птицу и пояснил недоумевающей супруге, что его приверженец, оказывается, уже сам о себе позаботился.

В том направлении махаяны, которое в Японии называют дзэн, путь дзирики означает особую форму религии — если, конечно, мы вправе ее так называть, — где человек не зависит от Бога или богов. В дзэн нет идеи высшего божества, ему не нужен даже Будда. Больше того, дзэн вообще ничего не говорит о сверхъестественном. Выглядит это так:

Особая передача без священных текстов, не связанная ни со словами, ни с письмом;

прямое обращение к душе человека;

взгляд в собственную природу; и таким путем достижение состояния Будды.

Само слово дзэн произошло от искажения китайского чань, которое, в свою очередь, является измененным произношением санскритского дхьяна: «созерцание, медитация». Созерцание чего именно?

Перенесемся на мгновение в лекционный зал, где я впервые представлял материал этой статьи. Под потолком горят лампы. Каждая светит независимо от других, и потому их можно считать самостоятельными предметами, то есть многообразием эмпирических фактов. И всю Вселенную в таком восприятии в Японии называют дзи хоккай, «вселенная вещей».

Но это не единственный подход. Каждая лампа — источник света, и этот свет един, а не многообразен. Можно сказать, что все лампы дают один свет, и потому можно говорить не только о множестве ламп, но и о едином свете. Больше того, если какая-то лампочка перегорит, ее просто заменят другой, а свет останется прежним. Таким образом, единый свет проявляется в многообразии ламп.

Подобным же образом, глядя в зал с кафедры, я вижу перед собой большую аудиторию. Как отдельные лампы, что светятся под потолком, каждый слушатель является носителем сознания. Но что главное в лампочке? Яркость излучаемого света. А в человеке важно качество сознания. И хотя большинство из нас склонно отождествлять себя с обособленным бренным телом, его можно считать просто вместилищем сознания — единого сознания во всех нас. Таковы два подхода к толкованию и восприятию одного и того же набора фактов, причем один подход ничуть не хуже другого, это просто различные способы понимания: первый основан на разнообразии отдельных вещей, а второй — на единстве, проявляющемся в этом многообразии. Как я уже говорил, первый подход

в Японии называют дзи хоккай; второй именуют ри хоккай — «абсолютная вселенная».

Сознание дзи хоккай не может не отличать один объект от другого и, подобно отдельной лампочке, ограничивается хрупким — стеклянным — телом. Сознание ри хоккай подобными условиями не сковано. Вследствие этого главная цель всех мистических учений Востока сводится к тому, чтобы помочь человеку перейти, так сказать, от отдельной лампочки к ее свету, то есть чувствовать себя не бренным телом, а сознанием, для которого тело — просто вместилище. В этом, по существу, и заключается весь смысл знаменитого изречения из «Чхандогья-упани-шады»: тот твам аси — «Ты есть То», ты и есть единообразная основа всего существующего, любого сознания и блаженства.

Это, однако, не то «ты», каким человек обычно себя считает; это не личность, которой для удобства налогообложения присвоены имя, номер и компьютерный код. Это «ты» — вовсе не «То», а условие, делающее нас обособленными лампочками. Однако перейти в ощущении собственного бытия сначала от тела к единичному сознанию, а затем и сознанию всеобщему, очень нелегко.

В Индии я познакомился и беседовал с мудрецом по имени Шри Атмананда Гуру из Тривандрума, и он предложил мне подумать над таким вопросом: «Куда деваешься ты в промежутке между двумя мыслями?» В «Кена упанишаде» сказано: «Туда не проникает глаз, не проникает ни речь, ни разум. [...] Поистине, это отлично от познанного и выше непознанного». Возвращаясь из промежутка между двумя мыслями, обнаруживаешь, что все слова — а они, разумеется, могут обозначать только идеи и вещи, имена и формы — просто вводят в заблуждение. Как говорится в той же упанишаде, «мы не знаем, не распознаем, как можно учить этому».

Мне кажется, каждый из нас уже убедился на личном опыте, что передать словами свои переживания можно лишь в том случае, если собеседник тоже испытывал нечто подобное. Попробуйте, например, рассказать человеку, в глаза не видавшему снега, что чувствуешь, когда катишь на лыжах по склону горы. Больше того, мысли и определения порой сводят на нет даже наши собственные переживания! Так бывает, в частности, когда задаешься вопросами: «Быть может, это любовь?», «Вправе ли я так поступать?» или «Стоит ли делать это сейчас?» Разумеется, иногда подобные вопросы задаешь себе поневоле, но, увы, стоит им возникнуть, как вся непринужденность мгновенно улетучивается. Точные определения загоняют жизнь в минувшее, откуда она уже не в силах прорваться в будущее. И вполне закономерно, что любой, кто постоянно втискивает свою жизнь в рамки намерений, значений и поисков смысла, рано или поздно замечает вдруг, что утратил всякую остроту переживаний.

Таким образом, главная задача дзэн — разорвать паутину наших представлений, и по этой причине кое-кто называет его философией «отсутствия ума». Ряд школ западной психотерапии полагает, что основной потребностью человека, главной целью его исканий является смысл жизни. Некоторым это действительно помогает, но подобная помощь неизменно оказывается только рассудку, и когда рассудок приступает к самой жизни со всеми своими наименованиями, категориями, определениями взаимоотношений и выяснениями смыслов, жизнь неминуемо теряет нечто самое сокровенное. Дзэн, напротив, придерживается той точки зрения, что жизнь и ее восприятие предшествуют смыслу. Главная его идея: пусть жизнь течет, не нужно никаких слов — и тогда ты вернешься к жизни, станешь тем, кто ты есть, а не кем назван.

Учителя дзэн любят рассказывать притчу о том, как проповедовал однажды Будда: он просто взял в руку лотос, и в этом жесте заключалась вся проповедь. Послание постиг, однако, только один из слушателей, монах по имени Кашьяпа, считающийся сейчас основоположником

дзэн. Заметив это. Будда кивнул ему, а затем выступил с обычной, словесной проповедью — она предназначалась для тех, кто все еще требовал смысла и не мог вырваться из паутины определений, но все-таки стремился к запредельному, искал путь из западни и надеялся, что рано или поздно на него выйдет.

Сам Будда, по легенде, разорвал эту паутину лишь после нескольких лет исканий и аскетизма, когда сел наконец-то под деревом бодхи — деревом просветления, растущим в самом центре Вселенной, том центре глубочайшего внутреннего безмолвия, которое Томас Элиот в стихотворении «Бёрнт Нортон» назвал «недвижной точкой в мировом коловращенье». Повторяя слова поэта,

Я знаю, что где-то мы были, но где мы были, не знаю, И не знаю, как долго: во времени точек нет.

Вскоре у дерева появился бог по имени Желание и Смерть, чья сила заставляет мир вращаться. Он приблизился к Благословенному, чтобы сместить его с точки неподвижности. Приняв обычный облик прекрасного искусителя, бог явил Благословенному трех своих красавиц-дочерей — Томление, Исполнение и Душевную Боль, — и если бы сидящий под деревом подумал: «я», то непременно подумал бы также: «они», и испытал бы смущение. Однако Будда уже утратил какое-либо ощущение обособленности вещей — дзи хоккай —и продолжал сидеть неподвижно. Первое искушение сорвалось.

Тогда бог Желания преобразился в Царя Смерти и двинул на Благословенного свое гигантское и ужасное войско. Но и в этом случае не было ни «я», ни «они», и Благословенный не сдвинулся с места, так что второе испытание тоже кончилось неудачей.

Наконец, враг превратился в бога Дхармы (Долга) и поставил под сомнение право Благословенного сидеть неподвижно, когда вокруг враща-

ется весь мир и долг касты принуждает Будду, царевича, вернуться во дворец и править людьми. В ответ Пробужденный лишь изменил положение правой руки: свободно упав с колена, она коснулась кончиками пальцев земли — с тех пор этот жест так и называют: «прикосновение к земле». Тем самым Будда призвал в свидетели саму богиню Земли, Мать-Природу, которая существует раньше общества и потому обладает высшим правом голоса. Раздавшийся раскат грома подтвердил, что за время бесчисленных жизней и перерождений сидящий здесь полностью отдал себя миру и теперь под деревом нет никого.

Слон, на котором восседал бог Желания, Смерти и Долга, почтительно склонил перед Благословенным голову, и тотчас войско и сам искуситель исчезли. Той же ночью сидящий под деревом обрел все знания, о которых только что шла речь: он постиг себя как отсутствие «я» и отождествился с ри хоккай, превосходящим все наименования и формы, куда, как сказано в той же «Кена упанишаде», «речь не проникает».

И когда Будда прорвался сквозь сеть обособленных вещей, где томятся мысли и чувства, ошеломляюще чистый свет так поразил его, что он просидел без движения на одном месте семь дней, затем поднялся на ноги, отошел на семь шагов и застыл еще на неделю, созерцая место своего просветления. На протяжении семи последующих дней он бродил от места, где стоял, до дерева и обратно, после чего снова целую неделю сидел под другим деревом, размышляя о бесполезности того, что он пережил, в паутине обычного мира, куда теперь предстояло вернуться. Еще семь дней он провел под третьим деревом, медитируя над сладостью освобождения, потом неделю оставался под четвертым. Тем временем вокруг разразилась небывалая буря; космическая кобра поднялась из своего логова под вселенским древом, ласково обвилась вокруг Благословенного и, будто зонтом, прикрыла его голову капюшоном. Ураган миновал, змея скрылась. В течение семи безоблачных дней Будда отдыхал под пятым деревом, и вдруг ему пришло в голову, что просветлению нельзя научить.

И это правда, потому что его не передать словами.

Только лишь Благословенный подумал об этом, как божества высочайших небес — Индра и Брахма со своими ангелами — спустились к нему и, ради человечества, богов и всего живого, просили его быть учителем. Будда уступил и в течение сорока девяти лет проповедовал в этом мире. Но при всем желании он не мог научить просветлению, и потому буддизм — только Путь. Его называют средством переправы (яня) с берегов дзи хоккай (мира обособленных вещей, многочисленных лампочек, отдельных огоньков) на тот берег, в мир ри хоккай — за грань идей и мыслей, где порыв восприятия делает возможным постижение Безмолвия из безмолвии.

Но как же тогда учил Будда?

Он вернулся в мир врачом, который определяет недуги и прописывает больным лекарство. Первым делом он задался вопросом: «Каковы признаки мировой болезни?», — и ответил: «Страдания». Так была выражена Первая Благородная Истина:

«Вся жизнь —страдание».

Услышали мы ее? Правильно ли поняли? «Вся жизнь — страдание!» Здесь очень важно слово «вся», ведь оно не позволяет исказить смысл и сказать, например, что речь идет о «нынешней» жизни или, как я недавно слышал, «жизни при капитализме». Это вовсе не означает, что люди стали бы счастливыми, изменись вдруг общественный порядок. Будда учил вовсе не революции! Первая Благородная Истина утверждает, что вся жизнь — сама жизнь — страдание, а действенное лекарство, следовательно, должно приносить облегчение независимо от жизненных обстоятельств — социальных, экономических, географических.

После Будда задумался над вторым вопросом: «Можно ли найти такое лекарство?», — и ответил: «Да!» Итак, Вторая Благородная Истина:

«Спасение от страданий есть».

Но это не означает избавления от самой жизни (отречения от мира, самоубийства или что-нибудь в этом духе), поскольку такой исход едва ли можно назвать благополучным. Буддизм искажают, когда твердят, что он ведет к освобождению от жизни. Будда говорил об избавлении не от жизни, а от страданий. Но как можно определить то здоровое состояние, которое Будда не просто видел в мыслях, но и сам обрел? На это отвечает Третья Благородная Истина:

«Избавление от страданий — нирвана».

Буквальный перевод санскритского слова нирвана — «угасание»; в буддийском смысле оно означает уничтожение эго. Наряду с эго угасает и тяга к наслаждениям, страх перед смертью и навязанное обществом чувство долга. Освобожденный подчиняется велениям души, а не внешней власти, и эти внутренние побуждения вызваны не чувством долга, но сочувствием ко всем страдающим существам. Просветленный не умирает и не отрекается от мира; сохраняя полноту знаний и переживаний из сферы ри хоккай, он вновь погружается в дзи хоккай, где сам Будда жил и учил до восьмидесятидвухлетнего возраста. Чему он учил? Он показывал Путь к избавлению от страданий —Восьмеричный Путь, как принято называть его доктрину: правильные воззрения, правильные стремления, правильная речь, правильное поведение, правильная жизнь, правильные усилия, правильная медитация и правильное блаженство.

И тому, кто хочет разобраться, что именно Будда понимал под словом «правильный» (санскр. самъяк — «уместный, целый, полный, точный, правильный, истинный, надлежащий»), придется изучить многочисленные пояснения авторитетных толкователей учения Будды, представляю-

щих различные школы буддизма, чьи последователи далеко не всегда сходятся во мнениях.

Первые ученики Гаутамы буквально повторяли его образ жизни: оставляли мирские дела, становились отшельниками, уходили в лес или монастырь, где предавались аскезе. Это был путь дзирики, «самостоятельности», когда человек отрекается от мира и, ценой огромных духовных усилий, уничтожает тягу к земным благам, страх перед смертью и утратами, чувство общественного долга и, прежде всего, какие либо мысли, связанные с «я» и «мое». Такой отрицающий подход к жизни был характерен для самого Будды, и потому монастыри вплоть до наших дней остаются господствующей силой буддийского мира.

Однако примерно через пятьсот лет после рождения и ухода Будды (сейчас полагают, что он жил ок. 563—483 гг. до н. э.) — практически одновременно с зарей христианской эпохи на Западе — в буддийских центрах Северной Индии распространилось новое толкование доктрины. Поборниками этого направления стали более поздние последователи Учителя, которые тоже достигли просветления и могли самостоятельно определять упущенные тонкости его учения. По их словам, для того, чтобы обрести дар просветленности, вовсе не обязательно уходить в монахи — можно вести обычную жизнь, бескорыстно исполнять мирские обязанности и, тем не менее, неуклонно идти к цели.

Благодаря этому исключительно важному озарению центральное положение в мышлении и символике буддистов занял новый идеал совершенства: уже не монах с гладко выбритой головой, живущий вдалеке от трудов и суеты общества, а царственная фигура с лотосом в руке, в роскошном наряде и венце из драгоценных камней — образ самого мира. Эта сущность, посвятившая себя обыденной жизни, — Бодхисаттва, тот, чье «естество» (саттва) представляет собой «просветление» (бодхи, слово, однокоренное с будда, «просветленный»). Самым же великим, известным и наиболее почитаемым из этих пробужденных существ являет-

ся прекрасный святой Авалокитешвара, о котором сложено немало легенд. Его имя обычно принято переводить с санскрита как «Владыка, взирающий на мир [с состраданием]». В индийском искусстве его изображают только в мужском облике, а на Дальнем Востоке, напротив, в образе китайской богини милосердия Гуань-Инь (японская Каннон). В действительности эта сущность пребывает за пределами половых различий, а женский облик, безусловно, более уместен для олицетворения идеи сострадания.

По преданию, когда этот Бодхисаттва вплотную приблизился к полному освобождению от того вихря перерождений, которым является наш мир, он услышал жалобные стоны камней, деревьев и всего сущего. Задав вопрос о смысле этих звуков, он получил ответ, что само его присутствие в мире сообщает всему чувство постоянного нирванического блаженства, которое будет утрачено, если Бодхисаттва покинет этот мир. Тогда, исполнившись безграничного сострадания, он отказался от окончательной свободы, к которой стремился на протяжении бесконечных перевоплощений, и решил остаться в этом мире вечным учителем, помогающим спастись всему сущему. Перед купцами он представал в облике купца, среди царей был царем; он становился даже насекомым, чтобы помочь муравьям. Он воплощается в каждом, когда мы беседуем друг с другом, даем кому-то советы и проявляем милосердие.

В Китае рассказывают очаровательную легенду о безграничной спасительной силе этого поистине удивительного Бодхисаттвы. В деревушке у верховий Желтой реки жили некогда простые люди, не имевшие ни малейшего представления о религии; их интересовали только быстрые скакуны и меткая стрельба из лука. Но как-то утром на улице деревни появилась несказанно прекрасная девушка. В корзинке, сплетенной из свежей ивовой лозы, она несла пойманную в ручье рыбу с золотистой чешуей. Товар у нее мгновенно раскупили, а когда кончилась рыба, исчезла и девушка, но на следующее утро появилась вновь. Так продолжалось несколько дней, и, естественно, ни один юноша деревни не остался

равнодушным. Однажды утром они остановили девушку и стали наперебой звать ее жены.

— Благородные господа, — ответила она. — Выйти замуж — большая честь, но я одна, а вас много. Я выйду за того из вас, кто выучит наизусть сутру о сострадательной Гуань-Инь и прочтет мне ее.

Молодые люди слыхом не слыхивали про такую сутру, но тут же взялись за дело. К утру перед девушкой стояло тридцать претендентов.

— Благородные господа, — сказала девушка, — я одна, а вас все еще много. Я выйду замуж за того, кто сможет объяснить мне смысл этой сутры.

На следующий день женихов осталось не больше десятка. — Поступим так, — предложила девушка. — Я выберу того, кто за три дня постигнет смысл сутры.

На третий день, когда она вернулась, ее встретил единственный юноша по имени Меро. Увидев его, девушка улыбнулась.

—Я чувствую, что ты и вправду постиг смысл благословенной сутры о сострадательной Гуань-Инь, и потому с радостью стану твоей женой. Приходи сегодня вечером в мой дом у излучины реки, познакомишься с моими родителями.

Вечером Меро отправился на поиски и вскоре заметил домик среди прибрежных скал. Стоявшие у ворот мужчина и женщина в летах помахали ему рукой и, когда он подошел ближе, радушно встретили и величали по имени.

— Мы так долго ждали тебя, — сказал старик.

Женщина провела Меро в комнату дочери, но там было пусто. В открытом окне виднелась полоска речного песка, а на ней — отпечатки ног. Меро пошел по следам и заметил у самой воды пару золотых сандалий. Уже смеркалось, и, оглянувшись назад, юноша не увидел среди скал домика, только заросли камыша, сухо шуршащего на ветру. И тогда Меро понял, что дочь рыбака была самим Бодхисаттвой, после чего во всей полноте постиг, как велико добросердечие беспредельно сострадательной Гуань-Инь.

Эта притча повествует о «помощи извне», тарики, «пути котенка». Однако это не Путь дзэн.

Я уже рассказывал о том, как Будда молча поднял вверх лотос, но смысл этого жеста постиг только один слушатель. Представим, что сейчас я покажу вам лотос и спрошу, в чем его смысл! Нет, лучше даже не лотос, потому что с ним связано слишком много аллегорических ассоциаций. Давайте я покажу какой-нибудь лютик и спрошу, в чем его смысл! Или вообще высохшую палочку! Можно и наоборот: меня спросят, в чем смысл буддизма, а я в ответ просто покажу сухую ветку!

Будду называют Татхагата — «Так Идущий». В образе Будды не больше смысла, чем в цветке или дереве, во мне или вас, в самой Вселенной. И когда нечто воспринимается именно так — как вещь в себе, сама по себе, без связи с какими-либо идеями и ценностями, без соотнесения с чем-то другим, — подлинно эстетический восторг мгновенно погружает созерцателя в его собственное бытие, лишенное всякого смысла, потому что он тоже просто есть —он «так приходящий», носитель создания, искра, вырванная из костра ветром.

В первом веке нашей эры, когда буддизм пришел из Индии в Китай, империя отнеслась к нему очень благосклонно; было построено много монастырей, и монахи взялись за тяжелейший труд — перевод индийских текстов. Несмотря на громадные сложности перевода с санскрита да

китайский, работа шла успешно, хотя и тянулась добрых пятьсот дет — до тех пор, пока около 520 года нашей эры в Китай не пришел до странности хмурый старик-индиец по имени Бодхидхарма. Буддийский святой направился прямиком во дворец императора. По преданию, монарх спросил неприветливого гостя, какие блага принесет империи буддизм, ведь император построил много монастырей, покровительствовал монахам и опекал переводчиков.

— Никаких! — отрезал Бодхидхарма.

— Но почему? — настаивал император.

— Это мелочи, — ответил святой. — Это просто тени. Существует единственная награда — Мудрость, чистая, совершенная и таинственная, но ее не заслужить мирскими подвигами.

—Скажи тогда, что представляет собой Благородная Истина в ее высочайшем смысле? — спросил император.

— У нее нет смысла, — заявил Бодхидхарма. — И в ней нет ничего благородного.

— Кто этот человек, стоящий передо мной? —раздраженно спросил Его Величество, на что монах ответил:

—Не знаю.

И покинул дворец.

Бодхидхарма ушел в монастырь и уединился там. Он сел лицом к стене и, как говорят, провел так девять лет в полном безмолвии. Эта притча подчеркивает, что настоящий буддизм — не набожный труд, перевод текстов и отправление обрядов.

Наша история, впрочем, еще не закончена. Однажды к Бодхидхарме пришел конфуцианец по имени Хуэй-ке.

— Учитель! — почтительно обратился он к святому, но тот не сводил взора со стены, словно не слышал, а Хуэй-ке остался стоять рядом. Шли дни. Уже выпал снег, а Бодхидхарма ни разу не пошевелился и не проронил ни слова. Наконец, чтобы показать серьезность своих намерений, посетитель извлек меч, отсек себе левую руку и протянул ее учителю. После этого монах обратил на него внимание.

— Я хочу получить наставления и понять доктрину Будды, — сказал Хуэй-ке.

— Ее не постичь с чужой помощью, — откликнулся святой.

— Тогда, прошу, успокой мою душу.

— Сначала покажи ее мне.

— Я ищу ее долгие годы, — вздохнул Хуэй-ке, — но, сколько ни вглядываюсь, не в силах увидеть.

— Значит, она уже в покое. Просто не мешай ей, — сказал монах и снова обернулся лицом к стене. На Хуэй-ке тотчас низошло озарение, он разом постиг, что пребывает выше повседневных забот и знаний, и стал позже первым китайским учителем чань.

Следующим выдающимся наставником в череде великих учителей чань был Хуэй-нэн (638—713 гг.) — как гласит предание, безграмотный дровосек. Он поставлял дрова заказчикам, чтобы помочь своей вдовствующей матери, и однажды пришел к порогу богатого дома. Дожидаясь,

пока откроют, он услышал, как внутри кто-то читает вслух махаянский текст под названием «Ваджраччхедика» — «Алмазный резец».

—Разбуди свой ум, — донеслось до него из-за дверей, — не сосредоточивая его ни на чем.

И Хуэй-нэн застыл, охваченный внезапным просветлением. В надежде постичь еще больше Хуэй-нэн пришел в монастырь Желтой Сливы, настоятелем которого был старый Хун-жэнь, самый видный в то время учитель чань. Окинув пришлого беглым взглядом, он отрядил его на кухню. Восемь месяцев спустя Хун-жэнь почувствовал, что настала пора готовить себе преемника. Он объявил, что плащ и миску для подаяния, которые символизировали должность настоятеля, получит тот из монахов, кто сможет одной стихотворной строфой передать всю сущность учения Будды. В состязании приняло участие более полутысячи монахов, но победу прочили одному — необычайно одаренному молодому человеку по имени Шэнь-сю. Так и случилось: именно его четверостишие выбрали и торжественно начертали на стене у входа в трапезную:

Тело —дерево Бодхи, разум — зеркальная гладь, Пыль на них часто садится — Не забывай протирать.

Главная мысль стихов заключается в том, что сущность пути буддиста — усердное очищение.

Но безграмотный мальчишка с кухни узнал о состязании и вечером попросил приятеля прочесть ему написанные на стене стихи. Услышав их, он упросил друга нацарапать ниже такое четверостишие:

Тело — не дерево Бодхи, Ум — не зеркальная гладь. Куда же пыли садиться? Что и зачем протирать?

Утром старого настоятеля разбудил оживленный говор монахов. Он спустился к столовой, прочел анонимную надпись, сорвал с ноги туфлю и яростно стер нацарапанную строфу. Но автора угадал безошибочно. Вечером старик послал на кухню за Хуэй-нэном и вручил ему плащ и миску.

— Возьми, сын мой, — сказал он. — Отныне это знаки твоего положения. А теперь уходи! Прочь с глаз моих, исчезни!

С тех пор доктрина Шэнь-сю стала главным положением северокитайской школы чань, основанной на идее постепенного обучения (цзяньцзяо) и поощрения образованности, а Хуэй-нэн стал основоположником южной школы внезапного обучения (дунъ-цзяо), которое опирается на интуитивное прозрение, приходящее внезапной вспышкой. В южной школе считается, что монашеская дисциплина не только необязательна, но может подчас даже стать помехой. Старый настоятель прогнал юноniy, так как сразу понял, что подобная доктрина может посеять недоверие к монастырям и вообще разрушить устои монашеской жизни. «Всматривайся в себя! Тайна в тебе», — так, говорят, учил Хуэй-нэн. Но как же постичь эту тайну, если не изучением доктрин? В японских дзэнмонастырях излюбленной формой обучения являя размышление над любопытным набором особых медитативных тем, коанов, которым умышленно придают абсурдную форму. Коаны черпают, главным образом, из поговорок давних китайских учителей, например: «Каким было твое лицо до рождения твоих родителей?» или, «Как звучит хлопок одной ладони?» Подобные головоломки рассудком не решить. Они и влекут к себе мышление, и ставят его в тупик. В монастырях наставники предлагают жаждущим просветления ученикам поразмыслить над непостижимыми загадками и вернуться с ответом. Ученик терпит многократные неудачи, и его вновь и вновь отправляют медитировать, пока не наступает вдруг тот миг, когда рассудок сдается и в голове сам собой появляется подходящий ответ. Считают — во всяком случае, мне так говорили, — что последним коаном является сама Вселенная, и если найти ответ на него,

все прочие ответы придут сами собой. «Коан, — сказал Д. Судзуки, — не логическое утверждение, а выражение определенного состояния ума». Это — внерациональное прозрение, вызванное рядом на первый взгляд абсурдных, но на самом деле тщательно подобранных стимулов, провоцирующих рассудок. И то, что они успешно используются на протяжении уже многих веков, само по себе служит лучшим ответом на любые вопросы об их осмысленности или ценности, какие мог бы задать придирчивый скептик.

Позвольте мне рассказать современную западную притчу о буддийской «мудрости того берега» — берега за гранью рассудка, откуда «слова возвращаются, не долетев». Впервые я услышал о нем лет тридцать назад из уст моего старого доброго друга Хайнриха Циммера. Как уже говорилось, буддизм — переправа на тот берег. Давайте представим, что стоим на этом берегу, скажем, на острове Манхэттен. Он надоел нам, наскучил до тошноты, и мы глядим на запад, а там, за Гудзоном — смотрите-ка! — виднеется остров Джерси. Мы уже немало слышали о Джерси, этом райском местечке, и нет сомнений, что там все не так, как здесь, на грязных улочках Нью-Йорка! Но моста нет, и пересечь реку можно только на пароме. И мы торчим на пристани, с тоской поглядываем на Джерси и мечтаем о тамошних красотах. Мы не знаем, как там на самом деле, но именно от этого желание попасть туда становится нестерпимым. И вдруг мы замечаем лодку, отходящую от Джерси. Она пересекает реку, идет к берегу и причаливает прямо перед нами.

— Кому на Джерси? — интересуется паромщик.

— Нам! — восторженно вопим мы, и он пожимает нам руки.

–– Вам точно туда? — спрашивает он, когда мы поднимаемся на борт, и предупреждает: — Обратного рейса не будет. Учтите, на Манхэттен вам уже не вернуться. Друзья, работа, семьи, престиж, даже ваши имена

— все останется тут, в Нью-Йорке. Не передумали?

Становится чуток страшновато, но мы киваем и твердим, что все решено. Мы и вправду по горло сыты «городом развлечений».

Именно так, друзья мои, и становятся монахами. Это путь монашеского буддизма, путь первых учеников Будды, а сегодня — буддистов Цейлона, Бирмы и Таиланда. Мы поднимаемся с вами на «утлую лодочку» — малую колесницу, или хинаяну, которая названа так потому, что этим транспортом на тот берег могут переправиться только монахи, готовые отречься от всего привычного. Мирянам, которые не желают пока сделать этот роковой шаг, придется — всего-то! — подождать новых воплощений и побольше узнать о тщетной суете удовольствий. Наша лодочка тесна, лавки на ней жесткие, а на борту начертано название: Тхеравада — «наука древних святых».

Итак, мы расселись. Паромщик вручает нам весла, и суденышко отчаливает от пристани. Эй, на шлюпке! Путешествие началось, но длится оно дольше, чем мы предполагали. По правде говоря, оно может растянуться на несколько жизней. Тем не менее мы очень рады, нас уже переполняет чувство собственного превосходства. Мы — святые, мы — путешественники, мы где-то на перепутье: уже не тут, но еще не там. Конечно, о Райском Уголке нам по-прежнему известно не больше, чем тем дурачкам — теперь мы называем их только так, — что остались в крысином лабиринте Нью-Йорка, но мы твердо знаем, что движемся в верном направлении, а быт наш уже разительно отличается от жизни там, на родине. Вспоминая о ступенях восхождения кундалини, можно сказать, что мы поднялись к пятой чакре — вишуддхе, «очищению» — центру аскетической строгости. Поначалу новая жизнь выглядит очень привлекательной и интересной, но потом, как ни странно, начинает разочаровывать и доводит чуть ли не до отчаяния. Ведь цель новой жизни — полное из-

бавление от эго, но чем больше мы мечтаем об этом, тем крепче наше эго, ведь мы не думаем уже ни о чем, кроме себя!

«Справляюсь ли я? Добился я чего-то сегодня? За последний час? На этой неделе? А за месяц? За минувший год? За все десятилетие?» Кое-кто так привыкает к подобному наблюдению за самим собой, что ему уже меньше всего хочется добраться до места назначения. Но приходит наконец внезапный миг самозабвения, и — о, чудо! — наша лодка, влекомая духом древних святых, причаливает к берегу. Это Джерси, Райски Уголок, Нирвана! Мы ступаем на песок, а лодка со всеми ее «делай так, а так нельзя» остается за спиной.

Давайте теперь окинем взором окрестности. Мы на берегу ри хоккей, постижения единства, недвойственности, неразделенности, а то, манхэтенское побережье должно отсюда выглядеть... как же оно выглядит? Мы оборачиваемся. Это поразительно! Нет никакого «другого» берега Нет реки, нет паромщика, ни лодки, ни буддизма, ни самого Будды, Прежнее, невежественное представление о том, что есть какая-то разница между темницей и свободой, жизнью-страданием и блаженством нирваны, было иллюзорным, ошибочным, как и сама переправа с одного берега на другой. Тот самый мир, который мы с вами воспринимаем сейчас, на уровне дзи хоккай, как протяженные во времени страдания, с точки зрения ри хоккай представляет собой восторг нирваны, и для того, чтобы перенестись из одного мира в другой, достаточно сместить лишь фокус зрения и восприятия.

Но разве не этому двадцать пять веков назад учил Будда? Разве не это он обещал? Избавься от эго, от желаний и страхов, и нирвана уже твоя! Мы уже там, осталось только это понять. Наш паром — бескрайние просторы Земли, качающейся у пристани в беспредельном пространстве, и все, кто живет тут, уже на родине. Именно это постигают при «внезапном просветлении». Отсюда и название этого недуалистического направления буддизма, широко распространенного в средние века в Китае,

Корее и Японии, а сейчас на Тибете; махаяна — «большая колесница», «широкая лодка».

Итак, мы выяснили, что мир многообразия отдельных вещей, дзи хоккай, ничем не отличается спри хоккай. Нет никакой разницы. В японской махаяне эту стадию просветления называют дзи-ри-му-гэ — «вещи и единство: нет границы». Пребывая в мире разнообразия, мы одновременно сознаем: «Это — Единое». Мы по-настоящему ощущаем всеобщность — и не только сплоченность человеческого общества, но и этих лампочек под потолком, и лекционного зала, и Манхэттена за этими стенами, и — да, конечно! — острова-сада Джерси. Мы относимся к минувшему, к своим многочисленным и таким разным прошлым жизням» точно так же как к будущему, которое уже прячется где-то здесь, как могучий дуб в желуде. И жизнь с пониманием этого, в полноте такого восприятия, похожа на дивный сон.

Но и это еще не все, потому что возможен иной уровень просветления именуемый в Японии дзи-дзи-му-гэ —«вещь и вещь: нет границы». Отдельные вещи не разделены. Уместным сравнением станет бриллиантовая паутина. Вселенная — это гигантская сеть, в каждом узле которой находится алмаз: в его гранях отражаются все остальные камни и сам он тоже отражается в других бриллиантах. Еще одна аналогия: венок, где ни один цветок не является «причиной» другого, но их сплетение образует гирлянду. Обычно мы мыслим в категориях причин и следствий. Я толкаю эту книгу, и она движется. Она пришла в движение, потому что я ее толкнул. Причина предшествует следствию. Но что вызывает рост желудя? Дуб, которым желудю только предстоит стать! То, чему суждено случиться в будущем, становится причиной происходящего сейчас, а причиной настоящего были события прошлого. Больше того, со всех сторон, повсюду, происходит неисчислимое множество явлений, определяющих то, что делается сейчас. Таким образом, всё является причиной всего остального.

Буддийское учение, раскрывающее эту истину, называют доктриной «взаимного появления». Что бы ни происходило, нет смысла кого-то или что-то в этом винить, потому что все взаимосвязано. Эта идея — одна из главных причин того, почему в Японии даже сразу после Второй мировой на лицах людей не заметно было негодования. Враги создают друг друга, они — две стороны одного явления, как начальник и подчиненные, мы и наши друзья. Всё вокруг — часть единого целого, одного венка. «Вещь и вещь: нет границы».

Несомненно, это очень возвышенная мысль. Именно она служит одним из главных источников вдохновения для дальневосточного буддийского искусства. Когда глядишь, например, на японское изображение журавля, это не просто картинка, в которой вы или я узнаете птицу— это вся Вселенная, проблеск ри хоккай, единое сознание Будды во всем сущем. Больше того, так можно воспринимать всё, на что ни бросишь взгляд.

Один монах пришел к Цзи-аню, что жил в Янь-гуане, и спросил:

— Кто такой будда Вайрочана?

—Ты не мог бы подать мне вон тот кувшин? —попросил Учитель.

Монах сходил за кувшином, но Цзи-ань велел отнести его на место. Вернувшись, монах снова задал свой вопрос о Вайрочане. — Пока ты возился, он уже ушел, — ответил Цзи-ань. Именно это, по существу, подразумевает махаянское понятие дхарма-чань-дзэн — «созерцание». Такому созерцанию можно предаваться когда ходишь, трудишься, да и вообще живешь, а не только когда неподвижно сидишь в позе лотоса, глядя в стену, как Бодхидхарма. Это путь охотного участия в обычной жизни, одновременное пребывание и в этом мире, и за его пределами, когда строгой дисциплиной наполняется работа ради куска хлеба, заботы о семье, общение с окружающими, повседневные радости и страдания. В

пьесе «Коктейль», где скрыт целый ряд отрывков из буддийских текстов, Томас Элиот перенес эту идею в контекст определенных кругов современного общества. В средневековой Японии таким был буддизм самураев, и его влияние до сих пор ощущается в японском искусстве самозащиты — борьбе, фехтовании, стрельбе из лука и прочих его видах. То же относится и к садоводству, составлению букетов, кулинарии. Буддизм «в действии» затронул даже принципы упаковки свертков и вручения подарков. Это «путь обезьянки», дзирики, «собственных усилий», которому с большим старанием следуют именно в обыденной жизни, а не только в тех обстоятельствах, которые в наших странах принято связывать с настоящей религией. Этим, главным образом, и объясняется непостижимая красота японской цивилизации. В ней, конечно, ничуть не реже обычного встречаются крайняя нужда и боль, несправедливость и жестокость — вездесущие и нескончаемые, как сам мир, спутники жизни в этой юдоли слез. Но есть у японцев и спасение от страданий. Освобождение от мук — это нирвана, а нирвана — все тот же мир, но воспринимаемый без желаний и страхов, таким, какой он есть: дзи-дзи-му-гэ. Он тут, тут!

В завершение я хотел бы рассказать известную индийскую притчу, которую очень любил Рамакришна. Она поясняет, насколько трудно вмещать в голове сразу два уровня сознания и видеть мир одновременно многообразным и единым. Один гуру помог своему ученику осознать себя тождественным той силе, которая поддерживает весь мир и которую с богословской точки зрения принято называть «Богом». Мысль о том, что он един с Владыкой и Бытием Вселенной, очень взволновала юношу, и он шел от гуру целиком поглощенный новыми переживаниями. Выйдя на дорогу за околицей деревни, он увидел шагающего навстречу слона с паланкином на спине и, как заведено, восседающим на его шее погонщиком. Юный претендент на святость как раз размышлял над утверждением: «Я — Бог. Всё вокруг — Бог» и, завидев могучего слона добавил к нему очевидный вывод: «Слон — тоже Бог». Огромный зверь, чьи колокольчики звенели в такт величественной походке, неуклонно шел впе-

ред, и погонщик завопил: «С дороги! С дороги, болван!» Но восторженный паренек по-прежнему размышлял: «Я — Бог, и этот слон — Бог», а после криков погонщика подумал: «Как Бог может бояться Бога? Разве Бог обязан уступать место Богу?» События развивались стремительно: погонщик истошно орал, а погруженный в медитацию юноша не оставлял ни своего возвышенного прозрения, ни места посреди дороги. Наступил момент истины: подойдя вплотную, слон попросту обвил невменяемого мальчишку хоботом и отбросил на обочину.

Испуганный и потрясенный юноша безвольно рухнул и был раздавлен — не буквально, но душевно. Поднявшись, он не стал даже отряхивать одежду и бегом помчался к своему гуру за объяснениями. Он поведал о случившемся и упрекнул учителя:

— Ты же говорил, что я Бог!

— Так и есть, — ответил гуру. — Ты Бог.

— Еще ты сказал, что всё вокруг — Бог.

— Это правда, — подтвердил гуру. — Все на свете — Бог.

— Значит, и тот слон — Бог?

— Да. Слон тоже Бог. Но почему ты не прислушался к голосу Бога, который кричал сверху, чтобы ты убрался с дороги?

VIII. МИФОЛОГИЯ ЛЮБВИ (1967Г.)

Какая чудесная тема! И как чудесен мифологический мир, прославляющий эту вселенскую тайну! Вспоминается, что греки считали Эроса, бога любви, старейшим из богов, но в то же время и самым юным, так как он заново рождается в каждом любящем сердце и наполняет его романтикой. Больше того, двум формам проявления этого божества соот-

ветствовали два вида любви — земная и небесная. А для Данте, по классической традиции, любовь заставляет вращаться Вселенную и наполняет весь мир, от небесного престола Троицы до низших закутков ада.

Один из самых, на мой взгляд, поразительных символов любви родился в Персии. Это мистическое толкование образа Сатаны как самого верного приверженца Бога. Знаменитая древняя легенда утверждает, что, сотворив ангелов, Бог велел им не воздавать хвалы никому, кроме Него, но после создал человека и приказал ангелам почтительно склониться перед этим благороднейшим творением. Люцифер отказался — как принято считать, из гордыни. Однако по мусульманскому толкованию, причина была в том, что он слишком сильно и пылко любил Бога и потому не мог заставить себя поклоняться чему-то иному. Именно за это его низвергли в преисподнюю и обрекли на вечную разлуку с Возлюбленным.

Самая страшная из адских мук — не огненная геенна или зловоние, а окончательное лишение возможности созерцать Бога. Какие невообразимые терзания должен испытывать изгнанный влюбленный, который-даже по велению Бога не в силах был преклоняться перед иным величием, кроме Божьего!

Персидские поэты спрашивали: «В чем источник неослабной силы Сатаны?» и нашли такой ответ: «В памятований о гласе Божьем, когда Он молвил: «Изыди!» Найдется ли другой образ утонченных духовны» страданий, сравнимый с этим по мощи и отчаянию любви?

Другим примером из истории Персии служат жизнь и подвиги великого суфийского мистика Халладжа, распятого в 922 году за слова о том что он и его Возлюбленный Бог едины. Халладж сравнивал свою любовь к Богу с тягой мотылька к огню. Ночная бабочка до рассвета кружит у горящей лампы, возвращается к сородичам с обожженными крылышками и восторженно рассказывает об увиденном, а следующей ночью желание

воссоединиться с пламенем заставляет ее безрассудно влететь в него и слиться с огнем в мгновенной вспышке.

Такое сравнение намекает на блаженство, которое все мы так или иначе должны испытать либо, по меньшей мере, вообразить в мыслях. Есть, однако, еще одна грань любви, и ее образец также описан в персидском тексте. Это древнее зороастрийское предание о прародителях человеческого рода. Некогда они поднялись из земли как одна тростинка — их единение было настолько тесным, что невозможно было разобрать, где кто. Со временем они, однако, разделились, а после снова слились и произвели на свет двоих отпрысков. Родители так нежно и безудержно обожали детей, что проглотили их: одного — мать, второго — отец. Чтобы уберечь род человеческий, Бог ослабил родительскую любовь в сотню раз, и после этого прародители произвели на свет еще семь пар детей, каждая из которых — возблагодарим за это Бога! — выжила.

Древнегреческое представление о Любви как старейшем из божеств перекликается с рассказанным ранее (см. четвертую главу) индийским мифом из «Брихадараньяка упанишады»: Предначальное Существо было безымянной и бесформенной силой. Оно не имело никаких представлений о себе, но затем подумало: «Я», ахам, и тут же испугалось того, что возникшее в мыслях «я» могут уничтожить. После оно рассудило: «Ведь нет ничего кроме меня — чего же я боюсь?» и, разросшись, разделилось и стало двумя, мужчиной и женщиной; от них впоследствии родились все живые существа на Земле. И когда творение завершилось, мужчина поглядел вокруг, увидел порожденный мир, и узнал, и произнес: «Я семь творение!»

Главный смысл этой истории в том, что предшествовавшее сознанию Изначальное Бытие —которое подумало: «Я», испытало страх, а потом желание, — является побуждающей сущностью, приводящей в движение наши безотчетные намерения. Второй урок мифа заключается в том, что ощущение любовного единения делает нас соучастником творческой

деятельности первоосновы всего сущего. По индийским представлениям, наша обособленность друг от друга здесь, на Земле, в сфере пространства и времени, то есть наше многообразие, является лишь второстепенной, вводящей в заблуждение гранью личности, ведь на самом деле мы — единое бытие одной основы. Истина эта познается и ощущается в блаженстве любви, когда мы вырываемся за рамки себя, преодолеваем собственные границы.

Об этих сверхопытных духовных переживаниях рассуждает в своем великолепном эссе «Основы морали» немецкий философ Шопенгауэр. Почему личность способна позабыть о себе, о своем благополучии и рисковать жизнью ради того, чтобы спасти от смерти и мук другого, как если бы чужая жизнь была ее собственной? Шопенгауэр отвечает на этот вопрос так: подобное поведение вызвано инстинктивным пониманием той истины, что ты и другой человек на самом деле — одно. Личность на миг расстается с малым, второстепенным ощущением собственной обособленности и внезапно ощущает великую, «более правдивую» истину: в основе своей, по сущности, все мы едины. Это побуждение Шопенгауэр именует «сопереживанием», Mitleid, и считает единственным источником врожденной морали. Обретается оно, на взгляд философа, благодаря метафизически достоверным прозрениям, когда человек на мгновение утрачивает эго, забывает себя и становится безграничным. Не так давно мне довелось несколько раз вспомнить слова Шопенгауэра и задуматься над ними: по телевизору показывали героические эпизоды войны во Вьетнаме, когда вертолеты спасали оставшихся на вражеской территории раненых солдат. Позабыв о собственной безопасности, рискуя жизнью, молодые ребята спасали своих сверстников. Если искать примеры в нынешней жизни, то, мне кажется, лучшего примера неподдельного подвига Любви не найти.

В своде религиозных знаний Индии встречается определение пяти ступеней любви, по которым восходит верующий в своем служении и сознании бога, что означает, по индийским представлениям, сознание

собственного тождества с тем Существом, что сначала произнесло: «Я», а После узнало: «Я есмь творение!»

Первая ступень — любовь слуги к хозяину: «Бог, ты мой Господин . я — покорный раб твой. Повелевай мною». Согласно индийскому учению, такое духовное настроение пригодно для большинства из тех, кто поклоняется божествам, независимо от уголка света.

Вторая ступень — любовь дружеская, которую в христианской традиции олицетворяют отношения Иисуса с апостолами: они были друзьями, беседовали на равных и даже спорили. Такая любовь подразумевает большую готовность к взаимопониманию и потому выше первой. В индийских священных текстах эта идея воплощена в «Бхагавад-гите» разговоре между царевичем пандавов Арджуной и его возничим, богом Кришной.

Следующая, третья ступень — родительская любовь, олицетворяемая в христианстве образом рождественской колыбели. На этом уровне человек лелеет в своем сердце сокровенное божественное дитя, зародыш грядущего пробуждения духовной жизни. Ее имел в виду мистик Мейстер Экхарт, когда говорил своей пастве: «Приятнее Господу рождаться духовно в отдельной девственной, благой душе, нежели даже родиться телесно от Пресвятой Марии. (...) Высшая цель Господа — рождение, и не радуется Он, пока не родится в нас Его Сын». В индуизме та же ступень очаровательно выражена распространенным поклонением проказливому малолетнему «воришке» Кришне, родившемуся и воспитанному среди пастухов. Что касается нашего времени, то неплохим примером может послужить уже упоминавшийся (см. пятую главу) случай, когда к индийскому святому и мудрецу Рамакришне пришла женщина, обеспокоенная тем, что не испытывает любви к богу. «А вы вообще кого-то любите? — спросил Рамакришна и, когда она ответила, что любит своего племянника, посоветовал: — Любите его, заботьтесь о нем — это и будет любовь к Богу».

Четвертая ступень — супружеская любовь. Католические монахини носят кольца в знак духовного обручения с Христом. Любой брак по любви полон духовности: говоря словами Нового Завета, «и будут двое одна плоть» (Еф. 5:31). Главным сокровищем становится уже не собственное «я», не индивидуальная жизнь, а единство двоих, стирающее границы эго. В Индии жена должна поклоняться мужу как господину, этим оценивается степень ее набожности (как жаль, что то же не относится к обязанностям супруга перед женой!).

Что, наконец, представляет собой, по мнению индийцев, пятая, высшая ступень любви? Это любовь страстная, тайная и запретная. В браке человек по-прежнему следует велениям рассудка, радуется мирским благам жаждет достатка, высокого положения в обществе и всего прочего. Не нужно забывать, что на Востоке брак чаще всего основан на договоре между родителями супругов и потому не имеет ничего общего с тем, что называют любовью на Западе. В этих обстоятельствах приступ страстной любви может быть только незаконным; он губительной бурей обрушивается на должный порядок добродетельной жизни. Цель страсти полностью совпадает с мечтой мотылька из сравнения Халладжа: эго жаждет сгореть в пламени любви. Образцом этого среди легенд о Кришне служит предание о пылком взаимном увлечении бога в облике юноши и его смертной госпожи, замужней Радхи. Уместно повторить другие слова мистика Рамакришны, который всю жизнь оставался столь же страстным поклонником богини Кали: «Если так сильно любишь Бога и готов пожертвовать всем, лишь бы узреть Его лицо, достаточно сказать:

"Боже, откройся!" — и Он непременно откликнется».

Там же, в Индии, есть образ Кришны, игравшего ночами на флейте в лесу Вриндаван. Чарующая мелодия заставляла юных жен тайком выбираться из супружеских постелей и, прокравшись по залитому лунным

сиянием лесу, всю ночь напролет танцевать с прекрасным юным богом и предаваться неземному блаженству.

Основная мысль этих примеров заключается в том, что внезапный приступ любви возносит человека над преходящими законами и отношениями, имеющими силу только в иллюзорном мире кажущейся обособленности и многообразия. Эту идею выражал в своих проповедях и святой Бернар Клервосский, полагавший, что библейский текст «Песни песней» выражает тоску души по Богу, выходящую за рамки рассудка и человеческих законов. Следует отметить, что мучительная разница между-двумя противоречивыми опорами нравственных обязательств — разумом и страстью, — изначально причиняла немало хлопот христианским богословам. «Плоть желает противного духу, — писал, например, святой Павел, — а дух — противного плоти» (Гав. 5:17).

Современник святого Бернара, Пьер Абеляр, видел высший образец любви Господа к человеку в нисхождении Сына Божьего на Землю, где он стал плотью и смиренно принял смерть на кресте. В христианской Экзегетике распятие Спасителя неизменно вызывало сложности, ведь Иисус, как принято верить, пошел на смерть добровольно. Но почему? Одни толкователи времен Абеляра считали, что это была дань Сатане «выкуп» людей из плена Нечистого, другие полагали, что Христос расплачивался с Отцом за грехопадение Адама. Сам Абеляр верил, что поступок Иисуса был добровольным самопожертвованием во имя любви основанным на стремлении отвлечь людей от мирских забот и пробудить в них ответную любовь к Богу. Из слов Мейстера Экхарта мы узнаем также, что такое проявление любви могло и не причинять Христу мучений: «Кто страдает не во имя любви, поистине терзается тяжко, но кто страдает во имя любви, не страдает вовсе, и муки его в глазах Господа плодотворны».

Сама мысль о нисхождении Бога в мир по велению любви к людям и ради того, чтобы пробудить в человеке ответную любовь, кажется мне полной противоположностью процитированного утверждения святого

Павла. На мой взгляд, эта идея означает, что Бог жаждет человеческого благоговения не меньше, чем человек — Божьей благодати; их связывает обоюдная тяга. С этой точки зрения образ распятого на кресте истинного Бога и истинного Человека сосредоточивает наше внимание на соразмерных условиях взаимной жертвы — брачного договора, а не выкупа в каком-то уголовном смысле. Кроме того, если видеть в распятии символ не только исторической даты, когда Христос был казнен на Голгофе, но и вневременную загадку присутствия и участия Бога в терзаниях каждой живой твари, то образ креста можно считать знаком вечного утверждения всего, что было, есть и будет. Вспомним слова Христа, запечатленные в гностическом «Евангелии от Фомы»: «Разруби дерево — я там; подними камень, и найдешь меня там»; вспомним платоновского «Тимея», где сказано, что время — это подвижный образ Вечности; строки Уильяма Блейка: «Вечность — это любовь, закаленная временем» и, наконец, памятный отрывок из сочинений Томаса Манна, где писатель славит человека как «благородную встречу — einehoheBegegnung" устремленных друг к другу Духа и Природы».

Таким образом, можно с уверенностью говорить: невзирая на то, что некоторые моралисты находят возможным разделять две сферы, Два царства — плоть и дух, время и вечность, — при первом же появления любви подобные разграничения сразу исчезают и пробуждается чувство осмысленности жизни, где все противоположности пребывают в неразрывном единстве.

Самым почитаемым на Востоке олицетворением такого жизнеутверждающего начала, которое выше пар противоположностей, является безгранично сострадательный бодхисаттва Авалокитешвара (в Китае — Гуань-Инь, в Японии — Каннон), о ком достаточно подробно рассказывалось в предшествующей главе. В отличие от Будды, который, завершив земное существование и проповедование, ушел и никогда уже не вернется, бодхисаттва, исполненный беспредельного сочувствия, отказывается от освобождения и навеки остается в круговороте перерождений.

По этой причине он во все времена символизирует собой тайну окончательного спасения уже при жизни. Как ни парадоксально, такое освобождение требует не выхода из круговорота новых рождений, а деятельного, добровольного и сострадательного участия в здешней горестной жизни, буквальной самоотверженности, ведь отбрасывание «я» избавляет от любых желаний и страхов. Оно освобождает бодхисаттву, спасает и нас — в той мере, в какой мы постигли совершенство сострадания.

Говорят, что стекающая с кончиков пальцев бодхисаттвы амброзия достигает самых глубин ада и утешает души узников, запертых в пыточных камерах своих страстей. Больше того, в общении друг с другом все мы, не сознавая того, становимся проводниками бодхисаттвы, чья цель заключается вовсе не в том, чтобы изменить — или, как любят говорить сегодня, «улучшить» — этот преходящий мир. Противостояния, напряженность, победы и поражения — неотъемлемые черты природы вещей, а бодхисаттва просто участвует в естественной жизни. Это благожелательность, не имеющая целей. Поскольку вся жизнь — всегда страдание, то решением ни в коем случае не может стать преобразование, «продвижение» от одной формы жизни к другой. Есть только один выход уничтожение самого органа страдания, которым, как нам уже известно, является идея сбережения эго, погруженного в собственные чарующие представления о том, что хорошо и плохо, истинно и ложно, верно и ошибочно. Но именно эта раздвоенность исчезает в метафизическом порыве сострадания.

Любовь как страстное чувство и любовь как сочувствие —две стороны одной медали. Порой их представляют как полные противоположности, физическое и духовное, но на самом деле личность в обоих случаях вырывается за пределы себя и свободно переживает вновь постигнутое тождество с чем-то более широким и долговременным. Необходимо признать, что оба вида любви — проделки Эроса, старейшего и самого юного из богов, того, кто, как сказано в древнеиндийском мифе, излился в начале времен и стал всем сотворенным.

На Западе наиболее примечательным символом любви как страсти является, несомненно, предание о любовном напитке Тристана и Изольды, восхваляющее парадоксальность всей этой тайны: муки любовного счастья — и восторг от этих мук: для благородных сердец они становятся самой амброзией жизни. Величайший из великих поэтов, воспевавших Тристана и Изольду, Готфрид Страсбургский (это в его варианте легенды черпал вдохновение Вагнер, когда создавал одноименную оперу), писал: «Я предпринял этот труд из любви к миру и благородным душам: это мир, к которому устремлено мое сердце, это души тех, кто мне дорог». Затем он, однако, добавил: «Я имею в виду не обычный мир, где живут те, кто, как я слышал, не в силах терпеть скорбь и желает лишь купаться в блаженстве (да одарит их Господь вечным счастьем!). Не про такой мир, не про такое существование моя сказка; их жизнь и моя далеки друг от друга. Я вижу в мыслях иной мир, сводящий в одном сердце и горькую усладу; и радостную печаль, душевное счастье и мучительную тоску, милую жизнь и скорбную смерть, отрадную гибель и горестное существование. Этот мир — мой, будь он проклят и будь благословен».

Разве не слышим мы в этих словах отголосок метафизического совпадения и преодоления противоположностей, которое уже встречало» нам в образах Сатаны в преисподней, Иисуса на кресте и мотылька среда языков пламени?

Несмотря на это, средневековое европейское отношение к любви) как толковали ее воспевшие Тристана трубадуры и миннезингеры XII— XIII веков, имеет оттенок совершенно отличный от соответствующих дальне-, ближне- и средневосточных представлений. Буддийское качество «сострадания», каруна, равнозначно по смыслу христианскому «милосердию», агапэ, воплощенному в завете Христа любить ближнего своего как самого себя — и даже сильнее, и не только ближнего! Лично я считаю высшим, благороднейшим и самым дерзким призывом христианского учения слова: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мат. 5:44—45).

Во всех традиционных представлениях о любви как сострадании, милосердии, агапэ сказано, что добродетель эта проявляется обобщенно я безлично; она не выделяет ни «своих», ни «чужих». Этой высшей, духовной любви противопоставляется обычно страсть низменная, похотливая и, как ее часто называют, «животная»; она в равной мере обобщенна, безлична и неразборчива. Еще точнее ее можно описать как взаимное влечение мужских и женских половых органов и сослаться на труды Зигмунда Фрейда как определяющее современное исследование этого вида любви. Однако в средневековой Европе — сначала в песнях трубадуров Прованса, а затем в поэзии миннезингеров, где акценты несколько сместились, — был найден новый образ любви, совершенно непохожий на пару, противопоставляемую в традиции. Я считаю эту исключительно европейскую главу истории любви одним из важнейших преображений не только сферы чувств, но и духовного сознания всего человечества, и потому намерен подробнее остановиться на нем прежде чем перейти к завершению.

Начнем с того, что в средние века брак почти неизменно оставался делом семейным, общественным — как, впрочем, всегда было в Азии и даже в наши дни нередко случается на Западе. Свадьбу справляли только по согласию родителей, и в кругах знати девушки играли роль политических пешек: порой их выдавали замуж совсем детьми. Тем временем Церковь освящала подобные союзы неуместно таинственными словами о том, что «два будут одна плоть», соединятся в любви и Боге — и «что Бог сочетал, человек да не разлучает». В таких условиях искренняя любовь не стала бы ничем, кроме предвестника несчастий, ведь за прелюбодеяние грозил не только костер на земле, но и вечное горение в аду. Любовь, тем не менее, рождалась даже в таких благородных сердцах,

какие Успевал Готфрид Страсбургский. И она не просто возникала сама собой — о ней мечтали, а делом трубадуров было превозносить эту страсть, ниспосылаемую, по их мнению, свыше и превосходящую величием все церковные таинства, в том числе и таинство брака, где бы такая любовь ни освящалась — на Небесах или в аду. Дух противоречия острого подчеркивался тем, что слово атог, «любовь», было обратной записью названия Roma, «Рим». Так в чем же заключается особое свойство этого нового вида любви — не агапэ, не эроса, но амор?

Споры трубадуров на эту тему были излюбленным сюжетом их стихов, и самым удачным из дошедших до нас определений стали строфу одного из наиболее уважаемых в этой сфере виртуозов по имени Гирауу де Борнейль. Главный смысл его открытия в том, что любовь-awor разборчива, индивидуальна и конкретна, а рождается от глаз и сердца:

Путь к сердцу у любви — через глаза, Ибо глаза — его разведчики и слуги, Только они способны распознать, Чем обладать так сладко будет сердцу. И если трое все согласия достигнут И твердое решение примут, — В тот самый миг родится чистая любовь Из образа, подаренного сердцу Глазами. Дальше первый шаг ступить Новорожденной склонность помогает.

Обратите внимание: такая благородная любовь не безлична! Это не «возлюби ближнего своего как самого себя», каким бы тот ни был; это не агапэ, не милосердие и сострадание. С другой стороны, это вовсе не выражение столь же неразборчивого полового влечения. Такая любовь, можно сказать, не от Небес или ада, а от земли. Она возникает у конкретной личности по предпочтению глаз, которые передают затем свое впечатление о другой конкретной личности, ее зрительный образ, сердцу — а сердцу «благородному» и «нежному» присуща, как утверждается в других шедеврах того времени, склонность к любви-амор, а не к низменному вожделению.

В чем же особенность так рождающейся любви?

В разнообразных примерах восточного эротического мистицизма» как индийского, так и ближневосточного, женщина понимается как благоприятная для ее возлюбленного возможность пережить бездонные глубины просветления — сходным проводником была для Данте Беатриче. Но трубадуры понимали все иначе: в любимой они видели женщину — конкретную женщину, а не проявление божественного начала. Именно к ней была обращена любовь, а самым восхваляемым переживанием становились муки земной любви —неизбежные последствия того, чтов этом мире полнейшее единение любящих невозможно. Счастье любви — в предчувствии вечности, боль — в неумолимом ходе времени, и потому ее сущность, как и сказал Готфрид, «горькая услада и радостная печаль». Для тех же, кто «не в силах терпеть скорбь и желают лишь купаться в блаженстве», величайший дар жизни, любовное снадобье — напиток слишком крепкий. Готфрид даже превращает Любовь в богиню и приводит заблудившихся влюбленных к ее затерянному в пустошах храму, «Гроту Влюбленных», где вместо алтаря высится пышное, хрустально чистое ложе.

Но самой трогательной, на мой взгляд, сценой в сочинении Готфрида является эпизод, когда юная пара, направляющаяся на корабле в Ирландию (с этого начинается опера Вагнера) случайно выпивает любовное снадобье и постепенно сознает, что в их сердцах уже неприметно зреет любовь. Верная служанка Бранжьена, которая по ошибке оставила роковую бутыль без присмотра, обращается к молодым людям со зловещим предупреждением: «Этот сосуд и содержимое его обоим принесет лишь гибель!», на что Тристан отвечает: «Да исполнится уготованное Господом, будь то жизнь или смерть. Напиток отравил меня сладостью. Не знаю, чем станет предрекаемое тобой, но такая смерть меня нимало не страшит. И если погибелью моей станет прекрасная Изольда, я с радостью пойду и на вечную смерть».

Бранжьена имела в виду смерть обычную, Тристан же под «такой смертью» подразумевал восторг любви, а под «вечной» — адское проклятие, которое для средневекового католика было вовсе не образным оборотом речи.

Слова Тристана вновь возвращают к исламскому образу влюбленного в Бога Сатаны, низвергнутого в преисподнюю. Кроме того, вспоминается сцена из «Божественной комедии», где Данте рассказывает о круге прелюбодеев в аду; он видел, как раскаленный вихрь пронес мимо стенание души самых знаменитых влюбленных в истории — Семирамиды, Елены Прекрасной, Клеопатры, Париса и, разумеется, Тристана! Далее Данте повествует, как заговорил с Франческой да Римини, которую сжимал в объятиях Паоло, брат ее мужа. Поэт спросил, что привело в кошмарную вечность этих двоих, и Франческа поведала, как они с Паоло вместе читали про Ланчелота и Джиневру, как взгляды их встретились, как они, дрожа, поцеловались — и книга осталась в тот день недочитанной... Оценивая этот отрывок в свете тристановской готовности к «вечной смерти», я поневоле задумался, так ли уж прав был Данте, когда счел что пребывание в аду причиняло тем душам ужасные мучения. Он-то глядел на все как посторонний, а его собственная любовь неудержима влекла поэта вперед и выше, к самой вершине Небес. С другой стороны Паоло с Франческой познали страсть куда более жаркую, и путеводной нитью к постижению этого ужасного счастья могут стать для нас слова другого духовидца, Уильяма Блейка: «Я шел среди адских огней, и мое Вдохновенье казалось Ангелам муками или безумием...» В этом смысл ада (как, впрочем, и рая): оказавшись там, попадаешь на свое место — в точности куда хотел.

Такую же мысль выразил Жан-Поль Сартр в пьесе «За закрытыми дверями», где события разворачиваются в однокомнатном номере гостиницы в Аду, меблированной в строгом стиле Второй Империи, с изображением Эроса на каминной доске. Автор по очереди представляет трех постояльцев, навечно занявших этот номер.

Первый, репортер-пацифист среднего возраста, буквально минуту назад был расстрелян как дезертир, и теперь, движимый тщеславием, мечтает, чтобы его попытку удрать в Мексику и заняться там изданием пацифистского журнала назвали героической, а его самого — смельчаком. Второй появляется лесбиянка, расставшаяся с жизнью после того, как соблазненная ею девушка тайком открыла газ в квартире и они обе задохнулись во сне. Сухая интеллектуалка мгновенно почувствовала презрение к малодушному мужчине, навеки ставшему теперь ее соседом, и не высказала ожидаемого утешения. Не сделал этого и третий, последний постоялец — юная нимфоманка, которая утопила свое незаконнорожденное дитя и довела возлюбленного до самоубийства.

Вторая дама, разумеется, тут же липнет к мужчине, но тому нужно не чувство, а сочувствие. Лесбиянка пресекает любые попытки соседей достичь взаимопонимания, а сама тем временем строит глазки девушке, но та не проявляет к этим ухаживаниям никакого интереса и вообще не понимает, чего от нее хотят. Когда же неослабные приставания друг к другу доводят эту троицу — а персонажи, согласитесь, подобраны весьма колоритные, — до такой вершины отчаяния, что всякий, кто оказался в таком положении, мечтал бы лишь об одном — бежать без оглядки, запертая дверь номера распахивается настежь, за ней открывается лазурная пустота, но никто не выходит. Дверь звучно захлопывается, и люди добровольно остаются вечными узниками.

Примерно о том же говорит Бернард Шоу в третьем акте «Человека сверхчеловека». Я имею в виду прелестную сцену негодования древней старухи, верной дочери Церкви, которую убеждают в том, что место, где она бродит вне себя от радости, на самом деле — Ад, а не Рай. «Я же говорю вам, несчастный: я знаю, что я не в Аду, — настаивает она. — Я не испытываю страданий». В ответ ей говорят, что при желании она без трудаможет подняться вон на тот холм и попасть в Рай. За этим следует предупреждение: у тех, кто счастлив в Аду, пребывание в Раю вызывает

обычно мучительные неудобства. Некоторые (чаще всего англичане) все же остаются там, но вовсе не потому, что счастливы; просто они считают место на Небесах приличествующим своему положению. «Англичанин убежден, что исполняет нравственный долг, — рассказывает собеседник старушки, — когда он всего лишь терпит неудобства». Колкое замечание Бернарда Шоу вплотную подводит меня к последнему размышлению на тему этой главы.

Исцеляющая деятельность, что спасает от сомнений весь мир, мечущийся, как легендарный Тристан, между добрым именем и любовью, нашла свое отражение в предании о Святом Граале. В этой исполненной символики истории духовное смятение того времени представлено образом «бесплодных земель» — тех самых, которым в 1922 году посвятил одноименную поэму Томас Элиот, применивший давний символ для описания собственной неспокойной эпохи. В пору церковного деспотизма любое естественное побуждение получало клеймо безнравственности, а единственным признанным средством «искупления» порока были таинства, которые проводились по-настоящему испорченным духовенством. Людей принуждали к притворству и убеждениям, далеко не всегда разделяемым в глубине души. Навязанное моральное состояние было важнее тяги к истине и любви. Предвестниками адских мук на земле становились издевательства над сластолюбцами, еретиками и прочими злодеями, которых прилюдно, прямо на площадях, заживо резали на куски или бросали в костер. И все надежды на лучшую участь обращены были ввысь, к владениям небесным, где, как с презрением говорил Готфрид, должны были купаться в блаженстве те, кто не в силах терпеть скорбь и желания.

В «Парцифале», версии легенды о Граале пера Вольфрама фон Эшенбаха, великого современника и литературного соперника Готфрид» опустошающую жизнь христианского мира символизируют ужасные раны юного Хранителя Грааля Анфортаса, чье имя означает «немощь». Предполагалось, что главным подвигом долгожданного Рыцаря Грааля станет

излечение смертельно больного юноши. Примечательно, что Анфортас просто унаследовал — а не заслужил по праву — почетный пост хранителя высшего символа духовной жизни. Он, так сказать, не подтвердил должным образом свою роль и, напротив, шел по обычному пути молодости: как случалось со всеми знатными юношами того времени, король умчался однажды от Замка Грааля с боевым кличем «Амор!» — и тут же столкнулся с рыцарем-язычником из страны, лежащей неподалеку от огражденного Райского Сада. Рыцарь отправился на поиски Грааля, а на острие его копья было выгравировано название реликвии. Двое взяли пики наперевес, ринулись друг на друга, и язычник пал, но его копье — со словом «Грааль» на острие — оскопило молодого короля, а отсеченная голова накрепко застряла в разверстой ране.

Такое несчастье, по мысли Вольфрама, призвано было олицетворять разобщенность духа и природы в христианской жизни: отрицание естественного как порочного, навязывание власти якобы сверхъестественной и неминуемое уничтожение как природы, так и истины. Исцелить недужного царя мог, таким образом, только неиспорченный, одаренный от природы юноша, который завоевал бы высшую награду настоящими подвигами и жизненными свершениями в духе непоколебимой возвышенной любви, стойкой верности и искреннего сострадания. Таким героем и стал Парцифаль. На этих страницах нам не удастся исчерпывающе изложить весь ход его символической жизни, но для того чтобы очертить целительную идею поэта, достаточно будет пересказать четыре главных эпизода.

Овдовевшая мать растила благородного юношу в глухом лесу, вдалеке от учтивого общества, но в один прекрасный день, когда в окрестностях их дома оказалось случайно несколько странствующих рыцарей, мальчик оставил мать и сбежал ко двору короля Артура. Уроки хороших манер и рыцарской доблести давал ему старый вельможа Гурнеманц восхищенный многочисленными достоинствами безвестного юноши и мечтавший выдать за него свою дочь. Но Парцифаль счел, что должен вое-

вать жену, а не получить ее просто так, поэтому вежливо отказался и вновь оставшись в одиночестве, уехал прочь.

Он ослабил поводья, и воля природы (то есть его коня) привела юношу к осажденному замку осиротелой принцессы Кондвирамур (coniiuireamour, «хранить любовь»), его ровесницы. На следующий же день Парцифаль геройски спас ее от нападок нежеланного короля, который надеялся путем брака с принцессой приумножить свои феодальные владения. Юная принцесса и стала для рыцаря завоеванной женой; правда, в округе не нашлось священника, который провел бы свадебный обряд. Этой подробностью поэт показывает, что благородная любовь сама собой освящает супружество, а крепчайшими брачными узами становится любящая верность.

Второй рассказ, к которому затем переходит Вольфрам, олицетворяет вершину — но еще не преодоление — человеческой природы, добившейся высочайшей духовной цели, символом которой в средние века был Грааль. Сначала Парцифаль занят обычными для того времени мирскими делами —рыцарскими подвигами и женитьбой —и лишь потом, без всяких предупреждений и сознательных намерений, погружается вдруг в непредсказуемый, непредвиденный мир духовных исканий, олицетворяемых Замком Грааля и чудесно исцеленным королем. Неписаный закон приключений требует, чтобы герой ничего не знал заранее о своих задачах и общих правилах, но совершал все подвиги стихийно, по велениям души. Замок впервые предстает перед Парцифалем как видение: опускается подъемный мост, внутри рыцаря ждет радушный прием, и, когда в тронный зал вносят больного, перед гостем стоит одна задача — просто спросить, чем занедужил король. И в тот же миг рана затянется, бесплодные земли покроются зеленью, а героя-спасителя сделают королем. Однако впервые оказавшийся в замке Парцифаль, хоть и полон сострадания, вежливо хранит молчание, так как Гурнеманц учил, что рыцарю не пристало задавать вопросы. Тревога за свое общественное положение

подавила порывы души — такое случалось в те времена со всеми на свете, и именно это было причиной всех сложностей.

Нам, впрочем, придется изрядно сократить эту долгую и удивительную историю. Перейдем сразу к итогу: не подчинившийся зову души, Женивший себе юный рыцарь — презираемый, униженный, осмеянный изгнанный с позором из окрестностей замка Грааля — был так пристыжен и ошеломлен случившимся, что в сердцах проклял самого Господа за то, что оставался до сих пор жертвой подлого обмана. Долгие годы Парцифаль посвящает одиноким исканиям, чтобы со временен вновь найти замок Грааля и наконец-то исцелить измученного короля Лесной отшельник убеждает рыцаря в том, что Богом на замок наложены особые чары: кто намеренно ищет его, никогда не найдет, и кто однажды потерпел неудачу, второго шанса не получит. Несмотря на это юноша упорно ищет замок, и решимость его опирается на сочувствие к больному королю, который ужасно страдает по его, Парцифаля, вине.

Однако источником окончательной победы, как ни странно, становится не эта упрямая решимость, а верность Кондвирамур и бесстрашие в бою. Непосредственным преддверием главных событий был пышный свадебный пир — множество прекрасных дам и утонченный флирт в живописных беседках, — откуда Парцифаль удирает не только из-за нравственного возмущения. Он по-прежнему хранит в сердце образ Кондвирамур, которую не видел на протяжении всего срока неустанных и трудных поисков, и потому просто не в силах предаваться заманчивым утехам пиршества. Как обычно, он уезжает один, но тут же видит мчащегося навстречу из соседней рощи великолепного рыцаря-магометанина.

Между прочим, к этому времени Парцифаль уже знал, что у него есть старший единокровный брат, мусульманин. Им и был этот незнакомец. Рыцари сошлись и вступили в яростный поединок.

Они сражаются... Они?! Нет, истине в глаза взгляни. Здесь в испытанье боевое, Казалось бы, вступили двое, Но двое, бывшие — одним. Мы их в одно соединим:

Две кровных половины, Два брата двуедины...

Сцена битвы в общих чертах повторяет схватку Анфортаса с язычником, но меч Парцифаля ломается о шлем противника, после чего мусульманин, не желая покрывать себя позором убийства безоружного врага, отбрасывает свой меч. Рыцари садятся рядом, и разворачивается сцена примирения.

В описании этой важнейшей встречи достаточно явно содержится аллегорическое указание на две друг другу противостоящие (в те времена) религии, ислам и христианство — «два брата двуедины». И затем происходит настоящее чудо: стоит братьям прийти к согласию, как возникший перед ними посланец из замка Грааля приглашает к королю обоих — удивительнейшее решение для европейского автора в эпоху крестовых походов! И вот недужный король здоров, Парцифаль седлает коня, а мусульманин, взяв в жены девушку из замка — лишь ее непорочные ладони могут нести символическую чашу, — увозит ее на Восток и правит там в любви и правде, строго присматривая за тем, чтобы, как сказано в тексте, «народ его обрел свои права».

Да, чудесного «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха действительно стоит прочесть! Эта забавная и радостная книга, совершенно не похожая на тяжеловесный опус Вагнера, — одно из величайших, богатейших и самых гуманистичных творений европейского Средневековья. Кроме того, это живой памятник спасительной силе любви во всех ее проявлениях; возможно, это лучшая история любви всех времен и народов.

В завершение позвольте мне обратиться к сочинениям современного автора, Томаса Манна, который уже в первой новелле «Тонио Крегер» (1903 г.) назвал любовь руководящим принципом своего творчества.

Молодой герой этой истории, уроженец северной части Германии, чья мать была романской крови, сознает, что далек от своих голубоглазых и белокурых приятелей не только внешне, но и характером. Он относится к ним с забавной меланхоличной утомленностью интеллектуального сноба, в которой, в то же время, сквозит зависть, смешанная с восхищением и любовью. И вправду, в глубине души он навеки преданым и, прежде всего, обаятельному Гансу и прекрасной Ингеборг, которые непреодолимо влекут его как живые идеалы свежести, красоты и Молодости.

Достигнув совершеннолетия, Тонио, испытывающий тягу к поприщу писателя, уезжает с Севера на Юг и знакомится там с русской девушкой Лизаветой и ее друзьями, высоколобыми интеллектуалами; но среди этих людей, осуждающих и презирающих глупость человеческого рода, У ничуть не легче, чем прежде рядом с объектами их критики. «Заблудший обыватель», как величает себя сам Тонио, покидает второе общество и, оказавшись меж двух миров, отправляет скептичной Лизавет» эпистолярный манифест, где изложено его творческое кредо.

Он понял уже, что правдивое слово, lemotjuste, способно ранить, даже убивать, но долг писателя состоит в том, чтобы беспристрастно наблюдать и называть все своим именем — пусть даже причиняя боль или сражая наповал, ведь писатель обязан показывать именно изъяны я мире нет совершенства, иначе он был бы предметом восхищения, а не любви; возможно, он просто навевал бы скуку. Совершенство всегда лишено индивидуальности (все будды совершенны и потому, говорят, похожи: добившись освобождения от недостатков, они покидают мир и никогда больше не возвращаются; остаются только бодхисаттвы, взирающие на жизнь и дела людей в этом несовершенном мире со слезами сострадания). Обратите внимание на подробность, в которой кроется

важнейшая особенность рассуждений Манна на эту тему: мы любим в других именно изъяны. Писатель призван подбирать таким недостаткам точные определения и посылать их, будто стрелы, точно в «яблочко» — но стрелы эти должны быть насквозь пропитаны целебным бальзамом любви, так как мишень (изъяны) и представляет собой индивидуальное, человеческое, естественное, главное в жизни.

«Я восхищаюсь, — пишет Тонио Крегер своей подруге-интеллектуалке, — холодными гордецами, что шествуют по тропе великой, демонической красоты, но не завидую им [и тут герой романа пускает свою стрелу!]. Ведь если что может сделать из литератора поэта, то как раз обывательская любовь к человечному, живому, обыденному. Все тепло, вся доброта, весь юмор идут от нее, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой в Писании сказано, что человек может говорить языком человеческим и ангельским, но без любви голос его все равно останется гудящей медью и кимвалом бряцающим».

«Эротическая», «пластическая ирония» — так назвал Томас Манн свой принцип, который оставался главной идеей его творчества на протяжении большей части писательской карьеры. Неусыпное око подмечает, разум подсказывает слово, а сердце сгорает от сострадания. Жизнеутверждающая сила любой влюбленной в мир души меряется и проверяется, в конечном счете, умением с сочувствием относиться ко всему что глаз увидел, а ум назвал. «Ибо всех заключил Бог в непослушание –– писал святой Павел к римлянам, — чтобы всех помиловать». Больше тогоможно не сомневаться, что сама жизнь рано или поздно устроит каждому испытание на способность к такой любви — как случилось вскоре самим Томасом Манном, чьи голубоглазые гансы и белокурые ингеборг были превращены Гитлером в каких-то растленных чудовищ...

И как нам быть, случись такая проверка?

«Любовь долготерпит», —сказал святой Павел, а до него Христос говорил: «Не судите, да не судимы будете». Дошли до нас и слова Гераклита: «Для богов все достойно, хорошо и правильно, но человек считает одно верным, а другое ошибочным. Добро и зло едино».

В этом таится глубочайшая, ужасная тайна, которую мы, вполне вероятно, никогда не постигнем, но для того, чтобы пройти испытание, эту мудрость непременно нужно усвоить. Любовь ничуть не слабее жизни. Когда жизнь порождает то, что рассудок именует злом, можно по долгу чести вступить в праведный бой, но если в этой схватке будет забыта идея любви — «Любите врагов ваших!» —утратится и человечность.

Говоря словами американского романиста Готорна, «человек не вправе отрекаться от родства даже с самыми страшными преступниками».

IX. МИФОЛОГИИ ВОЙНЫ И МИРА (1967 Г.)

Примеры мифологий войны по очевидным причинам приводить намного легче, чем мифологий мира, поскольку столкновения между группами людей всегда были делом обычным. Следует признать и тот жестокий факт, что убийство вообще является непременным условием бытия: живое живет живым, пожирает живое, иначе просто не сможет существовать. Многие не в силах смириться с этой ужасной необходимостью, и целый народ, случалось, порождал мифологию о пути к вечному миру. В итоге, однако, такие народы не смогли пережить бойню, которую Дарвин назвал всеобщей борьбой за существование. Чаще в ней побеждали те, кто примирился с правилами жизни в этом мире. Скажем просто и откровенно: свою жизнеутверждающую мифотворческую мудрость потомкам передали именно те племена, народы и нации, которые были воспитаны на мифологиях войны.

Если заглянуть почти на два миллиона лет в прошлое, в те невероятно далекие времена, куда уводят недавние палеологические находки и

открытия, то выясняется, что уже в первобытной Восточной Африке, то обнаружены самые ранние приметы эволюции нашего рода, существовало два принципиально несхожих вида человекообразных. Гоминиды первого типа, открытые профессором Лики и получившие имя синантропов, были травоядными — и давно вымерли. Второй вид, homowhilis, «человек умелый», как назвал его Лики, был плотоядным. Эти убийцыизготовляли оружие и орудия труда, и именно от них, несомненно) произошла современная человеческая раса.

«Человек, — писал Освальд Шпенглер, — животное хищное». Так уж устроен мир. Есть и другой факт: если в целом сравнить хищников с их травоядными жертвами, то первые не только сильнее, но и, как правило, умнее. Гераклит говорил, что война — творец всего великого, («Война — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными» (Цит по изд.: Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. — М.: Наука. — 1989. —С. 202; в пер. А. В. Лебедева)) а Шпенглер много позже отметил: «Кому не хватает смелости быть молотом, тот рано или поздно станет наковальней». Откликаясь на эту неприглядную истину, многие чувствительные натуры считали мироустройство нестерпимым, а всех, кто был лучше приспособлен к жизни, с ужасом называли «злобными», «чудовищными» или «свирепыми», предлагая взамен свой идеал человека: он всегда подставляет другую щеку, хотя царство его, разумеется, не от мира сего. И так уж вышло, что в конце концов в широкой панораме человеческой истории можно выделить две совершенно противоположные формы мифологий: одни с воодушевлением принимают кошмарные условия жизни в бренном мире, а другие — с возмущением отвергают.

Если обратиться к первобытным мифологиям народов, не имеющих письменности, сразу становится заметно, что все они без исключения относятся к первому, утверждающему типу. Лично мне не известен ни один примитивный народ, который бы отвергал и презирал борьбу с дру-

гими народами либо воспринимал военные действия как абсолютное зло. Крупные охотничьи племена неустанно истребляют животных, и, поскольку запасы мяса ограничены, между членами соперничающих групп, притязающих на одни и те же угодья, неизбежно происходят столкновения.

В целом, охотничьи народы — сообщества воинские; больше того, многие из них видят в войнах развлечение и превращают их в браваду. Обряды и мифологии таких племен опираются обычно на идею о том, что смерти вообще нет. Если кровь убитого зверя просочится в почву, то его жизненное начало вернется к Матери-Земле и после родится заново;

иными словами, на следующий год тот же зверь вновь обретет временное тело. По этой причине животные считаются добровольными жертвами, которые дарят тела людям, прекрасно понимая, что охотники проведут все обряды, необходимые для того, чтобы жизненное начало зверя возвратилось к своему источнику. Сходным образом, после военных стычек практикуются особые ритуалы, призванные умиротворить и отправить в страну духов призраки погибших воинов.

Подобные церемонии включают подчас и обряды, смягчающие боевой пыл победителей и их увлеченность войной, поскольку любое умерщвление — хоть животных, хоть людей — всегда считалось чреватым многими опасностями. Во-первых, убитый человек или зверь может отомстить; во-вторых, сам воин или охотник рискует заразиться манией убийства и впасть в неистовство. Таким образом, наряду с обрядами, смягчавшими гнев призраков, порой проводились особые ритуалы для успокоения вернувшихся воинов, чтобы те вновь привыкли к мирной жизни.

Одна из первых книг, которые мне посчастливилось редактировать, была посвящена военным церемониям племени навахо. Книгу сопровождал ряд изображений рисунков на песке (в данном случае точнее было

бы сказать: «картин из пыльцы», так как их рисуют порошком из цветочных лепестков). Это были иллюстрации к преданию о богах войны племени навахо, братьях-близнецах, чей культ возродили в резервациях в годы Второй мировой войны, чтобы пробудить боевой дух у индейцев-новобранцев. Сама легенда носит название «Когда двое пришли к отцу» и рассказывает о путешествии близнецов-героев навахо к дому их отца, Солнца, в поисках колдовства и оружия, которые помогли бы истребить чудовищ, наводнявших в те времена всю Землю.

Основополагающая мысль практически каждой мифологии войны сводится к тому, что враг — чудовище и, уничтожая его, ты защищаешь единственный по-настоящему ценный уклад жизни, которому следует, разумеется, только твой собственный народ. В обрядах посвящения племени навахо юные смельчаки играют роль молодых богов-героев мифологической эпохи, которые в свое время спасли людей, очистив пустоши от ядовитых змей, великанов и прочих кошмаров. Я бы добавил, что одна из главных проблем нашего многострадального общества заключается именно в том, что если молодежи, воспитанной в безопасности мирной домашней жизни, внезапно приходится играть роль воинов, ей практически не предлагают нужной психологической установки. Юноши духовно не готовы исполнять требуемые роли в извечной игре жизни, а заложенные в них, но непригодные в этом случае моральные чувства ничем не в силах им помочь.

Впрочем, не все первобытные народы воинственны. Переходя от кочевых охотников и воинов бескрайних равнин к обосновавшимся в деревнях жителям тропиков, где основой питания были прежде всего растения, мы вправе, казалось бы, ожидать относительно миролюбивой жизни, не требующей воинственного уклона в психологии и мифологии Однако не тут-то было! Как уже говорилось в одной из предшествующих глав, в тропических зонах господствуют очень странные верования основанные на том наблюдении, что в растительном мире юное зарождается в увядшем, живое всходит из погибшего, а новый посев прорастает

над сгнившими остатками прошлогоднего. В согласии с этим преобладающий среди жителей этих районов мифологический сюжет подтверждает представление о том, что жизнь приумножается умерщвлением. По правде говоря, именно в этих уголках мира проводились, а кое-где сохранились и по сей день! — самые ужасные и бессмысленные по своей жестокости ритуалы человеческих жертвоприношений, в основе которых лежит все та же мысль: чтобы пробудить жизнь, нужно убивать. Именно там процветает охота за головами: прежде чем жениться и произвести на свет потомство, юноша должен отнять жизнь у кого-то другого и добыть его голову. На свадьбе трофею воздадут должные почести — но это не презрение к врагу, а почтение к убитому, который передал свою жизненную силу будущим детям победителя.

Что касается мрачной задачи поиска жертв для обрядов продолжения жизни, то самым показательным примером служит цивилизация древних ацтеков, где беспрестанные умерщвления людей на многочисленных жертвенниках считались необходимым условием движения Солнца, хода времени и существования самой Вселенной. Ацтеки постоянно ввязывались в войны с соседями лишь ради того, чтобы добывать сотни и тысячи пленных для жертвоприношений. Воинов в стране ацтеков почитали наравне со жрецами, а принцип битвы —даже сражений между стихиями ветра и земли, воды и огня — лежал в основе устройства Вселенной, высшим олицетворением которой был великий ритуал так называемой Цветочной Войны.

Перенесемся на древнейший Ближний Восток, где впервые возникли сообщества, занимавшиеся севом и жатвой злаков, а после и ранние города. Около восьмого тысячелетия до нашей эры там постепенно обрел четкую форму совершенно новый уклад жизни, основанной теперь не на собирательстве и охоте, а земледелии; главной кормилицей человека стала великая и добрая Мать-Земля. Именно в те времена у тех народов появились обряды плодородия и стали в дальнейшем важнейшими церемониями всех земледельческих цивилизаций: ритуалы посвящались

вспашке и севу, веянию, первой жатве и окончанию сбора урожая. На протяжении примерно тысячи лет такого существования крошечные поселки не нуждались в защите, но уже к шестому тысячелетию, и особенно в пятом, оплотом цивилизованной жизни все чаще становятся городские стены. Так археологи узнали о том, что эти уже сравнительно зажиточные селения миро- и трудолюбивых земледельцев начали ощущать угрозу со стороны воинственных кочевников, а порой и подвергались их опустошительным набегам.

В западной части этой стремительно развивавшейся культурной сферы особенно выделялись два разбойничьих народа: скотоводы-арийцы с лугов Восточной Европы и семиты, вторгавшиеся с юга, из Сирийской пустыни, где паслись овечьи отары и стада коз. Те и другие были воинами совершенно безжалостными, и после их набегов от городов не оставалось камня на камне. Ветхий Завет изобилует рассказами о разграблениях и полном уничтожении мирных селений. Глядите! Со сторожевых башен заметили облако пыли у горизонта. Песчаная буря? Нет, войско кочевников! А это значит, что к утру в черте городских стен не останется ни единой живой души...

На Западе крупнейшим трудом по мифологии войны является, помимо Ветхого Завета, конечно же, «Илиада». Греки стали хозяевами Эгейского моря в конце Бронзового века и начале Железного — примерно тогда же, когда Ханаан наводнили амореи, моавитяне и хабиру, первые евреи. Эти вторжения происходили в одну и ту же эпоху; предания о славных завоеваниях тоже появились практически одновременно. Не очень различались и основные мифологические идеи, пронизывающие оба сборника легенд. «Илиада» и Ветхий Завет изображают нечто вроде двухэтажного мира, где внизу находится Земля, а над нею — мир божественный. На нижнем этаже ведутся войны (наши побеждают чужих), но ходом сражений руководят свыше. В «Илиаде» многочисленные боги пантеона примыкают к противоборствующим сторонам, поскольку там, наверху, тоже царят раздоры: Посейдон идет против воли Зевса, Афина соперничает с

Афродитой, а у Зевса не ладятся отношения с Герой. Удача земных армий зависит от исхода очередной распри наверху. Вообще говоря, одной из самых любопытных особенностей «Илиады» является то, что сочинение во славу греков оказывает больше почестей и уважения троянцам. Даже главным духовным героем шедевра становится благородный троянский воин Гектор, рядом с которым Ахилп выглядит мелким головорезом. Трогательный эпизод из шестой книг» когда Гектор прощается перед битвой со своей женой Андромахой и маленьким сыном Астианактом (лежащим, «подобно звезде лучезарной» на руках кормилицы), — несомненно, венец всей поэмы, вершина человечности, нежности и подлинного мужества.

«Муж удивительный, — рыдает добродетельная жена, —губит тебя твоя храбрость! [...] Скоро тебя аргивяне, вместе напавши, убьют!» Величественный супруг отвечает:

Все и меня то, супруга, не меньше тревожит; но страшный Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежей троянкой, Если, как робкий, останусь здесь я, удаляясь от боя. Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным, Храбро всегда меж троянцами первыми биться на битвах, Славы доброй отцу и себе самому добывая!

И когда малыш в страхе отшатывается от отцовского сверкающего шлема с пучком конского волоса на гребне, Гектор громко смеется, снимает шлем, кладет на землю и лишь потом целует сына, качает на руках и обращается к Зевсу с молитвой за него — прежде чем уйти навстречу предначертанной смерти.

Можно вспомнить и великолепную трагедию Эсхила «Персы» — какое выдающееся произведение появилось в Афинах спустя каких-то два десятилетия после того, как сам Эсхил сражался с вторгшимся на остров Саламин персидским флотом! Действие трагедии разворачивается в Персии, где царица и придворные обсуждают возвращение потерпевшего

поражение в той битве Ксеркса. Текст написан от лица персов и ясно показывает, с каким почтением и сопереживанием могли относиться древние греки даже к заклятым врагам.

Если же перенестись из Афин в Иерусалим, от «Илиады» к Ветхому Завету, перед нами предстает мифология с совсем иным верхним этажом и совершенно иной высшей силой. Это уже не многоликий пантеон, где боги благосклонны ко всем участникам войны, а целеустремлённое единственное божество, чья милость навеки закреплена только за одной стороной. И запечатленное в тексте отношение к врагу, кем бы он ни был, разительно отличается от греческих понятий. По правде говоря, неприятеля вообще не считают человеком, и война с ним — не благородное «иду на Вы», а захват какой-то вещи. Я подобрал несколько характерных отрывков, которые все вы, не сомневаюсь, легко узнаете, но в рамках нашей темы они помогут понять, что мы тоже вскормлены одной из самых жестоких военных мифологий на свете. Начнем с «Второзакония»:

Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя,

И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их: тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их.

И не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего;

Ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя.

Но поступайте с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем.

Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле (7:1—б).

Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир.

Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе.

Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его.

И когда Господь, Бог твой, предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча;

Только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь, Бог твой.

Так поступай со всеми народами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.

А в городах сих народов, которых Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души;

Но предай их заклятию: Хеттеев, и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев и Евеев, и Иевусеев, как повелел тебе Господь, Бог твой (20: 10—17).

Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил,

И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться;

Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства (6:10—12).

За «Второзаконием» следует самая воинственная во всем Ветхом Завете «Книга Иисуса Навина», и наиболее известной частью этой книги является предание о падении Иерихона. Раздался звук трубы, рухнули городские стены, а затем «предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. [...] А город и все, что в нем, сожгли огнем; только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу Дома Господня» (6:20,23). Следующим был взят город Гай: «Так поражали их, что не оставили ни одного из них, уцелевшего или убежавшего. [...] Падших в тот день мужей и жен, всех жителей Гая было двенадцать тысяч» (8:22,25). «И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю лежащую у гор, и всех царей их; никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь, Бог Израилев» (10:40).

Трудно поверить, что этот тот самый Господь Бог, который, как часто твердят нынешние голуби мира, учил: «Не убий!»

Но и это далеко не всё. Далее, в последней, двадцать первой главе «Книги Судей» рассказывается, как сыны Вениамина раздобыли себе жен. В пятой главе той же книги приводится первая библейская песнь —

воинственная молитва Деворы. В «Книгах Царств» описаны совершенно чудовищные кровавые бани, которые Илия и Елисей учинили, разумеется во имя Яхве. Затем начались реформы Иосии (4 Цар. 22—23), но вскоре после них, в 586 г. до н. э., сам Иерусалим был осажден и взят царем Вавилонским Навуходоносором (4 Цар. 25).

Тем не менее где-то в вышине, за гранью всей этой жути, парит прекрасный идеал окончательного всеобщего мира, который стал манящей мечтой всех крупных западных мифологий войны со времен Исайи. Вот, например, очаровательный — и часто цитируемый — образ, очерченный в конце 65-й главы книги этого пророка: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и для змея прах будет пищею; они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь». Впрочем, несколько ранее тот же Исайя исчерпывающе пояснил, как выглядит его идеал мирной жизни на самом деле:

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе.

И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их.

Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся.

Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтоб украсить место святилища Моего, — и Я прославлю подножие ног Моих.

И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева (Ис. 60:10—14).

Странно, непривычно и страшно было услышать эхо подобных мыслей, раскатившееся на торжествах в честь недавней победы Израиля, чей блицкриг продолжался всего шесть дней и закончился уже ко дню отдохновения. В отличие от древнегреческой, эта мифология по-прежнему жива и деятельна. Для полноты картины следует добавить, что у арабов, разумеется, тоже есть одобренная «сверху» воинственная мифология. По преданию, этот народ — потомок семени Авраамова, его первенца Измаила. Больше того. Коран подтверждает, что именно Авраам с Измаилом еще до рождения Исаака отстроили в Мекке священную Каабу — главную святыню и объединяющий символ всего арабского и исламского мира. Арабы чтят тех же пророков, что и евреи: Авраама Моисея и, особенно, Соломона. Иисуса они тоже считают пророком, но главным для мусульман является, конечно, Мухаммед, а он был, помимо прочего, выдающимся воином. Именно Мухаммед дал исламу фанатичную мифологию нескончаемой войны во имя Аллаха.

Идея джихада, «священной войны», основана на определенных строках Корана, смысл которых в эпоху Великих Завоеваний (VIII—X вв) истолковывался как святая обязанность каждого взрослого, вменяемого и годного к войне мужчины-мусульманина. «Предписано вам сражение а оно ненавистно для вас. И может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, — поистине, Аллах знает, а вы не знаете!» (Сура 2:212') В комментарии к этим стихам сказано: «Сражаться за Правое Дело — высшее милосердие. Есть ли иной дар драгоценнее твоей жизни?» Все земли, не относящиеся к «просторам ислама» (дар аль-ислам) следует завоевать, и потому их именуют «простором войны» (дар аль-харб). Записаны и слова Пророка: «Я велел сражаться, пока не свидетельствуют люди, что нет иных богов, кроме Бога, а Мухаммед — Пророк Его». В соответствии с этим каждый мусульманский правитель обязан был ежегодно проводить по меньшей мере одну военную кампанию против неверных, если же война по тем

или иным причинам не складывалась, достаточно было просто содержать опытную армию, готовую к джихаду.

Особое место в этом мировосприятии занимают евреи, «народ писания», как называет их Коран. Именно они первыми услышали Слово Бога, но затем, по мнению Мухаммеда, многократно изменяли Ему, отступали от истинной веры, отвергали Господа и даже убивали Его пророков. Коран изобилует обращениями и угрозами в адрес евреев, но я процитирую только один пример. В тексте слово «Мы» подразумевает Бога, «вы» — евреев, а «писание» — Библию:

И постановили Мы для сынов Исраила в писании: «Совершите вы беззаконие на земле дважды и вознесетесь великим превознесением».

И когда пришло обещание о первом из них. Мы воздвигли на вас рабов Наших, обладающих сильной мощью, и они проникли между их жилищ, и было обещание исполненным. Потом Мы вернули вам поворот [успеха] против них и помогли вам богатством и сынами и сделали вас более обильными в пособниках.

Если вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если творите зло, то для себя же. А когда пришло обещание о последнем, ...чтобы они причинили зло вашим ликам и чтобы вошли они в место поклонения, как вошли первый раз, и уничтожили бы все, над чем возвысились.

Может быть. Господь ваш помилует вас, а если вы вернетесь, то и Мы вернемся и для неверных сделаем геенну тюрьмой (Сура 17:4—8).

Так выглядят две мифологии войны, которые по сей день противоборствуют на взрывоопасном Ближнем Востоке и могут когда-нибудь погубить всю планету.

Вернемся, однако, опять в прошлое, ибо продолжением его является наше настоящее. Библейский идеал всесожжения во имя Яхве, сводящийся к избиению всего живого в захваченных городах, представляет собой еврейский вариант общего обычая древних семитов — моавитов, амореев, ассирийцев и остальных. Однако примерно в середине VIII в. до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар III (ок. 745—727 гг. до н. э.) сообразил, похоже, что если поголовно истреблять всех жителей каждой захваченной области, то порабощать будет, собственно, некого. С другой стороны, если оставлять живых, население рано или поздно вновь объединится и придется подавлять восстания. И Тиглатпаласару пришла в голову мысль переводить покоренные племена на новое место: взяв очередной город, ассирийцы обрекали его жителей на тяжкий труд вдали от родины, а освободившееся жизненное пространство населяли чужеземцами. Идея оказалась действенной, многие ее переняли, и спустя пару столетий на Ближнем Востоке не осталось, пожалуй, ни единого оседлого народа — все постоянно переселялись с места на место. Когда завоевали Израиль, его жителей тоже не уничтожили, как случилось бы всего полвека ранее, а увели прочь. Территорию прежнего царства евреев занял другой народ, получивший позже имя самаритян. То же произошло и в 586 году, когда взяли Иерусалим: его жителей переселили в Вавилон, о чем поется в знаменитом 137-м псалме:

При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.

На вербах посреди его повесили мы наши арфы.

Там пленящие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселия: «пропойте нам из песней Сионских».

Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя.

Прильни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.

Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».

Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!

Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!

Но затем вся мифология Ближнего Востока совершенно неожиданно изменилась до неузнаваемости. Случилось это после внезапного появления и блестящих побед персов-ариев над всеми, кроме греков, народами древнего мира. Царство ариев простиралось от Босфора и верховий Нила до самого Инда. В 539 г. до н. э. Вавилон пал под натиском Кира Великого, чьи представления об империи вовсе не были связаны с идеями резни или переселений. Он, напротив, вернул все народы на родные земли, восстановил в правах прежние верования и обычаи, а провинциями правил силой подчиненных властителей из числа местных жителей. Так он стал первым настоящим Царем среди царей, и это гордое звание могущественных персидских монархов стало со временем титулом самого Господа Бога народа Израилева, которому Кир вернул святой город и позволил заново выстроить Храм.

В «Книге пророка Исайи» этого язычника превозносят почти как Мессию, величают «помазанником» Яхве, а деяния его рук считают свершениями десницы самого Бога, вернувшего своим людям священную родину. И, если я правильно понял соответствующую главу, вовсе не персы, а сам избранный народ якобы начал в ту эпоху править миром во имя Господа (Ис. 45:14—25).

Однако персидская мифология связана с именем Заратуштры (греч.: Зороастр), а не Исайи. Поскольку зороастрийская религия оказала существенное влияние не только на иудаизм, но и на все развитие христианства, полезно ненадолго остановиться на ней, прежде чем мы перейдем к примерам мифологий мира.

По воззрениям зороастрийцев, Творцом Мира является бог правды я света, Ахурамазда. Созданный им мир был изначально совершенен, но днгро-Майнью, противодействующий бог зла, тьмы и лжи, наполнил его разнообразными злодеяниями и погрузил Вселенную во мрак неведения, так что ныне происходит непрестанное сражение между силами света и тьмы, истины и обмана. По мнению персов, это затрагивает не отдельный народ или племя, а космические, вселенские силы, и потому каждый человек, независимо от происхождения, должен по собственной воле принять сторону добра или зла. Выбирая добро, он мыслями, словами и делами вносит вклад в возрождение исходного совершенства мира; в противном случае он сам себе вредит и попадет после смерти в соответствующий его прегрешениям круг ада.

Когда приблизится день окончательной победы добра, силы тьмы бросятся в самую отчаянную схватку и наступит пора всеобщих войн и страшных катаклизмов, после чего явится спаситель Вселенной — Саошьянт. Ангро-Майнью и его демоны будут наголову разбиты, мертвые воскреснут в сотканных из незапятнанного света телах и начнется вечная эпоха мира, чистоты, счастья и совершенства.

С точки зрения древнеперсидских царей, именно они осуществляли на Земле волю и правое дело Владыки Света. По этой причине в многонациональной и разнородной по культуре Персидской империи — а она была первой настоящей империей в мировой истории — царил всеобщий и одобренный религией империалистический порыв. Считалось, что, действуя во имя правды, добра и света, персидский Царь Царей рано или поздно станет вождем всего человечества и возродит всемирное

благо. Идея выглядела очень привлекательной и быстро распространилась среди всех монархов-завоевателей. В Индии, например, под ее влиянием возник мифический идеал Чакравартина, всеобщего царя, чья просветленная личность принесет людям мир и процветание; этот образ Можно обнаружить в царских символах первого буддистского монарха Ашока (ок. 262—248 гг. до н. э.). Ши Хуанди (221—207 гг. до н. э.), первый император объединенного Китая после бурной эпохи «Сражающихся Царств», утверждал, что правит по воле Небес и в согласии с неясными законами.

Восторженный автор «Книги пророка Исайи» (с 40-й по 55-ю главу был современником Кира Великого и живым свидетелем того, как персы вернули изгнанному народу Иерусалим. Теперь нас не должно удивлять, что в его пророчествах отчетливо заметно влияние зороастрийских идей: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: [...] Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (45:1; 7). Именно в этих главах, написанных так называемым «Вторым Исайей», встречаются первые восславления Яхве уже не просто как величайшего и могущественнейшего бога среди божеств, но как единственного Бога на свете, в ком могут найти спасение не только иудеи, но и язычники: «Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного» (45:22). Прежде, до вавилонского пленения, еврейские пророки видели в Мессии просто идеального царя на престоле Давида, «чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века» (Ис. 9:7). Но после возвращения взгляды меняются, и отразилось это, в частности, в поздних апокалиптических текстах александрийской эпохи — например, в «Книге пророка Даниила» (7:13— 27). Возникают представления о Спасителе, который в конце истории придет царствовать над «всеми народами, племенами и языками». Больше того, «многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

Не может быть сомнений во влиянии зороастрийской эсхатологии на такие идеи, как конец света и воскрешение усопших. В ессейских свитках Мертвого моря, относящихся к последнему веку до нашей эры, это влияние сквозит в каждой строке. По правде сказать, та эпоха сама по себе была настолько тревожной, что всякий, кто был знаком с древними персидскими представлениями, вполне мог ожидать конца времен и пришествия Саошьянта. Раскол произошел даже в Иерусалиме, где за господство боролись два соперничающих направления: сторонники греческих взглядов и хасидеи, ортодоксальные «благоверные», преданные старому закону. В Маккавейских книгах рассказывается о том, как первые отправились к греческому императору Антиоху, получили соответствующее разрешение и «построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому, и установили у себя необрезание, и отступили от святого завета, и соединились с язычниками и продались, чтобы делать зло» (1 Мак., 1:14—15). После этого борьба в священном городе разгорелась с новой силой и достигла вершины, когда греки, поддержавшие притязания бунтующих приверженцев эллинизма на посты среди высшего жречества, разграбили Храм и отдали приказ ставить по всей стране языческие жертвенники. Именно тогда, в 168 г. до н. э., в селении под названием Модин, жрец Маттафия с пятью сыновьями (Маккавеи) убили не только первого же иудея, приблизившегося к языческому алтарю, чтобы принести жертву «по повелению царя» (1 Мак. 2:23), но и греческого чиновника, прибывшего воздвигнуть святилище. Впрочем, затем сами Маккавеи безрассудно присвоили себе права на царствование и верховное жречество, которых не унаследовали. В последующей борьбе за власть семейство ввязалось в целую череду отвратительных предательств и подлых убийств. Возмущенные таким бесчестием, фарисеи, хасидеи и прочие секты подняли восстание, однако оно было с невероятной жестокостью подавлено правившим тогда Александром Яннаем, который за одну ночь распял восемьсот врагов, но прежде умертвил прямо у них на глазах жен и детей. Царь лично наблюдал за казнью, пил при этом вино и открыто развлекался с наложницами. «И столь велик был охвативший народ ужас, — писал еврейский историк Иосиф Флавий в

своем повествовании об этом злодействе, — что на следующую ночь 8 тысяч противников царя покинули Иудею и пребывали в изгнании до самой его смерти».

Предполагается, что именно это событие объясняет находку в пустошах апокалиптической общины Кумран и свитков Мертвого моря. Так или иначе, жители селения ожидали конца света и с полной серьезностью готовились его пережить, чтобы горстка народа Божьего могла вечно осуществлять свое предназначение. В самих себе они видели, похоже, столь доблестную армию, что намерены были с Божьей помощью покорить и очистить от скверны весь мир. Началом грядущей сорокалетней войны «сынов Света» с «порождениями Тьмы» (вновь вспоминаются зороастрийские идеи!) должно было стать шестилетнее сражение с ближайшими соседями — моавитами и египтянами; затем, после года отдохновения, войну следовало продолжить рядом кампаний в более далеких землях. На трубах и знаменах «воины Завета» собирались начертать воодушевляющие и весьма им льстящие девизы: «Избранники Господа», «Князья Божий», «Вожди Отцов Братства», «Сотня Господня», «Длань Войны против Заблудшей Плоти», «Божья Истина», «Божья, Справедливость», «Господня Слава» и так далее. А тем временем увы! — в Иерусалиме за престол боролись два сына Александра Янная одного из них в 63 г. до н. э. радушно пригласили в Рим.

Интересно отметить, что в ту эпоху среди евреев разных религиозных воззрений господствовало, судя по всему, общее предчувствие не минуемого конца света: для приверженцев зороастризма он наступал к грядущим приходом спасителя Саошьянта, для вернувшихся из пленения иудеев — с предначертанным появлением Помазанника, Мессии Погибнуть суждено было всем народам, даже от самих израильтян осталась бы лишь горстка. В этой атмосфере нависшей беды и зародилось христианство. Иоанн Предтеча, крестивший на Иордане, чуть выше по течению от общины «воинов Завета» на Мертвом море, тоже ждал Спасителя и готовил ему стезю; именно к Иоанну и пришел Иисус, который затем сорок

дней постился в пустыне и вернулся с собственной версией всеобщего апокалипсиса.

Чем провозвестие Христа Иисуса отличалось от идей живших совсем неподалеку кумранских общинников? Главное различие состоит, пожалуй, вот в чем: «воины Завета» предвкушали сражение Сынов Светас порождениями Тьмы и, следовательно, готовились к войне, а благая весть Иисуса утверждала, что битва уже закончена: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего своего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь на обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мат. 5:43—45). На мой взгляд, именно в этом кроется разница между мифологиями войны и мира.

Чуть дальше в тексте натыкаешься, однако, на озадачивающие слова; «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; Я кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (М»Т. 10:34—37). Повторный отзвук этих высказываний раздается в Евангелии от Луки: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14:26).

Ключ к пониманию смысла этих утверждений таится, несомненно, в заключительной строке и последующих стихах из обоих Евангелий: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» Мат. 10:38), «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (Лук. 14:27). Далее у Матфея: «...пойди, продай

имение твое и раздай нищим...» (19:21), а ранее: «иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (8:22).

Идеалом этого учения является аскетическая, полная отрешенность от забот обычной, мирской жизни (семьи, общества и всего прочего), когда человек предоставляет «мертвым» — иными словами, тем, кого принято считать живыми, — «погребать своих мертвецов». Таким образом, раннехристианское мировоззрение мало чем отличалось от буддийского или джайнского и тоже было «отшельническим». Помимо прочего, эти взгляды целиком меняют систему отсчета всей апокалиптической панорамы: из исторического будущего она переносится в сферу психологического настоящего. Конца света и прихода Светоча не следует ждать когда-то в грядущем; их нужно ощутить прямо сейчас, в сокровенном уединении собственной души. Подтверждением этого толкования становятся последние строки гностического «Евангелия от Фомы»:

«Ученики его сказали ему: В какой день царствие приходит? (Иисус сказал:) Оно не приходит, когда ожидают. Не скажут: Вот, здесь! — или: Вот, там! — Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его»(117).

Больше того, упоминание Иисуса о принесенном мече ни в коей мере не подразумевает обычное боевое оружие, что очевидно отражают обстоятельства поимки в Гефсиманском саду: «И когда еще говорил Он, бот, Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и Ильями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подошед к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли, и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященников, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, поднявшие меч, мечем погибнут» (Мат. 26:47—52).

Достаточно красноречиво, не правда ли? Однако отважный владелец меча, чье имя — Симон Петр — названо в Евангелии от Иоанна (18:10), был далеко не последним из приверженцев Иисуса, кто предал своего учителя столь же подло, как Иуда. Начиная с четвертого века, эпохи побед Константина, основанная на камне все того же славного имени Церковь покоряла мир главным образом силой. В разгар Средневековья при могущественном папе Иннокентии III (1198—1216 гг.), яростные взмахи петрова меча достигли своего головокружительного апофеоза в потрескивающих кострах Альбигойского крестового похода, когда огню предавали еретиков-катаров — самозваных «Чистых», открыто отказавшихся от оружия во имя мирной жизни подвижников.

Аскетическое отречение от мира, обыденной жизни и даже самого желания жить можно считать, таким образом, самой известной мифологией мира из числа когда-либо предлагавшихся человечеству. Судя по историческим обстоятельствам ее первоначального провозвестия, возникала она — точнее, начала казаться привлекательной — как ответ на всеобщее ощущение безнадежности и хаоса. Прежние мифические представления означали большую войну, святую битву не на жизнь, а на смерть, которая окончательно утвердит в конце истории царство вечного мира; это, однако, была вовсе не мифология мира, а, напротив, призыв к войне, войне непрестанной и, по существу, бесконечной... Но, по иронии судьбы, стоило аскетической христианской вести сорваться с губ Иисуса и достичь ушей его ближайших последователей, как она мгновенно — и уже навсегда — превратилась в очередную доктрину Святой Войны, джихада, крестового похода. Поэтому сейчас мы в общих чертах обсудим и сравним идеалы и судьбы других широко известных аскетических мифологий мира.

Самой суровой и непоколебимо последовательной среди них является, несомненно, индийский джайнизм, проповедник которого, Махавира, был современником Будды. К тому времени учение Махавиры уже имело

значительный возраст, а сам он был лишь последним из долгой, уходящей в доисторические эпохи, череды джайнских учителей, именуемых тиртханкарами, «создающими переправу». По мнению этих мудрецов, мечтающий о свободе от перерождений не должен убивать и причинять боль ни одной живой твари, а также питаться мертвой плотью. Он не вправе даже пить воду ночами, так как может случайно проглотить какое-нибудь насекомое. Помимо того, следует приносить обеты, ограничивающие число сделанных за день шагов, так как любой из них ставит под угрозу многочисленных жуков, червяков и букашек. Лесные отшельники-джайны не расставались с метелочками и, прежде чем сдедать шаг, подметали перед собой землю. В Бомбее и сегодня можно увидеть джайнских монахов, которые, точно хирурги, носят на лице марлевые повязки, чтобы не вдохнуть ненароком какую-нибудь мелкую живность. Запрещается, кроме того, есть сорванные плоды — джайн обязан ждать, пока фрукты сами не упадут с веток; живые растения вообще нельзя резать ножом. Вполне понятно, что цель монаха-джайна — скорейшая гибель, хотя она окажется бессмысленной, если его воля к жизни угасла не до конца. Если перед смертью у монаха осталась хотя бы толика желания жить, радоваться и беречь себя, он, без сомнений, переродится и вновь попадет в этот ужасный мир, где каждый поневоле губит и мучает живое.

В своем исходном виде буддизм был очень тесно связан с сектой джайнов, но коренным образом отличался от джайнизма смещением акцента с буквального угасания самой жизни на угасание эго. Избавляться следует именно от мыслей «я» и «мое», побуждения защищать себя, свое имущество и жизнь; главное внимание уделяется, таким образом, психологическому, а не физическому. Несмотря на это, легко убедиться, что буддийский закон совершенной добродетели, соблюдаемый до последней буквы, тоже способен привести в конце концов к полному отрицанию жизни.

Существует, например, исполненная благочестия буддийская легенда о царе Вессантаре, у которого правитель соседнего царства попросил на время великолепного белого слона. Дело в том, что белые слоны собирают над собой облака, а те приносят дождь. Бескорыстный царь Вессантара без раздумий отдал слона соседу, но люди возмутились тем, что их владыка совсем не заботится о благосостоянии народа, и изгнали царя вместе с его родней из страны. Царское семейство уехало на повозках, но, стоило обозу войти в лес, как появившиеся невесть откуда брамины Допросили у Вессантары коней и телеги в придачу. Совершенно бескорыстный царь, лишенный ощущений «я» и «мое», отдал браминам весь ^арб, и дальше его семья шла по опасному лесу пешком. Вскоре они встретили какого-то старика-брамина, и тот попросил отдать ему детей. Мать попыталась было «эгоистично» возразить, но царь, лишенный ощущений «я» и «мое», с готовностью передал детей старику — между прочим, в рабство. Затем у царя попросили жену, и с ней он, разумеется тоже без сожалений расстался.

Эта притча показывает, что имел в виду Иисус, когда призывал идти за ним и возненавидеть отца и мать, сына и дочь, а притом и саму жизнь свою, «и кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет [...] взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мат. 5:39—40). В рассказанной буддийской истории все, впрочем, кончается хорошо, поскольку те брамины были на самом деле богами, устроившими царю проверку, а отнятых детей, жену и пожитки благополучно провожали во дворец — почти как в библейском предании об Аврааме, чей жертвенный нож, занесенный над Исааком, был остановлен десницей Бога, который просто испытывал своего слугу. Тем не менее обе легенды с равной остротой поднимают вопрос о том, где в подобном благочестивом рвении кончается добродетель и начинается порок. Насколько далеко, скажем, может зайти убежденный пацифист, когда защищает исключительно свою собственную духовную-предуховную чистоту? В наше время эта проблема вовсе не умозрительна.

Перенесемся, однако, еще восточнее, в Китай и Японию, где существовал свой комплекс мифологий мира — в частности, философии Лао-цзы и Конфуция. Многие назвали бы основные положения этих мифологий романтичными, поскольку сводятся они лишь к тому, что в природе царит всепроникающее духовное созвучие, упорядоченное взаимодействие жизни и всего живого, истории и исторических институтов, двух начал, или принципов, — деятельного и бездеятельного, светлого и темного, горячего и холодного, небесного и земного, ян и инь. Сила ян господствует в юном, а инь усиливается к старости. Ян властвует летом, на юге и днем; инь — зимой, на севере и ночью. Их чередование во всем сущем составляет Путь Бытия, Дао. Добиваясь гармонии Дао,подчиняя ему свое время, свой мир, самого себя, человек достигает высшей цели жизни и обретает покой, то есть ощущение согласия со всем вокруг.

Самые известные и вдохновенные положения даосской философия входят в небольшой, состоящий всего из восьмидесяти одной строфы текст под названием «Дао дэ цзин» — «Книга добродетели Дао», приписываемый легендарному длиннобородому мудрецу Лао-цзы, «старому ребенку». В тридцатой строфе этой книги сказано: Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. Искусный [полководец] побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается осуществить насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен. Когда существо, полное сил, становится старым, то это называется отсутствием Дао. Кто не соблюдает Дао, погибнет раньше времени.

И вслед за тем, в тридцать первой строфе:

Хорошее войско — средство, [порождающее] несчастье, его ненавидят все существа. Поэтому человек, следующий Дао, его не употребляет.

Во время мира благородный предпочитает уважение, а на войне применяет насилие. Войско — орудие несчастья, оно не является орудием благородного. Он употребляет его только тогда, когда к этому его вынуждают. Главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие, а в случае победы — себя не прославлять. Прославлять себя победой — это значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочувствия в стране.

Тем не менее всему миру хорошо известно, что и долгая история Китая определялась, главным образом, периодами правления безжалостных деспотов, которые перемежались веками беспорядочных войн. Во всяком случае, начиная с эпохи Сражающихся Царств (453—221 гг. до и. э.) перемещения огромных профессиональных армий оказывали на китайскую политику влияние намного большее, чем «Добродетель Дао» в Духе Лао-цзы. Именно из тех невероятно бурных времен дошли до нас Два весьма хладнокровных, сугубо макиавеллистских труда, посвященных искусству достижения и сохранения власти. Первым является так называемая «Книга правителя области Шан», а вторым —трактат Сунь-Чзы «о военном искусстве». Позвольте сначала привести короткий отрывок из Сунь-цзы:

Война — это большое дело для государства, это вопрос жизни или смерти, путь существования или гибели. Это основное положение необходимо твердо знать.

Поэтому войну определяют пятью факторами; ее сравнивают [семью] расчетами и определяют [следующими] положениями: первое —. [моральный] путь (Дао), второе — [погода,] небо (Тянь), третье — [местность,] земля (Дм), четвертое — полководец (Цзян), пятое — [доктрина,] закон (Фа).

Путь (Дао) — это когда мысли народа одинаковы с мыслями правителя. Поэтому народ готов вместе с правителем умереть или жить; когда народ не боится риска и не знает страха.

Небо — это свет и мрак, холод и жара; это порядок времени.

Земля — это отдаленность и близость, непроходимость и проходимость, широкое и узкое, смерть и жизнь.

Полководец — это мудрость, справедливость, гуманность, храбрость, строгость.

Закон — это воинский порядок и дисциплина, командование войсками и снабжение.

Эти пять правил известны каждому полководцу, но побеждает тот, кто усвоил их; тот, кто не усвоил, не побеждает.

Обратимся теперь к «Книге правителя области Шан»:

...государство добивается процветания [при помощи двух средств]:

земледелием и войной.

...Если в государстве есть десять [паразитов]: поэзия, музыка, добродетель, почитание старых порядков, человеколюбие, бескорыстие, красноречие, острый ум, правитель не сможет найти ни одного человека, которого он смог бы использовать для обороны или [наступательной] войны.

...Если же государство избавится от этих десяти [паразитов], то враг не посмеет явиться, а если он и явится, то непременно будет отброшен.

...На государство, которое любит силу, трудно напасть, а государство, на которое трудно напасть, непременно добьется процветания. Легко нападать на страну, где поощряют красноречие, а государство, на которое легко нападать, непременно окажется в опасности.

...Когда государство в беде, а правитель в тревоге, то, если даже советчиков будет столь [много], что из них можно группировать сотни, все равно бесполезно [пытаться] устранять опасность. Действительно, государство может очутиться в беде, а правитель оказаться в тревоге, когда имеется сильный противник или другое большое государство.

...Земледелие, торговля и управление — три основные [функции] государства. Они порождают шесть [паразитов], которые [в свою очередь] вредят этим трем [функциям]: стремление беспечно жить на склоне лет, бездумную трату зерна, пристрастие к красивой одежде и вкусной еде, стремление к роскоши, пренебрежение своими обязанностями, стяжательство. Если эти шесть [паразитов] найдут для себя почву, [государство] будет непременно расчленено.

...В государстве, где порочными управляют, [словно] добродетельными, неизбежна смута, и оно непременно будет расчленено. В государстве, где добродетельными управляют словно порочными, воцаряется порядок, и оно непременно станет сильным.

...Если наказания суровы, а награды незначительны, — правитель любит народ, и народ готов отдать жизнь за правителя. Если же награды значительны, а наказания мягки, — правитель не любит народ, и народ не станет жертвовать жизнью ради правителя.

И в завершение:

...Если [во время войны] страна совершает действия, которых противник устыдился бы, то она будет в выигрыше.

Индия также прошла длительную историю подобных рассуждений, вторые определили практические искусства правления и военных Действий. Те, кто читает сейчас «Бхагавад-гиту», забывают порой, что этот религиозный трактат является частью шестой книги крупнейшего героического эпоса всех времен — «Махабхараты» — «Великого сказания о войне потомков Бхараты». Я же приведу несколько показательно фрагментов из двенадцатой книги эпоса:

Царь, который знает свои силы и имеет большое войско, должен бодро и отважно, не раскрывая своих замыслов, отдать приказ выступить против царя, который слабее его, либо не имеет союзников и друзей либо уже воюет с кем-то другим и, следовательно, ослабел; но прежде ему нужно позаботиться о защите собственной столицы. [...]

Царь не должен подчиняться более сильному царю. Даже если он слаб ему следует стараться свергнуть сильнейшего и, добившись этого править самому. Сильнейших сбрасывают с престола оружием, пожарами и тайными отравителями, а также сеянием раздоров среди его свиты и слуг. [...]

Царь опирается на казну и войско. Его войско, в свою очередь, опирается на казну. Войско — источник всех его религиозных достоинств. Религиозные достоинства, в свою очередь, — опора его народа. Казну не пополнить, не притесняя подданных. Итак, можно ли содержать войско без притеснения? Значит, в трудные времена царь не совершает греха, притесняя подданных ради пополнения казны. [...] Власти над обоими мирами — и этим. и тем — добиваются богатством, а также правдой и религиозными достоинствами. Человек без богатства скорее мертв, чем жив. [...]

В неблагоприятные времена следует терпеть врага на своей шее, но при первой благоприятной возможности его нужно сбросить и разбить, как глиняный горшок о камень. [...]

Царь, желающий благоденствия, должен без колебаний убить сына, брата, отца или друга, если тот становится помехой. [...]

Не нанося другим опасных ран, не совершая жестоких деяний, не убивая живое, как рыбак губит рыбу, благоденствия не завоевать. [...]

Нет деления на врагов и друзей. Люди становятся друзьями или врагами только по воле обстоятельств. [...]

Любое дело нужно доводить до конца. [...] Царь должен опустошать вражеское царство, убивая его жителей, разрушая дороги, сжигая Я разваливая дома.

и напоследок:

Сила выше правды. Сила рождает правду. Сила — опора правды, как земля — опора живого. Правда должна следовать за силой, как дым за ветром. Правда сама по себе — бессильна. Правда держится за силу, как лиана за ствол дерева.

Вообще говоря, сама «Бхагавад-гита» как часть этого воинского эпоса является по своему содержанию наставлением, призванным ободрить юного царевича, которого перед битвой одолевают сомнения и муки совести. Смысл сводится к тому, чтобы перед резней освободить его ум от чувства вины и сожаления:

Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится [...] Неуничтожимо То, чем этот мир распростерт; постигни:

Непреходящее уничтожимым сделать никто не может. [...]

Не сечет его меч, не опаляет пламя,

Не увлажняет вода, не иссушает ветер.

Неуязвим, неопалим Он, неиссушим, неувлажняем;

Вездесущий, Он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. [...] Неуязвим воплощенный всегда в этом теле;

Так не скорби ни о каких существах...'

Иными словами, именно это составляет, по распространенному на Востоке убеждению, незыблемую основу любого мира. В сфере действия — то есть самой жизни—мира нет и быть не может. По этой причине формула достижения мира заключается в том, чтобы поступать как Должно, но без привязанности к исходу:

В йоге устойчивый, действуй, оставив привязанность!

В неуспехе, удаче будь равным; равновесьем именуется йога.

Ибо дело значительно ниже, чем йога мудрости;

Ищи прибежища в мудрости; плодами прельщенные — жалки. Здесь покидает мудрец и грехи и заслуги;

Поэтому предайся йоге, йога — в делах искушенность. Мудрые люди, покинув плоды, рожденные делом, Идут, расторгнув узы рожденья, в область бесстрастья.

Йога — искусность в действиях. Отбрасывая и страх перед плоданг действия, и тягу к ним, человек обязан без личной заинтересованности исполнять все, что предписывает ему долг, а долг воина — сражаться и убивать:

Приняв во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться,

Ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем справедливая битва.

Как во внезапно отверстые райские двери,

Радостно вступают кшатрии в такую битву.

Таким образом, в этом контексте обе мифологии — войны и мира, — как ни парадоксально, слились в одну. Сходное произошло и в буддизме — в частности, махаяне: поскольку мудрость «того берега» выходит за пределы пар противоположностей, она, разумеется, не отличает войну от мира. Как сказано в одном из поучений махаяны: «Этот мир, со всеми его изъянами, и является Золотым Лотосом совершенства». Если же кто-то не хочет или не в силах видеть мир именно таким, виновато в этом вовсе не мироустройство.

Мы не вправе считать Вселенную дурной. Природа — не зло, а «деятельное пространство» сознания Будды. По этой причине нет ничего плохого и в распрях, а соперничество в битве не хуже и не лучше любых иных отношений. В соответствии с этим подходом, сострадательное участие бодхисаттвы в обычной жизни никак не связано с чувством вины; Кроме того, оно совершенно безлично — равно как и махаянский идеал поведения каждого человека: отстраненное, бескорыстное и невинное,

«радостное участие» в «деятельном пространстве сознания Будды». Мне рассказывали, что после битвы при Порт-Артуре во время русско-японской войны 1904 года на мемориальных досках бодхисаттвами именовали не только погибших солдат, но и павших в боях коней.

Пришла пора подводить итоги. С древнейших времен бытовало мнение, что война (в том или ином виде) — дело не только неизбежное и благое, но также совершенно обычное. Кроме того, это самое бодрящее социальное занятие цивилизованного человечества, так как боевые действия — естественный источник радости и общественный доят царей. С этой точки зрения, правитель, который не занят войной и не готовится к ней, — просто болван и «бумажный тигр».

С другой стороны, в анналах мировой истории обнаруживаются и совершенно противоположные взгляды, когда идеалом полагается прекращение войн и установление вечного мира. Неизбежным следствием такого стремления становится, однако, отрицание самой жизни, ведь борьба и страдания, как известно, — неразрывные черты земного .существования. Наиболее впечатляющие примеры такого отрицания — джайнизм и ранний буддизм (хинаяна) — зародились в Индии, но встречаются и на Западе: это некоторые раннехристианские секты и Франция двенадцатого века в окружении альбигойцев.

Говоря о мифологиях войны, мы обнаружили в Торе и Коране убежденность в том, что Бог, творец и единственный владыка Вселенной, неизменно занимает сторону одного, избранного народа, и, следовательно, войны именно этого народа, проводимые во имя Господа и во исполнение Божьей воли, — войны Святые. Схожее представление о «Цветочных Войнах» воодушевляло ацтеков на пленение врагов и последующее принесение их в жертву ради того, чтобы Солнце продолжало свой бег. В «Илиаде», напротив, обитатели Олимпа симпатизируют обеим противостоящим сторонам, а Троянская война толкуется не в космических, а в земных, человеческих категориях — это просто борьба за возвращение

похищенной жены. Кроме того, возвышенный идеал героического воина-человека выражен в поэме образом и речами не грека, а троянца Гектора. Налицо резкое отличие от духа двух семитских военных мифологий и большое сходство с индийской «Махабхаратой». Прямолинейная решимость Гектора, отчетливо сознающего, что он обязан сражаться ради семьи и родного города, и «самообладание» (йога) Арджуны, исполняющего долг своей касты, олицетворяют, по существу, один и тот же принцип. Больше того, и в индийском, и в греческом эпосах обнаруживается одинаковое уважение к обеим воюющим сторонам.

Наконец, мы открыли и третью точку зрения на идеалы и цели войны и мира. Она не осуждает и не отвергает войну как образ жизни и жизнь как войну, но целиком устремлена к тому времени, когда войны вообще прекратятся. В зороастрийском эсхатологическом мифе персов, который, кажется, был первым серьезным предвидением мирного будущего, день великих перемен должен был стать вселенским переломом, когда будут упразднены прежние законы природы и воцарится вневременная и неизменная вечность, где уже не будет жизни, какой мы ее знаем. По иронии судьбы, этому всеобщему преображению должны были предшествовать долгие столетия непрестанных раздоров и войн, хотя в самой Персидской империи, как ожидалось, тем временем расцветал прообраз грядущего царства, где относительный покой должны был обеспечить имперские соглядатаи, доносчики и стража; по мере становления этой «мирной» империи разрастались бы и границы сферы гражданского спокойствия — до тех пор, пока не охватили бы весь мир...

О чем-то подобном говорили, впрочем, не так уж давно и в местах не столь отдаленных. Как нам уже известно, евреи подхватили персидскую идею и выразили ее в библейском образе Израиля, а в эпоху Свитков Мертвого моря она перешла в апокалиптическое христианство (см Марк, 13:3—37). Именно эта мысль привела арабов к принципам дць аль-ислам и дар аль-харб. То же самое, наконец, просматривается сейчас в миролюбии Москвы: шпики, осведомители, милицейские облавы и так далее.

Насколько мне известно, помимо этих идей о войне и мире, на свете появилась еще лишь одна свежая мысль, и провозгласил ее выдающийся голландский философ-правовед Гроций. В своей эпохальной работе «О праве войны и мира» (1625 г.) он впервые в истории человечества предложил принципы международных отношений, основанные на этике, а не на законе джунглей. В Индии господствующим правилом взаимоотношений между государствами долгие века оставался «закон рыбы», матсья-ньяя: крупная рыба пожирает мелкую, и слабым, следовательно, нужно быть порасторопнее. Война — естественная обязанность воинов, а мирные времена представляют собой лишь перерывы в боевых действиях, что-то вроде передышек между боксерскими раундами. По мнению Гроция, война, напротив, является нарушением цивилизованной нормы, мирной жизни, и потому задачей войны должен быть скорейший мир — спокойствие, навязанное не силой оружия, а взвешенными взаимными интересами. Сходным был идеал «мира без победы», очерченный Вудро Вильсоном в конце Первой мировой. Ту же идею олицетворяет американский орел, сжимающий в когтях левой лапы пучок стрел, а в правой — оливковую ветвь. Знаменательно, что голова его, В духе Гроция, обращена вправо, лицом к ветке оливы. Будем все же надеяться — во имя мира, — что наконечники стрел в левой лапе орла не притупятся до тех пор, пока глубокое понимание взаимной выгоды –– а не аскетизм или сила оружия —не станет наконец для всего человечества залогом разумного и устойчивого мира.

X. ШИЗОФРЕНИЯ: ВНУТРЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1970Г.)

Весной 1968 года мне предложили выступить в Эзаленском университете (Калифорния) с курсом лекций о шизофрении. За год до того я рассказывал там о мифологии, и наделенный буйным воображением Майкл Мэрфи, руководитель того чрезвычайно любопытного заведения, решил, очевидно, что эти две темы тесно связаны. Так или иначе, в шизофрении я ничего не смыслил и потому, получив приглашение, тут же позвонил Мэрфи.

— Майк, мне ничего не известно о шизофрении, — сказал я. — Может, нам устроить лекции о Джойсе?

— Неплохая мысль, — ответил он. — Но, знаешь, лучше все-таки о шизофрении, тем более что это почти одно и то же. Давай проведем в Сан-Франциско параллельные курсы: ты о мифологии, а Джон Перри — о шизофрении. Что скажешь?

Тогда я еще не был знаком с доктором Перри, но в юности мне посчастливилось коснуться губами Камня Лести — а это, доложу я вам, стоит дюжины докторских степеней. В общем, я подумал: «Почему бы и нет?» Помимо прочего, я очень доверял Майку Мэрфи и не сомневался, что у него на уме нечто стоящее.

И через пару недель действительно произошло кое-что интересное! Я извлек из почтового ящика пакет — от Джона Вейра Перри, доктора 'медицины, Сан-Франциско — с оттиском его статьи о шизофрении, опубликованной в 1962 году в «Анналах Академии наук Нью-Йорка» к своему изумлению, я вскоре выяснил, что образы шизофренически» фантазий в точности совпадают с символикой путешествия мифологического персонажа, которую я еще в 1949 году описал в работе «Тысячеликий герой».

Моя книга опиралась на сравнительное изучение всемирных мифологий и лишь вскользь затрагивала феноменологию снов, истерий, мистических видений и всего такого прочего. Главной моей задачей было выявление общих для всех мифологий сюжетов и образов, но в то время я даже не подозревал, до какой степени они напоминают фантазии безумцев. На мой взгляд, это были прежде всего универсальные, архетипические, коренящиеся в психике человека символические сюжеты, свойственные всем традиционным мифологиям. Но теперь, благодаря статье доктора Перри, я узнал, что те же образы непроизвольно рождаются в

надломленном, истерзанном уме наших современников, страдающих от полного шизофренического распада личности — такого состояния, когда человек теряет всякую связь с окружающим миром и жизнью общества и переживает навязчивые фантазии, порожденные его собственным, отрезанным от всего внешнего разумом.

Вкратце общая схема выглядит так: обычно шизофреник сначала отдаляется от местного социального порядка и контекста, затем начинает долгое погружение в себя — можно сказать, обращение времени вспять и уход в глубины своей души; там происходит ряд беспорядочных встреч, мрачные, пугающие переживания и, наконец, — если бедняге повезет — встречи ободряющие, умиротворяющие, возвращающие равновесие, после которых больной пускается в обратный путь к нормальной жизни, «новому рождению». Но точно так же устроено и путешествие мифологического героя! В своей книге я выделил в нем три этапа:

исход, посвящение и возвращение.

Герой отваживается перейти из обыденного мира в область сверхъестественного чуда; там он сталкивается с мифическими силами и одерживает решительную победу; герой возвращается из таинственного путешествия, обладая силой, и одаривает благодеяниями своих собратьев.

Так развивается миф — и, как выяснилось, фантазии душевнобольных. Главная мысль статьи доктора Перри сводилась к тому, что в отдельных случаях лучшее решение — способствовать естественному процессу распада и возрождения личности и не вмешиваться в развитие психоза приемами вроде шоковой терапии, то есть позволить шизофрении идти своим чередом. Но если врач намерен прибегнуть к такому подходу, ему следует разобраться в образном языке мифологии. Он должен хорошо понимать обрывочные знаки и сигналы, подсказывающие, что именно пытается выразить в стремлении к хоть какому-то контакту его пациент, полностью лишившийся рационально направленного образа

мышления и общения. С такой точки зрения шизофренический раскол истолковывается как путешествие внутрь и вспять в поисках упущенного или утраченного, то есть ради восстановления жизненно важного равновесия. Пусть же наш странник пускается в плавание! Да, он свалился за борт, наглотался воды и, быть может, тонет — но, как в давней легенде о Гильгамеше, который нырнул ко дну космического океана за водорослью бессмертия, где-то там, в морской пучине, кроется зеленый росток жизни. Так не станем лишать путника последней надежды и поможем ему пройти эту дорогу до конца...

Вернемся к лекциям. Поездка в Калифорнию стала для меня незабываемой. Беседы с доктором Перри и наши совместные выступления открыли передо мной совершенно новые горизонты; я все чаще задумывался над тем, как здорово было бы донести до представителей нашей беспокойной эпохи материалы о мифах, над которыми я с более-менее академической, научной строгостью и глубоким личным увлечением работал все эти годы, не имея ни малейшего представления о методике передачи этих знаний другим людям.

Доктор Перри и Майк Мэрфи ознакомили меня с опубликованной в 1967 году в «Американском антропологе» статьей «Шаманы и острая шизофрения» написанной доктором Джулианом Сильверманом из Национального Института душевного здоровья. Там я снова нашел много Копытного и непосредственно связанного с моими собственными исследованиями и размышлениями. В своих работах я уже отмечал, что у примитивных охотничьих народов мифическая символика и обряды церемониальной жизни основаны, главным образом, на психологических переживаниях шаманов. Шаман — это человек (мужчина или женщина), уже в раннем детстве перенесший острый психологический кризис, какой сегодня назвали бы психозом. Почувствовав неладное, родители обычно сразу посылают за старым шаманом, чтобы тот вылечил ребенка, и порой опытный практик добивается успеха соответствующими мерами — песнями и ритуалами. Как объясняет в своей статье доктор Сильверман,

«в первобытных культурах, где к подобным исцелениям от странных кризисов относятся с терпимостью, необычные переживания (шаманизм) чаще всего благоприятны для человека с познавательной и эмоциональной точки зрения; считается, что человек этот обрел расширенное сознание». С другой стороны, в такой рациональной культуре, как наша, — или, вновь пользуясь определениями доктора Сильвермана, «в той культуре, которая не предлагает соотносительных ориентиров постижения подобных кризисных переживаний, изначальные страдания личности (шизофреника) обычно лишь обостряются».

В связи с этим я перескажу историю одного эскимосского шамана, с которым в начале 20-х годов беседовал великий датский ученый и путешественник Кнуд Расмуссен. Этому исследователю, между прочим, были присущи поразительные чуткость и отзывчивость, которые делали его настоящим гением общения и позволяли находить общий язык со всеми, кого он встречал в арктической области Северной Америки на своем долгом пути от Гренландии до Аляски в ходе Пятой датской экспедиции по Крайнему Северу (1921—1924 гг.).

Игъюгаръюк был шаманом эскимосского племени, живущего в тундре на севере Канады. В юности он постоянно видел непонятные сны, в которых с ним говорили странные, неведомые существа. Просыпаясь, он помнил все так ярко, что мог в точности описать родне и знакомым, что ему снилось. Семья была встревожена, но поняла, что происходит, и вызвала старого шамана по имени Пеканаок. Диагноз был поставлен быстро, и старик усадил мальчика на узенькие нарты, где тот едва умещался. Посреди зимы, непроницаемо темной и леденящей арктической ночью, шаман отволок мальчика далеко в безлюдную заснеженную пустыню и выстроил там для него крохотный снежный домик, где едва хватало места сидеть со скрещенными ногами. Шаман не позволил ребенку ступать на снег, перенес его в домик на руках и усадил на лоскут кожа. Ни воды, ни еды он не оставил и велел мальчику думать только о Великом Духе, который рано или поздно придет. Игъюгаръюк провел в одиночестве це-

лый месяц. Через пять дней старик навестил его и принес глоток теплой воды. Снова он появился лишь спустя две недели — на этот раз уже не только с водой, но и с кусочком мяса. Стужа и голод были так ужасны, что Игъюгаръюк признавался Расмуссену: «Иногда я немножко умирал». И все это время он думал, думал, думал о Великом Духе — до тех пор, пока в конце этого жестокого испытания перед ним не предстал дух-хранитель в облике женщины, которая, казалось, парила в воздухе. Больше он никогда ее не видел, но знал, что этот дух ему помогает. После этого старый шаман отвез его домой, где мальчику пришлось поститься еще пять месяцев. Как объяснил шаман своему гостю из Дании, частые голодания — лучший путь к знаниям о сокровенном. «Есть лишь одна настоящая мудрость, — сказал Игъюгаръюк, — и живет она далеко от людей, в полном одиночестве. Получить ее можно только через страдания. Одиночество и муки — вот что открывает шаману то, что неведомо остальным».

Другой могущественный шаман, с которым доктор Расмуссен познакомился в Номе, на Аляске, рассказал о сходном погружении в безмолвие. Однако этому старику, которого звали Наягнек, довелось пережить трудности в отношениях с жителями его деревни. Дело в том, что поприще это довольно рискованное: случись что плохое, в этом чаще всего винят именно шамана. Люди думают, будто шаманы занимаются колдовством. В общем, чтобы уберечься, этот старик придумал несколько хитрых уловок и мифических «страшилок», запугивающих соседей и ограждающих от их нападок.

Доктор Расмуссен быстро сообразил, что «призраки» Наягнека были, по большей части, откровенными фальшивками, и спросил однажды, верит ли сам шаман в каких-то духов. Ответ был таким: «Да, есть сила под названием Шила. Ее нельзя описать даже тысячей слов. Это очень сильный дух, опора Вселенной и погоды — вообще всего, что есть на земле. Он такой могучий, что говорит с людьми не обычными словами, а языком бурь, снегопадов, ливней, морских ураганов — всех стихий, которых лю-

ди боятся. Но он может говорить и на языке Солнца, тихого моря или невинных малышей, которые просто играют и ничего еще не смыслят в жизни. В хорошие времена Шиле нечего сказать людям. Он прячется в бесконечной пустоте и остается там, пока люди не делают дурного и уважают свою еду. Шилу никто не видел. Он живет в таком странном месте, что может быть тут, рядом, — и в то же время очень далеко».

О чем же говорит Шила

«Он — жизнь и душа Вселенной, —объясняет Наягнек. —Его самого увидеть нельзя, можно только услышать его голос. Все знают, что голос у него нежный, как у женщины. Он такой мягкий и ласковый, что не испугает и ребенка. А говорит он вот что: "Не бойся Вселенной" — Шила эрсинарсинивдлуге»l.

Учтите, это очень простой люд — во всяком случае, с точки зрения нашего уровня культуры, образования и цивилизованности в целом. Тем не менее их мудрость, почерпнутая из сокровенных уголков души мало чем отличается от того, что говорили самые почтенные мистики. В словах шаманов чувствуется глубокая, общечеловеческая мудрость, с которой не так уж часто сталкиваешься в привычном рациональном мышлении.

В своей статье о шаманизме доктор Сильверман выделил два принципиально разных вида шизофрении. Один он назвал «собственно шизофренией», а другой — «шизофренией параноидальной». Только в первом виде проявляются сходства с тем, что я именую «шаманским кризисом». Характерной чертой «собственно шизофрении» является отстраненность от восприятия внешнего мира. Сфера забот и внимания резко сужается, объективный мир отступает на задний план, и человека захлестывают вторгающиеся из бессознательного образы. С другой стороны, при «параноидальной шизофрении» больной остается внимательным и даже чрезмерно восприимчивым к окружающему миру и внешним событиям;

при этом, однако, он истолковывает все вокруг с позиции собственных фантазий и страхов: его не оставляет ощущение нависшей опасности. Угроза, разумеется, исходит только изнутри, но больной переносит ее вовне, воображая, будто весь мир настроен против него. Это, как утверждает доктор Сильверман, вовсе не та шизофрения, которая ведет к сходным с шаманскими внутренним переживаниям. «Такое впечатление, — объясняет он, — что параноидальный шизофреник, будучи не в силах ни постичь, ни вынести жестокий кошмар своего внутреннего мира, поскорее переносит внимание на мир внешний. В подобных случаях "волевого" разрешения внутреннего кризиса человек паже не пытается навести порядок в своей душе — либо просто не в силах это сделать». Иными словами, душевнобольной пребывает главным образом в сфере проекций собственного бессознательного.

Противоположный тип психотика — поистине жалкое зрелище: он словно провалился в глубокую кишащую змеями яму. Все его внимание, все существование — там, в битве не на жизнь, а на смерть, с ужасающими порождениями необузданных психических энергий. Но тем же самым, судя по всему, занят в ходе своего визионерского путешествия и кандидат в шаманы. Возникает естественный вопрос: в чем разница между положением «собственно шизофреника» и погрузившегося в транс шамана? Ответ прост: шаман не отвергает местного общественного уклада и его проявлений. Вообще говоря, именно благодаря им он и возвращается назад, к рациональному сознанию. Больше того, после возвращения он чаще всего сознает, что внутренние, глубоко личные переживания подтверждают и укрепляют унаследованные шаманом социальные правила, придают им свежесть, поскольку символика индивидуальных сновидений совпадает с образным рядом всей его культуры. В противоположность этому, современный психотик испытывает коренной душевный надлом и полностью теряет действенную связь с образным рядом своей культуры. В данном случае установившаяся символика не оказывает никакой поддержки бедняге-шизофренику, блуждающему среди страшных плодов его собственного, но совершенно чуждого ему вообра-

жения. Что касается первобытного шамана, то его внешняя и внутренняя жизнь пребывают в полном согласии.

Так вот, как я уже говорил — да вы и сами догадываетесь, —поездка в Калифорнию оказалась для меня чрезвычайно интересной. События разворачивались так, словно были подстроены каким-то духом-помощником. Когда я вернулся в Нью-Йорк, ведущий психиатр нашего издерганного города, доктор Мортимер Остоу, пригласил меня принять участие в обсуждении доклада, который он собирался представить на собрании Общества Подростковой Психиатрии. Как выяснилось, доктор Остоу изучал подмеченные им общие черты, объединяющие «механизмы» (это слово применял сам Остоу) шизофрении, мистицизма, переживаний под воздействием ЛСД и «антиморальность» современной молодежи — агрессивные антисоциальные настроения, которые в наше время все заметнее проявляются в мыслях и поступках значительной и ли обитателей студенческих городков и их наставников. Это приглашение тоже стало знаменательным и открыло новую область, где могли б пригодиться мои исследования мифологии, — в частности, ту сферу что затрагивала меня лично как преподавателя.

На этот раз я узнал, что погружение в себя под влиянием ЛСД сопоставимо с собственно шизофренией, а «антиморальность» нынешней молодежи — с шизофренией параноидальной. Для многих подростков ощущение угрозы со стороны любого органа так называемого «истеблишмента» (попросту говоря, современной цивилизации) — вовсе не притворство и напускная бравада, а подлинное состояние души. Разрыв отношений совершенно реален, и все, что молодежь губит и разрушает во внешнем мире, в действительности отражает ее внутренние страхи. Больше того, многие подростки не в силах даже вступать в общение: любая их мысль настолько заряжена чувствами, что в рациональной речи подходящих слов не подобрать. На удивление много молодых людей не в состоянии сформулировать простейшее повествовательное предложение; фраза то и дело прерывается бессмысленными и ненужными

междометиями вроде «ну», «типа», и в итоге отчаянное стремление достичь понимания ограничивается языком жестов и переполненным эмоциями молчанием. Когда имеешь с ними дело, возникает подчас впечатление, что это настоящий сумасшедший дом, только без забора. Тем не менее лекарства от подобных недугов следует искать, вопреки утверждениям многих политиков и средств информации, в области психиатрии, а не социологии.

Намного интереснее — во всяком случае, лично для меня — феномен ЛСД. Его применение приводит к намеренно вызываемой шизофрении, предполагающей быстрый и непроизвольный возврат к прежнему состоянию (что происходит, между прочим, далеко не всегда). Йога тоже представляет собой умышленную шизофрению: человек отстраняется от мира и уходит в себя, а спектр переживаемых при этом видений практически совпадает с теми, что бывают при психозах. В чем же разница между психотическими либо ЛСД-переживаниями — и мистическими, йогическими? Нет сомнений, что все они уводят в одни и те же пучины бездонного моря души. Во многих случаях сходны и встречающиеся символические фигуры (о них мы подробнее поговорим чутьпозже). И все же разница есть. Говоря простым языком, это разница между опытными ныряльщиками и теми, кто не умеет плавать. Мистик, который наделен врожденными талантами и шаг за шагом исполняет указания наставника, входит в воду постепенно и уверен в своих силах. С другой стороны, если в воду упадет или умышленно прыгнет шизофреник — человек неподготовленный, лишенный дара и не получивший нужных советов, — он начнет тонуть. Можно ли его спасти? Ухватится ли он за брошенную веревку?

Но давайте сначала спросим, что представляет собой водоем, где он барахтается. Уже было сказано: это то же самое, что и океан мистического опыта. Но каковы особенности и свойства этого океана? Что нужно, чтобы научиться в нем плавать?

Это океан всеобщих мифологических архетипов. Изучая мифологию, я всю свою жизнь работаю с такими архетипами и могу утверждать, что они действительно существуют и одинаковы для всех народов. Конечно, в разных традициях выглядят они по-своему: достаточно сравнить, например, буддийские храмы, средневековые соборы, шумерские зиккураты и пирамиды майя. В каждом уголке мира образы божеств приобретают особые черты, зависящие от местной флоры и фауны, географии и облика расы. Мифы и обряды получают различные толкования и рациональные приложения, подтверждающие и сберегающие обычаи местного общества. И все же архетипические формы и идеи остаются по сущности своей одинаковыми, а подчас и поразительно похожими внешне. Но что это такое? Что они собой представляют?

Лучше всего понял их, точнее всех описал и объяснил психолог Карл Юнг. Он назвал это явление «архетипами коллективного бессознательного», то есть соотнес с теми структурами психики, которые не порождаются личными переживаниями, а присущи человечеству в целом. По мнению Юнга, донный слой психики состоит из проявлений системы инстинктов нашего вида, корни которых уходят в устройство человеческого тела, нервной системы и удивительного мозга. Поведение всех животных инстинктивно. Конечно, они могут поступать по-разному в зависимости от обстоятельств и усвоенных знаний, но каждый вид ведет себя по-своему, сообразно своему «естеству». Сравните, например, насколько по-разному входят в комнату кошка и собака. Каждая особь подчиняется побуждениям, присущим ее виду; в конечном счете именно такие особенности и задают образ ее жизни. Во многом предопределено и "сведение человека. У него есть как личная биография, так и врожденная биология — именно ее выражают «архетипы бессознательного» с другой стороны. Юнг отличает их от так называемого «индивидуально бессознательного»: подавленных личных воспоминаний, детских потрясений, страхов и разочарований, которым уделяет особое внимание школа Фрейда. «Коллективные архетипы» биологичны и являются общими для

всего нашего вида, а «индивидуальные» — биографичны обусловлены социально и уникальны для каждого человека. Большая часть сновидений и повседневных забот определяется, конечно, именно личной жизнью, но шизофрения заставляет погрузиться в «коллективное», и потому ее символика связана, главным образом, с мифическими архетипами.

Вернемся к силе инстинкта. В одном из чудесных диснеевских фильмов о природе показывали, как морские черепахи откладывают яйца в песке, метрах в десяти от воды. Спустя какое-то время из песка выбирается множество новорожденных черепашек размерами не больше пятицентовика. И все без раздумий тут же направляются к воде. Никаких блужданий, никаких проб и ошибок. Никто не колеблется: «Куда бы мне для начала пойти?» Все черепашки двинулись в верном направлении, ни одна не заползла в кусты и не металась по сторонам с мыслями: «Я достойна лучшего!» Нет, правда! Они направились прямо туда, куда и следовало. И мать их — мать-черепаха или Мать-Природа — прекрасно знала, что так случится. Тем временем стаи чаек уже крикливо делились друг с другом этой новостью и пикирующими бомбардировщиками носились над «пятицентовиками», прокладывающими себе путь к воде. Черепашки тоже отлично знали, что так оно и будет, и потому спешили со всех своих крохотных ног — а лапки эти, между прочим, уже умели отталкиваться от песка, и учить их этому было не нужно. Лапы черепашек сами знали, что им делать, а малюсенькие глаза понимали, что торопиться следует именно к той синеве, которую они перед собой видят. Благодаря такой превосходно отлаженной системе флотилия миниатюрных танкеров неуклюже, но неуклонно двигалась к морю. А потом… Честно говоря, глядя на этих малышек, казалось, что большие океанские волны их, пожалуй, до смерти напугают. Но не тут-то было! Черепашки смело входили в воду — разумеется, потому, что уже умели плавать. И, как только они оказались в воде, к ним тут же метнулась рыба. Жизнь –– жестокая штука!

Интересно, а те, кто твердит о возврате к природе, сами-то понимает, чем это грозит?

Но я приведу еще один впечатляющий пример непогрешимой правоты инстинкта. Речь снова пойдет о новорожденных — на этот раз о выводке только что вылупившихся цыплят (кое у кого из них на хвостике еще видны осколки скорлупы). Если над выводком пролетает ястреб, цыплята суетливо спрячутся кто куда, а если голубь, ни один не встревожится. Откуда им известна разница? Кто или, точнее, что принимает решение о необходимости таких жестких схем? Ученые однажды проводили опыты: над выводком пролетал на проволоке деревянный муляж ястреба — и цыплята бросались врассыпную. Но если имитация двигалась задом наперед, пташки ничуть не волновались.

И готовность откликаться на особые возбудители, и отработанные схемы поведения в подобных случаях наследуются вместе с физиологией вида. Это неотъемлемая часть центральной нервной системы, именуемая «врожденными высвобождающими механизмами» (ВВМ). Разумеется, такие механизмы есть и у вида homosapiens.

Именно это называют инстинктами. Тем, кто по-прежнему сомневается в руководящей силе и мудрости чистого инстинкта, достаточно открыть любой учебник биологии и ознакомиться с жизненным циклом паразитов. Прочтешь, например, о возбудителе бешенства — и задашься вопросом о том, достоин ли человек становиться пристанищем для подобного чуда. Паразит точно знает, что делать, куда направляться и где именно нанести удар по нервной системе. Ему известно, как добраться к уязвимому месту и превратить высшее, как принято считать, творение Господа в презренного раба, яростно стремящегося кого-то искусать, чтобы вирус попал в кровь очередной жертвы и, вновь добравшись До слюнных желез, продолжил свое существование.

Таким образом, у каждого человека есть встроенная система инстинктов, без которых он не смог бы даже родиться. С другой стороны, каждого из нас воспитывают в определенной культурной системе. Особенностью человека, отличающей его от всех прочих представителей царства животных, является то, что он, как говорилось в начале третьей главы, рождается лет на двенадцать раньше срока. Конечно, редкая мать пожелала бы изменить такое положение дел, и все же оно причиняет немало хлопот. Человеческий детеныш лишен и самостоятельности новорожденных черепашек размером с пятицентовик, и разумности цыплёнка с прилипшим к хвостику осколком скорлупы. Младенец homosopiens совершенно не способен позаботиться о себе и обречен на дюжину лет зависимости от родителей. За этот двенадцатилетний срок нас превращают в человека: мы учимся ходить, как люди, говорить, мыслить и рассуждать в понятиях местного словаря.

Нас учат положительно откликаться на одни сигналы, отрицательно — на другие, причем большая часть этих сигналов имеет искусственное происхождение и порождена все тем же общественным укладом Это социальные сигналы, но побуждения, ими вызываемые и управляемые, относятся к природе, биологии, инстинкту. Вследствие этого любая мифология представляет собой упорядоченную совокупность утвержденных культурой высвобождающих знаков, где естественные и социальные ограничения так тесно переплетены, что во многих случаях отличить одно от другого попросту невозможно. Подобные «культурные» сигналы вызывают в нервной системе человека обусловленные обществом ВВМ — точно так же как знаковые естественные раздражители возбуждают в животных заложенные природой рефлексы.

Я определил действенный мифологический символ как «знак, пробуждающий энергию и задающий ей направление». Доктор Перри называл те же сигналы «аффективными образами», чье сообщение адресуется не мозгу, занятому толкованием, а непосредственно нервам, железам, крови и симпатической нервной системе. Однако эти сигналы все-таки про-

ходят через мозг, и развитой ум может их задержать, исказить и, следовательно, погубить. В подобных случаях знаки действуют уже не так, как должны: унаследованная мифология искажается, а ее руководящая значимость теряется либо истолковывается неверно. Хуже того, человеку приходится подчас откликаться на ряд сигналов, которых в общем окружении вовсе нет, как случается, например, с детьми, воспитанными в узком кругу сект определенного толка, не разделяющих — а иногда даже презирающих и осуждающих — культурные формы остальной цивилизации. Оказавшись в обширной социальной сфере, такой человек никогда не чувствует себя как дома, и в поведении его нередко сквозит легкая параноидальность. Соприкасаясь с общепринятыми стимулами, он не видит в них соответствующего смысла, не ощущает должного волнения, не испытывает предполагаемого возбуждения. Напротив, его тянет вернуться к привычным радостям ограниченной — и, разумеется» ограничивающей — жизни секты, семьи, общины или резервации. В более широкой социальной среде он теряет ориентиры и порой даже становится опасным.

Мне кажется, что эти рассуждения очерчивают решающую проблему, которую должны ясно сознавать родители: малышам следует внушать сигналы, настраивающие на мир, где тем предстоит жить, а не отдаляющие от него, — если, конечно, семья не страдает навязчивым желанием передать своим отпрыскам собственную паранойю. К счастью, рассудительные родители чаще мечтают воспитать и физически, и душевно здорового ребенка, приспособленного к настроениям своей культуры достаточно хорошо, чтобы уметь рационально осмыслять ценности общества и творчески обращаться с его прогрессивными, живительными и плодотворными составляющими.

Таким образом, решающая проблема человека сводится к необходимости понять, что мифология —совокупность знаковых сигналов и аффективных образов, пробуждающих и направляющих энергию, — передаваемая нашему потомству, должна нести указующие послания, кото-

рые помогут детям полнокровно вливаться в среду, где им суждено жить. Эта мифология должна принадлежать дню сегодняшнему, а не давно минувшей эпохе, вожделенному грядущему либо, хуже всего, какой-то вечно недовольной, переборчивой секте с ее странными капризами. Я называю эту проблему решающей, потому что пренебрежение ею заводит пострадавшего в те земли, которые в мифологии именуются «бесплодными». Бедняга не умеет говорить с миром, а мир не в силах объясниться с ним: между ними — пропасть, и личность, оказавшаяся в безвыходном положении, идет прямиком к психотическому срыву, который превратит ее либо в собственно шизофреника, запертого в обитой войлоком палате, либо в параноика, выкрикивающего свои призывы на воле, в сумасшедшем доме без забора.

Прежде чем перейти к описанию общего развития, или истории, такого срыва — назовем это нисхождение и последующий возврат «путешествием в себя», — я хотел бы сказать еще пару слов о функциях, обычно исполняемых нормально действующей мифологией. По моему мнению, их четыре.

Первую я предпочитаю называть мистической. Ее задача заключается в том, чтобы пробудить и сберечь в каждой личности чувство благоговения и признательности по отношению к загадочной природе Вселенной. Речь идет вовсе не о страхе; напротив, человеку следует сознавать себя частицей этой тайны, ведь загадка всеобщего бытия кроется в глубинах его души. Именно это услышал старый знахарь с Аляски голосе Шилы, души Вселенной: «Не бойся!» Мы уже убедились что жизнь, на наш временный взгляд, тяжела — жестока, ужасна, чудовищна. К таким выводам приходит и рассудок, а экзистенциалисты-французы в подобных случаях восклицают: «Абсурд!» Занятно отметить что, французы настолько заворожены Декартом, что считают абсурдом любое явление, не вмещающееся в прямоугольную систему координат. Кто или что, спрашивается, абсурдно, если «суждения» такого рода претендуют на статус философии?

Вторая функция живой мифологии — описывать картину Вселенной в согласии с научными познаниями эпохи и средой обитания народа. Увы, сейчас все крупные религии предлагают схемы мироздания, которым по меньшей мере две тысячи лет, чего уже более чем достаточно для очень серьезного отрыва от действительности. Несомненно, именно этим прежде всего объясняется, почему церкви теряют прихожан в наше время, время отчаянных религиозных исканий. Беда в том, что они предлагают пастве найти успокоение в никогда не существовавшей прежде, невозможной в будущем и уж точно не наблюдаемой теперь панораме мироустройства. Подобные мифологические приманки представляют собой верный рецепт шизофрении — по меньшей мере, легкой ее формы.

Третья задача действенной мифологии — подтверждать, поддерживать и внушать нормы определенного морального уклада, а именно нравственные принципы того общества, где предстоит провести жизнь человеку.

Четвертая функция заключается в том, чтобы помочь личности шаг за шагом, сохраняя здравие, силу и гармонию духа, пройти весь обозримый путь наполненной смыслом жизни.

Теперь я перейду к краткому обзору этих этапов в их последовательности.

Первым, конечно же, является детство — двенадцать лет физической и психологической зависимости от родителей, от их заботы и указаний. Как уже отмечалось в третьей главе, наиболее очевидной биологической аналогией является жизнь сумчатых — кенгуру, опоссума и Других. Они вынашивают плод без плаценты, и потому он не может оставаться в утробе матери после того, как исчерпаны питательные запасы яйца (желток). Таким образом, детенышам приходится рождаться задолго до того, как они будут готовы к самостоятельной жизни. Кенгуренок появляется

на свет всего через три недели после зачатия, но его сильные передние лапки уже твердо знают, что им делать. Кроха ползет до животу матери к сумке — опять-таки, заметьте, подчиняясь инстинкту! — забирается внутрь, цепко впивается (разумеется, инстинктивно) в набухший сосок и остается во втором чреве «с дверным глазком» до тех пор, пока не будет готов выпрыгнуть наружу.

Сходную биологическую функцию выполняет для нашего вида мифология — своего рода естественный орган, столь же необходимый для жизнедеятельности, но имеющий, очевидно, совершенно иную природу. Мифология, словно птичье гнездо, сложена из материалов, собранных неподалеку, в местной среде, — на вид сознательно, но в полном соответствии с архитектурой, почерпнутой из неосознаваемых глубин. Не имеет значения, останутся ли ее нежные, умиротворяющие и руководящие образы полезными для взрослой особи. Она предназначена вовсе не для зрелой личности. Ее главная задача — взрастить неопытную душу, подготовить ее к встрече с внешним миром. Таким образом, уместен лишь один вопрос: к чему будет приспособлен воспитанный на ней человек — к жизни в реальном мире или в каком-то раю, воображаемой социальной среде? Соответственно, вторая функция мифологии — помочь подготовленному потомству выбраться наружу, покинуть миф, это второе чрево, и стать, как говорят на Востоке, «дважды рожденным», то есть полноправным взрослым человеком, который оставил детские годы позади и занимается теперь реальной деятельностью в реальном мире.

Уместно высказать еще одну гадость в адрес наших религиозных институтов: они ведь настаивают как раз на том, чтобы человек никогда не накидал их утробы, — но это все равно что заставлять кенгуренка вечно сидеть в материнской сумке! Хорошо известно, что произошло в результате в шестнадцатом веке: сумка Матери-Церкви лопнула по швам, и вся королевская конница, вся королевская рать так и не смогла собрать ее лоскутки. И теперь, когда она уничтожена, у нас больше нет подходящей еумки даже для самых крошечных кенгуру. Мы, конечно, попытались за-

гнить ее скроенным из полиэтилена пакетом с надписью: «чтение, письмо и арифметика» — неорганическим инкубатором, где можно просидеть лет до сорока пяти, пока не получишь степень доктора философии. Я вот заметил, кстати, что при выступлениях по телевизору эти профессора, выслушав вопрос, начинают бубнить, мычать и хмыкать, так что поневоле задумываешься: что это — признаки какого-то душевного кризиса или неспособность передать словами невероятно утонченную мысль? С другой стороны, профессиональные футболисты и бейсболисты отвечают на довольно запутанные вопросы изящно и просто. Оно и понятно! Они-то выбрались из утробы уже годам к девятнадцати, потому и стали лучшими игроками на нашем пустыре. А тех бедолаг до преклонных лет держали под профессорским пологом, и теперь, несмотря на выстраданную ученую степень, им уже слишком поздно воспитывать в себе качество, которое в старину принято было называть уверенностью в себе. На их ВВМ навеки отпечаталось тавро профессорства, и они, горемычные, до сих пор боятся, что им за ответ поставят плохую отметку.

Итак, стоит заполучить настоящую, взрослую работу и занять свое место в обществе, как тут же начинаешь ощущать себя старым хрычом, а на горизонте уже маячит выход в отставку — и не просто маячит, а спешит навстречу со всеми своими медицинскими страховками и отчислениями в пенсионный фонд. В руках же у тебя — твоя собственная бесприютная душа, бремя того, что Юнг назвал «ненужным либидо». Что с ним делать? Наступает классический кризис среднего возраста с его нервными срывами, разводами, алкоголизмом и прочими прелестями: неподготовленный огонек жизни чахнет и тонет в пучинах столь же неподготовленного бессознательного. Эх, если бы в младенчестве тебе покрепче внушили соответствующие детские мифы, то ко времени этого движения вспять и вниз окружающий пейзаж был бы хоть чуточку знаком! По меньшей мере, ты припомнил бы имена — а быть может, и вооружение — встречающихся в глубинах чудовищ. Факт простой, но очень важный: мифологические образы, воспринимаемые в детстве как ссылки к внешним сверхъестественным явлениям, представляют собой в дейст-

вительности символы структурирующих сил (юнговских «архетипов») бессознательного. Именно к ним и олицетворяемым ими силам природы — доносящимся изнутри голосам Шилы, души Вселенной, возвращается человек в этом неминуемом, как сама смерть, погружении.

Учитывая предстоящее нам испытание, попробуем заранее ознакомиться с приливами и течениями внутреннего моря. Позвольте рассказать вам кое-что о чудесах шизофренического погружения в себя, о которых я сам узнал довольно недавно. Сначала ощущается раскол. Мир будто делится надвое: какая-то часть отдаляется, а сам человек остается на другой стороне. Это начало попятного движения, расщепления, ухода. Время от времени человек видит себя сразу в двух ролях. Первая — маска шута, призрака, ведьмы, чудака или чужака. Это его напускная, внешняя роль; он словно валяет дурака, издевается над самим собой, разыгрывает простофилю или чокнутого. Однако в душе он — спаситель, и сам прекрасно это сознает. Он — герой, избранный для особой миссии.

Не так давно я был удостоен чести целых три раза встретиться с одним таким спасителем — ладным и рослым юношей с бородкой, нежным взглядом и повадками Христа; главными его таинствами были, впрочем, ЛСД и секс. «Я видел своего Отца, — открыл он мне тайну во время второй беседы. — Он уже стар и велел мне подождать совсем чуть-чуть. Я сам пойму, когда придет срок занять Его место».

Второй этап описан во многих клинических исследованиях. Это полная деградация, возвращение вспять во времени (в том числе и биологически). Проваливаясь в собственное прошлое, психотик превращается в младенца, вплоть до зародыша в утробе. Его переполняют устрашающие переживания возврата к звериному сознанию и облику, даже чему-то более низкому, едва ли не растительному. Вспоминается легенда о Дафне — нимфе, превращенной в лавровое дерево. С психологической точки зрения, это и есть образ психоза. Бог Аполлон слишком настойчиво до-

бивался от нимфы взаимности, испуганная дева позвала на помощь отца, бога рек Пенея, а тот обратил ее в дерево.

«Каким было твое лицо до рождения твоих родителей?» Эти слова уже упоминались, когда речь шла об излюбленных темах для медитации японских учителей дзэн. В ходе шизофренического регресса психотик Тоже может постичь восторг единения со всей Вселенной, выхода за пределы собственной личности, «океанического чувства», как называл его Фрейд. Эти ощущения вызваны, кстати, новыми познаниями: то, что казалось прежде таинственным, ныне постигается во всей полноте. Приходят совершенно невыразимые прозрения; читая о них, остается только Дивиться. Я ознакомился с десятками подобных рассказов и все они согласуются — сходство подчас разительное! — с озарениями мистиков, образами индуизма, буддизма, Древнего Египта и античных мифов.

Скажем, человек, который прежде не просто не верил в перевоплощения, но даже не слыхивал о них, вдруг ощущает, что он вечен: прожив множество жизней, но не рождался и никогда не умрет. Такое впечатление, будто он и вправду постиг себя как атмана, о котором в «Бхагавад гите» сказано:

Он [Дух] никогда не рождается, не умирает; не возникая,

Он никогда не возникнет, [...]

Неуязвим, неопалим Он, неиссушим, неувлажняем;

Вездесущий, Он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. [...] Неуязвим воплощенный всегда в этом теле...

Больной — а мы уже вправе называть его так — соединил остатки своего сознания со всеобщим сознанием камней, деревьев и мира природы в целом, откуда все мы приходим. Он смирился с тем, что и в самом

деле существует вечно (на глубочайшем уровне это относится ко всем нам), и обретает покой; как говорится в той же «Бхагавад-гите»:

Кто в беде не колеблется сердцем, кто угасил жажду счастья, Отрешенный от страсти, страха и гнева, стойкий духом, —

называется муки. [...] Кто ни к чему не стремится, с приятным и неприятным встречаясь, Не ненавидит и не вожделеет, стойко того сознанье. Как черепаха вбирает члены, так он отвлекает все чувства От их предметов, стойко его сознанье.

Короче говоря, друзья мои, я выяснил, что наш пациент-шизофреник и в самом деле неумышленно ощущает ту самую чудесную океанскую глубь, к которой тянутся йоги и святые. Разница только в одном: они в ней плещутся, а шизофреник тонет.

Вслед за этим, судя по ряду свидетельств, приходит предчувствие грядущего тяжелейшего подвига, во имя которого придется преодолеть немало опасностей; одновременно ощущается присутствие незримых помощников, указующих путь и дающих полезные советы. Это боги, ангелы или демоны-хранители — врожденные силы психики, способные дать бой терзающим, ненасытным и губительным противодействующим силам и одолеть их. И если человеку хватит смелости идти вперед, рано или поздно, в приступе ужасающего блаженства, наступит кульминация, всепоглощающий прорыв — а подчас и целый ряд таких нестерпимых всплесков.

Эти кризисы можно разделить на четыре основных вида, которые определяются прежде всего характером затруднений, вызвавших в свое время попятное движение. Если, например, в детстве человеку не хватало искренней любви, заботы, домашнего тепла и он вырос в атмосфере строгости, властности, жестких приказов или же в доме, где нет конца злобе, беспорядку, пьяным дебошам отца и т. д., — в своем путешествии

вспять он будет искать новые ориентиры и попытается сделать основой своей жизни любовь. Соответственно, кульминацией этих исканий (уже после того, как он прорвется к самым истокам своей биографии, а то и еще дальше, к ощущению первой эротической тяги к жизни) станет открытие в глубинах собственной души средоточия нежности и любви, где можно найти долгожданный покой. Это и было целью и смыслом всего путешествия, а завершением его будет переживание в том или ином виде воображаемого «священного брака» с олицетворением жены и матери (либо просто матери).

Другой пример: если дома отец был никем, пустым местом, безвольной куклой, то есть больной никогда не ощущал отеческой власти и не видел заслуживающего уважения образца мужественности, вырос среди суеты домашнего быта и беспорядочных женских хлопот, целью и окончанием поисков станет достойный отеческий образ — символическое достижение сверхъестественного идеала отношений сына или дочери с отцом.

Третий типичный вид эмоциональных лишений возникает в тех случаях, когда ребенок чувствует себя в кругу домашних изгоем, ощущает свою ненужность либо вообще растет без семьи. Так бывает, напри-wep, при втором браке одного из родителей, когда в жизнь ребенка вторгается новая семья и его действительно исключают из сферы общения, отталкивают на задний план. На этом построены старинные сказочные сюжеты о злой мачехе и сводных сестрицах. В своем одиноком путешествии вспять такой изгнанник мечтает найти или создать место, где он сам может занять центральное положение — но уже не просто в семье, а во всем мире.

Доктор Перри рассказывал мне о пациенте, который был настолько отрешен от происходящего вокруг, что никто не мог наладить с ним какое-либо общение. Но однажды бедный молчун нарисовал в присутствии доктора неровный круг и поставил в середине точку. Склонившись над

рисунком, доктор Перри произнес: «Это ведь ты здесь, в центов Правда? Да, это ты!» И на эти слова больной откликнулся, что стало началом возвращения.

В предпоследней главе книги доктора Ленга «Политика переживаний» приводится захватывающий отчет от первого лица о шизофреническом срыве. Автор рассказа, бывший коммодор Британского флота а ныне скульптор, повествует о собственном шизофреническом путешествии, кульминацией которого стало прозрение четвертого вида: созерцание чистейшего света, ужасающе грозного, подавляющего и нестерпимо яркого сияния. Этот отчет поразительно напоминает описанный в «Тибетской Книге мертвых» свет Будды, который, как утверждается, душа видит сразу после смерти; если человек смог стерпеть его блеск, что мало кому удается, он обретает свободу от перерождений. Отставной офицер Британского флота, тридцативосьмилетний м-р Джесси Уоткинс ничего не знал о восточных философиях и мифологиях, но в конце десятидневного плавания образный ряд его видений почти не отличался от индуистской и буддийской символики.

Все началось с тревожного ощущения, будто время обратилось вспять. Это жуткое чувство нахлынуло, когда почтенный джентльмен отдыхал в своей гостиной под легкую музыку по радио. Он встал и подошел к зеркалу: отражение было знакомым, и все же лицо казалось каким-то чужим. В больнице его уложили в постель, и той же ночью он почувствовал, что уже умер, а вместе с ним и соседи по палате. Попятный ход времени продолжался, и он очутился среди дикого пейзажа, где бродил в зверином облике носорога — всхрапывающий, перепуганный, но в то же время свирепый и готовый к схватке. Кроме того, больной воображал себя младенцем и слышал, что плачет, как ребенок. Он был одновременно и наблюдателем, и объектом наблюдения.

Когда ему дали почитать газету, он не смог продвинуться дальше заголовков, так как каждый из них вызывал самые необузданные ассоциа-

ции. Письмо от жены породило у него такое чувство, будто она живет в ином мире, куда он уже никогда не вернется. У него появилось ощущение что здесь, где он сейчас, ему доступны скрытые в каждом из нас силы. Скажем, он не позволил санитарам позаботиться о случайно порезанном пальце и залечил ранку за один день — как он сам объяснил, сосредоточенным вниманием». Помимо того, он обнаружил, что силой пристального взгляда способен заставить лечь и успокоиться шумных соседей по палате. Пациент чувствовал, что представляет собой нечто большее, чем предполагал раньше; он сознавал, что живет вечно, во всем живом, а теперь просто заново это постиг. С другой стороны, он знал, что ему суждено совершить долгое и ужасное путешествие, и само это предчувствие вызывало у него острый страх.

Новообретенные силы, дарующие власть над собой и другими, в Индии называют сиддхи. Там считают, что силами этими от природы владеет каждый (так, между прочим, полагал и наш больной, представитель Запада), что они присущи всему живому и проявляются у всех опытных йогов. Нечто подобное есть и в христианском учении: «исцеление верой», молитвы за болящих и так далее. Другими хорошо известными примерами этих сил являются чудеса, совершаемые святыми, спасителями и шаманами. Что касается ощущений единства со всем живым и превращения в зверя, то они тоже отмечались очень давно. Послушаем, например, песню легендарного поэта-вождя Амергина, спетую им, когда головное кельтское судно причалило к берегам Ирландии:

вихрь в далеком море Я волны бьются в берег Я гром прибоя это Я бык семи сражений Я бык утеса это Я капля росная это Я прекрасный это Я вепрь могучий это Я Он в заливе это Я озеро в долине Я слово бога это Я пламя песни это Я возглавляю войско Я бог главы [= мысли] горящей Я

Следя за воображаемыми событиями того десятидневного внутреннего путешествия, мы вновь ступаем на хорошо освоенную землю мифов,

какой бы непривычной и изменившейся она ни показалась. Странны — но и знакомы — самые волнующие повороты этого пути.

Странник говорит, что его переполнило «чрезвычайно острое ощущение» того, что созерцаемый им сейчас мир охватывает три уровня; сам рассказчик пребывает в срединной его сфере, над ним расположен план высших озарений, а внизу — нечто вроде зала ожидания. Сравним эту картину с библейским образом Космоса: вверху Бог, ниже —земная твердь, а под ней — воды. Можно вспомнить и Дантову «Божественную комедию», индийские или майянские храмы-башни, шумерские зиккураты. Где-то внизу — адские мучения, вверху — блистающие Небеса, а посредине — гора, по которой души восходят к высшим стадиям духовного развития. По словам Джесси Уоткинса, большинство из нас пребывает на самом низшем уровне и просто сидит — можно сказать, в ожидании Годо — в своеобразной прихожей, не подозревая пока даже о существовании срединного зала исканий и борьбы, куда добрался наш рассказчик. Над головой, неподалеку, повсюду вокруг он ощущает присутствие незримых божеств, властвующих над устройством и видоизменением мира, а где-то на самом верху вершит свой высочайший труд главный бог.

Но самым ужасным было сознание того, что рано или поздно каждому придется заняться делом на самой вершине. Вокруг него — настоящий сумасшедший дом, чьи обитатели, как и он сам, уже умирали и пребывали на промежуточном, очистительном этапе «как бы пробуждения» (так описывает его сам рассказчик, а нам остается вспомнить, что значение слова будда — «пробужденный»). Окружавшие Уоткинса бессрочные обитатели бедлама своими путями шли —пробуждались! —к тому чтобы в свой срок занять высшее положение, где ныне восседал Бог. Бог был безумен. Именно он терпел «чудовищное бремя, обязывающее все сознавать, за всем приглядывать и всё приводить в движение», как выражается Уоткинс. В завершение он говорит: «Путешествие неминуемо, каждому из нас придется отправиться в путь. От этого не отвертеться» цель

всего вокруг, смысл бытия в том, чтобы дать нам необходимое для очередного шага, и для следующего, и следующего — до бесконечности...»

Разве не удивительно встретить такой широкий ряд восточных сюжетов в судовом журнале отставного британского моряка, пустившегося в одиночное плавание по ночному морю — а попросту говоря, свихнувшегося? Точно такое же окончание пути описано в раннебуддийской притче о четырех искателях сокровищ, которая сбереглась в известном индийском сборнике «Панчатантра». Это рассказ о четырех друзьях-брахманах, которые, потеряв свои состояния, отправились вместе на поиски богатства и встретили в стране Аванти — там, где когда-то жил и учил Будда, — чародея по имени Бхайравананда — «Ужас-Радость». Когда брахманы поведали ему свою историю и попросили помощи, могущественный колдун подарил каждому волшебный светильник и велел идти к северным склонам Гималаев: где светильник упадет, там, по его заверениям, непременно найдутся сокровища.

Первым упал светильник старшего из друзей, и он увидел, что почва в том месте — чистая медь.

— Глядите! — воскликнул он. — Бери — не хочу!

Но остальные предпочли идти дальше, так что старший сам собрал всю медную руду и отправился домой. Там, куда упал светильник второго, земля была сплошь покрыта серебром, и он тоже остался копать добычу. Третий брахман нашел золото.

— Разве ты сам не видишь? — сказал ему четвертый. — Сначала медь, потом серебро и золото. Следующими будут драгоценные каменья!

Но третий брахман удовольствовался своим золотом, так что четвертый двинулся дальше один.

И вот что с ним случилось:

...Его жгли раскаленные лучи солнца, мучила нестерпимая жажда. Заблудившись, он бросался то в одну сторону, то в другую, пока наконец на холме не увидел человека. Он обливался кровью, а на голове у него вращалось колесо. Подбежав к нему, брахман спросил:

— Кто ты такой, почтенный? Почему здесь стоишь и почему на голове у тебя крутится колесо? И еще скажи мне, где тут можно напиться.

Едва он это произнес, как колесо сразу же перескочило с его головы на Голову молодого брахмана.

— Что это? — удивился он.

— Когда-то это колесо точно так же перескочило на мою голову –– ответил незнакомец.

— Оно причиняет мне сильную боль, — пожаловался брахман. — Как бы мне от него избавиться?

— Ты избавишься от него только после того, как к тебе подойдет какой-нибудь путник со светильней, озаряющей путь к жизненному успеху, и задаст тот же вопрос, с каким ты обратился ко мне, — сказал незнакомец.

— Сколько же времени ты так простоял?

— А кто ныне царствует в стране?

— Царь Ватса, музыкант, прославленный своей игрой на вине.

— Не знаю, сколько времени прошло, — вымолвил незнакомец, — но в ту пору, когда я явился сюда со светильней, озаряющей путь к успеху, страной правил Рама. При нем-то это все и случилось.

— А как же ты, с колесом на голове, утолял жажду и голод? — спросил его брахман.

— Властитель богатств, опасаясь, как бы кто-нибудь их не похитил, вселяет страх во всякого, кто сюда забредет, даже в сиддхов. Если же кто-нибудь все-таки доберется до этих мест, то освобождается от жажды и голода, от старости и смерти, сохранив только способность испытывать боль. Спасибо тебе. Ты избавил меня от тягчайших мук. Я ухожу домой.

В окончательном своем виде старинная притча призвана предостеречь от чрезмерной алчности, но в ранней форме была махаянским преданием о пути бодхисаттвы, где поспешный вопрос духовного искателя указывал на бескорыстное совершенство его сострадания. Вспоминается изувеченный король из средневековой легенды о Святом Граале: если бы простодушный Рыцарь без раздумий задал хозяину вопрос о его недуге король тут же выздоровел бы, а сам гость принял королевский титул (см. девятую главу). Заметно сходство с терновым венцом на голове распятого Христа; вспоминается и множество других персонажей: Прометей на кавказской скале и орел, клюющий его печень, или пригвожденный утесу Локи, по голове которого стекает огненный яд космического змея; наконец, сам Сатана, каким увидел его Данте: в сердцевине Земли, центре её вращения — там же, где обитал его прообраз, греческий Аид (римский Плутон), владыка не только подземного мира, но и богатства. Чудесное совпадение из тех, с какими нередко сталкиваешься при сопоставлении мифических образов! Мы нашли на Западе близнеца индийского бога земли Куберы — владыки богатства и причиняющего мучительную боль вращающегося колеса, о котором рассказывалось в старинной притче.

Впрочем, в обсуждаемом нами случае шизофрении рассказчик сознавал, что не вынесет роли безумного, невыразимо страдающего бога на самой вершине Вселенной. Да и кто, спрашивается, добровольно решится на беспредельность переживаний этой жизни — и этой Вселенной — как она есть, во всей полноте ее устрашающего восторга? Такой, вероятно, и должна быть окончательная проверка совершенства сострадания:

сумеет ли человек безоговорочно принять этот мир таким, какой он на самом деле, стерпеть эту ужасающую радость, да еще и безумно желать подобного счастья всему живому? Так или иначе, даже сумасшедший Джесси Уоткинс понял, что с него хватит.

«Переживания были порой настолько опустошающими, — признавался он впоследствии, оценивая свое путешествие в целом, — что сейчас мне страшно было бы пережить это снова... Я внезапно столкнулся с чем-то неизмеримо огромным — столько чувств, столько знаний, что просто не выдерживаешь... Всего-то пара мгновений, но при этом кажется, что на тебя обрушился ослепительно яркий свет или сильнейший порыв ветра, а ты слишком беззащитен и одинок, чтобы выдержать этот напор».

В один прекрасный день он решил больше не принимать успокоительных средств и любой ценой прийти в себя. Он присел на краю кровати, крепко сцепил руки и начал повторять собственное имя. Снова и Снова, до тех пор, пока не понял вдруг — а подобное всегда происходит внезапно, — что совершенно здоров. Так оно и было: переживания прекратились, он опять был в своем уме.

Думаю, можно утверждать, что именно в этом и кроется ключ ко всему путешествию, если только человеку суждено вернуться назад. Вот он главный секрет: не отождествлять себя ни с одной из воспринимаемых сил или образов! Стремящийся к свободе индийский йог отождествляется

со Светом и уже не возвращается, но те, кому еще хочется жить и помогать другим, никогда не позволят себе убежать отсюда навсегда Конечная цель исканий, предполагающих возвращение назад, – не освобождение или блаженство для себя одного, а мудрость и сила во благо всем вокруг. И у нас, на Западе, есть великая и по праву превозносима повесть о человеке, совершившем путешествие туда и обратно, десяти дневное плавание в страну Света — гомеровском Одиссее. Подобно британскому моряку Уоткинсу, он был воином, который после долгих битв вернулся к домашнему очагу, и эта перемена потребовала коренного смещения его психологического настроения и центра.

Всем хорошо известна чудесная история о том, как, подняв паруса своих двенадцати кораблей, Одиссей направился от покоренной Трои во фракийский порт Исмар, разрушил город, истребил всех его жителей и как сам он позже рассказывал, «жен сохранивши и всяких сокровищ награбивши много»', разделил добычу среди своих людей. Очевидно, что такому головорезу, совершенно не готовому к мирной жизни, требовалось целиком изменить характер, и потому боги, неизменно чуткие к подобным тонкостям, сочли необходимым устроить Одиссею хорошую передрягу.

Для начала Зевс наслал бурю, которая в клочья изорвала паруса Одиссеевых кораблей. Спустя девять дней беспомощные суденышки прибило к берегам земли лотофагов («поедателей лотосов»), страны галлюциногенного наркотика, отнимающего память. Там Одиссей и его одурманенные — как Уоткинс в больнице для душевнобольных! — товарищи бороздили море сновидений. Затем последовал ряд мифологических приключений, в ходе которых путешественники столкнулись с невиданными испытаниями.

После первого из них, встречи с циклопами и бегства из ужасной пещеры, которое обошлось команде дорогой ценой, последовал краткосрочный подъем: паруса Одиссея наполнились ветрами Эола. Восторги

поутихли с наступлением мертвого штиля, когда все двенадцать судов-пришлось до изнурения тянуть на веслах. Так друзья добрались до острова лестригонов; эти людоеды пустили одиннадцать кораблей на дно, и могучий Одиссей, столкнувшийся с высшими силами, которые былиему не по зубам, удрал с перепуганными спутниками на последней Лодчонке. В море по-прежнему царил штиль, и они отчаянно гребли, Я не заметили полоску суши, где суждено было развернуться главным событиям всего путешествия. Это был остров «светлокудрявой» нимфы Цирцеи, превращающей мужчин в свиней.

С такой дамочкой наш изрядно присмиревший герой уже не мог по-хамски дать себе волю: она явно превосходила его силой. К счастью для прославленного громилы, очень вовремя появившийся бог тайн Гермес, хранитель и проводник перерождающихся после смерти душ, успел помочь Одиссею и советом, и чарами. Вместо того чтобы обернуться свиньей, великий мореплаватель попадает — благодаря пособничеству Гермеса — на ложе Цирцеи, и нимфа отправляет его в подземный мир, где скитаются тени предков. Там Одиссей встречает, помимо прочих, слепого мудреца-прорицателя Тиресия, в ком слились мужские и женские познания. Проведав все, что только удалось узнать, Одиссей уже совсем иным возвращается к прежде опасной нимфе, которая становится теперь его наставником и попечителем.

Цирцея направляет Одиссея на остров Гелиоса, ее отца, но там, близ источника всемирного света, разбивается о скалы последнее судно, команда гибнет, и неумолимые течения относят выброшенного в море одинокого Одиссея назад в повседневность, к обычной жизни и земной жене Пенелопе... если не считать, конечно, восьмилетней жизни с другой женой, нимфой Калипсо, и еще одной, более краткой, задержки на острове прекрасной Навсикаи и ее отца, откуда погруженный в глубокий сон путешественник по ночному морю — уже целиком и полностью подготовленный к грядущей роли заботливого супруга и отца — добирается, наконец, до родных берегов.

Примечательная особенность этой великой поэмы о внутренних скитаниях среди ночных вод заключается в том, что странник нигде не желает остаться навсегда. В стране лотофагов спутники Одиссея, отведав сладких яств, лишились мечтаний о доме, но Одиссей силой усадил их, плачущих, на суда, привязал к скамьям и умчался прочь. Даже во время идиллической жизни на острове Калипсо Одиссей частенько выходил один на берег и тоскливо глядел в сторону родины.

Джесси Уоткинсу тоже удалось в конце концов отличить себя, обычного человека, от душевнобольного в психиатрической лечебнице. Поворотным событием в путешествии его античного прообраза было крушение последнего корабля у берегов острова Солнца, в самой дальней точки его пути. В плавании современного моряка переломным переживанием отмечающим дальний предел путешествия, тоже стало зрелище ослепительного света. Столкнувшись с ним, Джесси Уоткинс понял что, является не только перепуганным безумцем на грани гибели, но и темздравомыслящим человеком, каким был недавно, дома, до своего психического ухода от обычной жизни. Мы уже знаем, что спасение пришло когда он сел на краю постели, сцепил пальцы и повторял привычное нормальное имя своей личности — пока не вернулся к ней, словно ныряльщик, чья голова показалась из-под воды.

Самым распространенным и вполне уместным мифологическим образом, олицетворяющим такое возвращение, остается понятие «нового рождения», появления на свет в новом мире. Именно этот символ пришел на ум нашему самоисцелившемуся больному сразу после неожиданного выздоровления: «Я почувствовал вдруг, что все вокруг намного реальнее, чем казалось прежде: трава зеленее, солнце ярче, а люди по-настоящему живы. Я видел все гораздо отчетливее, начал яснее различать хорошее и дурное. Я вообще стал больше замечать».

«Теперь трудно не согласиться в тем, что от подобного путешествия вовсе не нужно лечить, — добавляет доктор Ленг в комментарии к рассказу Уоткинса, — ведь это естественный путь исцеления от нашей собственной ужасной отчужденности, именуемой нормальностью».

Его вывод практически полностью совпал с мнениями доктора Перри и доктора Сильвермана, высказанными в упоминавшихся ранее статьях. А совсем недавно я узнал, что эта идея родилась еще в 1902 году, когда Карл Юнг опубликовал работу «О психологии и патологии так называемых оккультных явлений».

Подведем итоги: внутренние путешествия мифологического героя, шамана, мистика и шизофреника по существу совпадают, а возвращение или выздоровление воспринимается при этом как новое рождение — появление, так сказать, «дважды рожденной» личности, уже не скованной горизонтами повседневности. Сейчас уже известно, что это лишь отражение более обширного «я», а задача его — внесение энергий архетипической системы инстинктов в плодотворный спектакль, который разворачивается здесь и сейчас, в пространстве и времени, в обыденных обстоятельствах. Человек уже не боится ни природы, ни ее не менее чудовищного детища, общества, — а по-другому и быть не может, иначе людям просто не выжить. Обновленная личность пребывает в согласии, гармонии, ладу со всем вокруг. Вернувшиеся из такого путешествия рассказывают, что жизнь их стала богаче, здоровее и радостнее.

Главная проблема, судя по всему, заключается в том, как пройти этот путь — возможно, неоднократно, — без кораблекрушения. И решение вовсе не в том, чтобы просто не позволять человеку сходить с ума. Лучше заранее рассказать ему хоть немного о том, куда он попадет и какие силы там встретит, — дать своеобразное волшебное заклинание, позволяющее распознать, подчинить и использовать эти энергии. Одолев фафнира, Сигурд делает глоток драконьей крови и тут же сознает, к своему удивлению, что начал понимать язык природы — как собствен-

ной, так и внешней. При этом он вовсе не превращается в дракона, хотя его новообретенный дар объясняется, конечно, драконьими силами. Впрочем, Сигурд теряет над ними власть, как только возвращается в обычный человеческий мир.

Путешествие всегда таит в себе угрозу того, что в психологии называют «разбуханием»; именно оно нередко овладевает психотиком. Он начинает считать самого себя тем, что видит, отождествляет наблюдателя с наблюдаемым. Ловкость заключается в том, чтобы сознавать объект, не теряясь в нем, и постичь, что каждый человек может помочь друзьям и врагам, стать для них своеобразным спасителем, но не самим Мессией. Мы — отцы и матери, но никак не Богиня Мать или Великий Отец. Когда подрастающая девочка начинает замечать чарующее влияние своей распускающейся женственности на других, но приписывает эту заслугу самой себе, это уже легкое сумасшествие, так как отождествление ошибочно. Причиной восторга окружающих является не ее изумленная крошечная душа, а чудесное преображение облекающего личность тела. Мне вспоминается услышанная когда-то японская пословица о пяти стадиях человеческого развития: «В десять — зверек, в двадцать — безумец, в тридцать — неудачник, в сорок — мошенник, в пятьдесят — преступник». Я бы добавил, что в шестьдесят, когда все перечисленное уже позади, человек начинает давать советы друзьям, а в семьдесят, когда ему ясно, что слова всегда толкуют превратно, он умолкает, и потому его принимают за мудреца. «В восемьдесят, — заключает Конфуции, — я знаю свои корни и стою твердо».

Для того чтобы сберечь эту ноту нашего урока душеспасительных мыслей, позвольте закончить разговор фрагментом из безумного видения, настигшего святого Иоанна во время жизни в изгнании на острове Патмос:

И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их;

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло. [...]

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева —для исцеления народов (Отк.21:1—4,22:1—2.).

XI. ПРОГУЛКА НА ЛУНУ: ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВНЕШНИЙ МИР (1970 Г.)

Похоже, сегодня мы превращаем мифы в явь!

Мне хочется, чтобы удивительную тему этой главы предварял отрывок из «Божественной комедии». Следующие слова поэт произносит в тот миг, когда воображаемое путешествие ведет его от земного Рая к Луне, первой небесной остановке духовного полета к Божьему престолу. Данте обращается к читателям:

О вы, которые в челне зыбучем, Желая слушать, плыли по волнам, Вослед за кораблем моим певучим, Поворотите к вашим берегам! Не доверяйте водному простору! Как бы, отстав, не потеряться вам! Здесь не бывал никто по эту пору: Минерва веет, правит Аполлон, Медведиц — Музы указуют взору. («Рай», 2:1—9; в пер. М. Лозинского)

Пусть эти строки зададут тон нашему разговору. Дыхание Минервы, Покровительницы героев, наполнит наши ветрила, присутствие Аполлона сулит приятные неожиданности, а вдохновительницы искусств укажутпутеводные звезды. Но наше плавание к внешним пределам станет одновременно и внутренним, так как направимся мы к источникам в великих свершений, а они зарождаются не где-то снаружи, а тут, в наших душах — где, кстати, обитают и музы.

Я вспоминаю себя совсем еще малышом, когда однажды вечером дядя привез меня на Риверсайд-драйв, чтобы показать «человека, который пролетел на аэроплане (так в те времена называли самолеты) из Олбан аж до Нью-Йорка». Было это в 1910 году, речь идет о Гленне Кертисе летал он на чем-то вроде самодельного воздушного змея с мотором Вдоль невысокой ограды на западной окраине города выстроились цепочки людей: все глядели в сторону заходящего солнца и чего-то ждали Толпы зевак собрались и на крышах окрестных домов. Уже смеркалось и тут кто-то, подняв руку, воскликнул: «Вон он!» Увиденное напоминало призрак темной птицы, парившей в сгущающемся мраке в паре сотен футов над гладью реки.

Семнадцать лет спустя, в год, когда я уехал из округа Колумбия, Линдберг совершил перелет через Атлантику. А уже в этом году все мы видели по телевизору две высадки на Луну.

Я хочу посвятить эту главу прославлению нашей удивительной эпохи, нашей замечательной страны и всего человечества, которое совсем недавно обрело, наконец, свободу, оторвалось от Земли и взлетело ввысь, где вскоре начнется наше величайшее приключение.

Когда я слышу, с каким равнодушием говорят некоторые мои коллеги-ученые об этих эпохальных событиях, мне сразу вспоминается анек-

дот про одну старую даму. Ей выдалась возможность взглянуть на Луну в телескоп, но, отвернувшись от окуляра, она проворчала: «Вы мне покажите Луну, какой ее Бог создал!» В мировой прессе я встретил только одну адекватную реакцию на первую прогулку человека по Луне: восторженные строки итальянского поэта Джузеппе Унгаретти, опубликованные в иллюстрированном журнале «Эпоха». На яркой обложке номера от 27 июля 1969 года красовалась фотография седого господина, который ликующе тыкал пальцем в телеэкран, а ниже были написаны проникновенные слова: Queste e ипа nottediversadaognialtranottedelmorido-

Это и вправду была «ночь, непохожая ни на одну другую ночь на свете»! Можно ли забыть 20 июля 1969 года и очарование того непостижимого мига, когда телевизоры доставили прямо в наши гостиные изображение странного летательного аппарата и осторожно опускающегося ботинка Нейла Армстронга, который оставил на грунте далекого спутника Земли первые следы живого существа? А затем, сразу почувствовав себя среди этого сказочного пейзажа как дома, два астронавта в скафандрах, с удивительной легкостью передвигаясь с места на места диковинно мягкими прыжками, деловито взялись за порученную им работу — установили американский флаг и кое-какое оборудование. Между прочим, изображение того, что происходило в космосе, в двести тридцати восьми тысячах миль от Земли, мы увидели благодаря другому современному чуду — к нему сейчас тоже относятся как к чему-то совершенно обычному. Я имею в виду телевидение. «Человечество, — провозгласил как-то Бакминстер Фуллер, предрекая это преображающее воздействие на наши органы чувств, — стоит на пороге рождения совершенно новых отношений со Вселенной».

С точки зрения исследователя мифологии, важнейшим следствием того, что написал в 1543 году об устройстве Вселенной Коперник, стали воззрения, противоречащие очевидным, доступным каждому «фактам». Прежде богословские и космологические понятия человечества опирались на убежденность в том, что Вселенная устроена именно так, как вы-

глядит с Земли. Представления человека о самом себе и окружающей природе, его поэзия и переживания были порождены зрением, прикованным к поверхности. Солнце поднимается на востоке, проходит по южной стороне небосклона и исчезает на западе. Полинезийский герой Мауи ловит Солнце силками, чтобы замедлить его ход и дать матери время приготовить ужин. Иисус Навин останавливает Солнце и Луну, чтобы засветло закончить очередную бойню, а его соратник, Бог, сбрасывает с небес град огромных камней — «и не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий» (Иис.10:14).

В древности Луну считали (а кое-кто и теперь считает) Обителью Отцов, пристанищем усопших и дожидающихся нового рождения душ, поскольку сама Луна, какой она видна человеку, постоянно пропадает и воскресает. Погружаясь в тень, она обновляется, будто сама жизнь, которая губит целые поколения, чтобы возродить их в потомках. Но вместо картины, многократно засвидетельствованной в священных писаниях, стихах, чувствах и видениях, Коперник предложил Вселенную, которую обычным глазом не увидеть и можно созерцать только мысленным взором, — математическая, совершенно незримая конструкция,

способная заинтересовать разве что астрономов. Для прочих представителей рода человеческого, чье зрение и чувства по-прежнему были прикованы к Земле, такое мироздание оставалось невидимым и неосязаемым.

Однако сейчас, четыре с четвертью века спустя, благодаря изображениям, которые приходят к нам с лунной поверхности, мы увидели — и не просто увидели, а ощутили всей душой, — что окружающий мир и отвлеченное построение Коперника действительно согласуются. Знаменитое цветное фото, где старушка Земля восходит величественным диском над беззвучным лунным ландшафтом, — зрелище незабываемое! В том

же выпуске «Эпохи» Джузеппе Унгаретти опубликовал первые стихи нового мира, славящие это лунное откровение:

Chefai tu, Terra, in del? Dimmi, chefai, Silenziosa Terra?

Что делаешь. Земля, на Небесах? Чем занята ты там, Безмолвная Земля?

Все былые связи нарушены. Отныне центр мироздания — повсюду и нигде. Земля — рядовое небесное тело, пусть и прекраснейшее из всех, а любая поэзия архаична, если не согласуется с чудом новой картины мира.

С другой стороны, я вспоминаю, какой стыд испытал в канун Рождества два года назад, в ночь первого пилотируемого полета вокруг Луны, когда трое отважных парней там, наверху, отправили миру весть, зачитав первую главу «Книги Бытия»: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста...» — и так далее. Ведь это не имело совершенно никакого отношения к миру, который они сами сейчас видели и изучали!

Позже я спрашивал нескольких приятелей, что чувствовали они, услышав, как с лунной орбиты доносятся эти слова, и все без исключения ответили, что сказанное было на редкость трогательным. Как странно! И как грустно, думал тогда я, что в нашей поэзии не нашлось подходящих строк, которые передали бы чувства, вызванные этим изумительным событием! Ни одного стихотворения, хотя бы отчасти отражающего всю чудесность и величие Вселенной, в чьи глубины мы наконец-то вторглись! Увы, нашелся лишь все тот же древний и ребяческий сон еврея родившегося в Вавилоне около четвертого века до нашей эры, — картина зарождения мира, полностью опровергнугая самими астронавтами, напомнившими о ней из космоса! Какое разочарование... На мой взгляд, куда

лучше было бы прочесть вслух прекрасные строфы Данте из вступления к «Раю»:

Лучи Того, Кто движет мирозданье, Все проницают славой и струят Где –– большее, где — меньшее сиянье. Я в тверди был, где свет их восприят Всего полней, но вел бы речь напрасно О виденном вернувшийся назад.

Конечно, сегодня мы не в силах предсказать символику грядущей поэзии, но те самые астронавты, спустившись с небес, невольно высказали об этом несколько предположений. Они быстрее мысли вознеслись в беспредельное пространство, совершили несколько витков вокруг пустынной Луны, начали долгое возвращение — и какой же гостеприимной, по их словам, казалась теперь манящая цель, наша Земля, «похожая на цветущий оазис в пустыне бесконечного космоса!» Вот он, красноречивый образ: наша планета, одинокий оазис во мраке — можно сказать, единственная священная роща, отведенная для ритуалов жизни. Храмом, святой землей, стал отныне не отдельный участок суши, а весь земной шар. Больше того, мы своими глазами увидели, какая она крошечная, наша рожденная небом Земля, как рискованно наше существование на тверди этой кипящей вихрями и ослепительно яркой сферы. Но астронавты высказали и другую мысль. Когда Центр управления поинтересовался, кто пилотирует корабль, из космоса тут же ответили:

«Ньютон!» Подумать только! Они спокойно неслись в открытом космосе благодаря математике, родившейся давным-давно в блистательном Разуме Ньютона,

Этот поразительный ответ сразу напомнил мне о главной проблеме сознания, над которой размышлял Иммануил Кант. Как получается, задумался он, что, оставаясь здесь, на своем месте, мы проводим математические расчеты, которые будут справедливы и где-то там, в совершенно иной точке? Никто не мог еще предположить, какой будет глубина

слоя пыли на лунной поверхности, а математики уже умели работать с точными законами космоса, и благодаря их вычислениям астронавтам удал совершить полет вокруг не только родной Земли, но и далекой Луны преодолев разделяющие нас тысячи миль незнакомой Вселенной. Как же так выходит, спросил себя Кант, что человек способен apriori выносить математические суждения о пространстве и пространственных отношениях?

Проходя мимо кривого зеркала, мы не в силах предсказать, какие очертания примет в следующий миг наше подвижное отражение. С космосом, однако, дело обстоит иначе. Пространство единообразно, ничто в нем не искажает математику трех измерений. По телевизору показывали, как спускавшийся с неба на парашюте посадочный модуль Второй Лунной экспедиции попал именно в ту точку океана, где и планировалось приводнение. Так мы своими глазами убедились в удивительной истине: до Луны больше двухсот тысяч миль, но познания о законах внешнего космоса родились в человеческом уме — во всяком случае, в голове Ньютона — уже за несколько столетий до того, как мы ворвались во Вселенную. К этому времени нам уже было известно, что там, вдалеке, скорость можно оценивать по земным меркам: при одинаковой скорости тут, на Земле, за одну минуту покрывается то же расстояние, что и там, в космосе. А это означает, что подобные истины мы знаем до опыта. Больше того, можно не сомневаться, что эти законы будут применимы и в грядущем, когда наши космические корабли направятся к Марсу, Юпитеру, Сатурну и еще дальше.

Кант рассудил, что пространство и время — «доопытные формы восприятия», непременные условия, предшествующие любым переживаниям и действиям. Тело и органы чувств знают о пространстве и времени еще до рождения, поскольку это и есть сфера их грядущего бытия. Эти категории существуют не просто «где-то там», словно далекие планеты; их не требуется познавать рассудком и путем многократных наблюдений. Мы несем законы пространства и времени в самих себе и, следователь-

но, изначально охватываем умом Вселенную. «Мир широк, — писал Рильке, — но в наших душах он глубок, как море». В душе скрыты законы, на которых основано мироздание, и потому мы сами не менее загадочны, чем весь мир. Разгадывая его дивные тайны, мы одновременно узнаем что-то о собственной чудесности. Тот полет на Луну, путешествие наружу, был и погружением в глубины нашей души. И это не просто поэтическое сравнение, а действительность, исторический факт. Я говорю о том, что, телетрансляции подробностей этой экспедиции преобразили, углубили и расширили человеческое сознание до такой степени, что теперь, возможно, пора отмечать начало новой духовной эры.

Первый человек на Луне опустил ногу на грунт с большой опаской. Затем на поверхность вышел второй астронавт, и какое-то время оба двигались очень осторожно — им нужно было привыкнуть к иной силе тяготения, иному весу скафандров и незнакомой обстановке. И тут — ей-богу! — они вдруг начали бегать, подпрыгивать, скакать, будто кенгуру! А два члена следующей экспедиции хихикали и хохотали, резвились, как ненормальные, — одно слово, лунатики! И я подумал: «Красотка Луна кружит рядом с Земным Шаром добрых четыре миллиарда лет, словно прекрасная незнакомка, пытаясь привлечь его внимание. Теперь старина, наконец, заметил ее — и угодил в силки. Так всегда случается, когда откликаешься на любовный призыв: нас ждет отныне новая жизнь, и она будет такой полнокровной, интересной и богатой, что и не снилось». Уже сейчас где-то рядом подрастают детишки, которые поселятся на Луне и побывают на Марсе. А куда занесет их потомков, трудно и представить!

Помните чудесный фильм «Космическая одиссея: 2001 год». Там рассказано о воображаемом полете мощного космического корабля, а действие разворачивается в не таком уж далеком будущем. До него и в самом деле рукой подать; я уверен, что его своими глазами увидят даже первые зрители этого фантастического фильма. Но начинается кино с любопытных кадров из жизни стаи человекообразных обезьян около миллиона лет тому назад: гоминиды, которых современная наука назы-

вает австралопитеками, рычат, дерутся — короче, ведут себя как обезьяны. Но среди них находится один, в чьих зачатках души кроется нечто большее, и проявляется этот потенциал в благоговении перед неведомым, подкупающей любознательности, желании подойти поближе и рассмотреть та всех сторон. В фильме эта черта показана символическим эпизодом, когда наш умница-предок с удивлением разглядывает невиданную каменную плиту, незнамо откуда выросшую среди однообразного пейзажа. Сородичи по-прежнему заняты обезьяньей суетой: решают экономические проблемы (добывают еду), предаются приятному общению (ловят Друг на друге блох) и приобщаются к политической деятельности (вступают в постоянные драки), а непохожий на остальных одинокий чудак сидит в сторонке, любуется монолитом и наконец решается протянуть к нему лапу и пробует камень на ощупь — в точности как на астронавт, чья нога медленно касается лунного грунта. Примеру смельчака следуют затем и другие обезьяны, хотя далеко не все, ведь и среди нас хватает тех, кого нисколько не трогает «лучшее в человеке» (Гёте). Впрочем, такие люди и в наше время остаются на уровне Допотопных обезьян, занятых исключительно экономикой, социологией и политикой; они сперва бросаются камнями, а после зализывают друг другу раны.

Эти к Луне не летают! Они вообще вряд ли понимают, что величайшие шаги человеческого прогресса — следствия не зализанных ран, а проявлений глубокого трепета. Отдавая должное извечной преемственности основных побуждающих принципов человеческой эволюции, авторы фильма показывают затем такой же символический монолит в укромном уголке Луны, где к нему прикасается рукавица астронавта. Третий монолит находят свободно парящим в далеком космосе — и он как прежде загадочен, потому что олицетворяет извечную Тайну.

Одним из самых ранних признаков отличия человеческого сознания от животного можно считать приручение огня; огонь, на мой взгляд, близок по символическому содержанию к монолиту из фильма. Мы не знаем, когда именно человек укротил пламя; известно только, что в пещерах

синантропов очаги разводили уже четыреста тысяч лет назад. Но зачем? Этого мы тоже не знаем. Очевидно, что еду на огне тогда еще не готовили. Возможно, возле очагов просто грелись; не исключено, что огнем отпугивали диких зверей. Но наиболее вероятным выглядит предположение, что танцующие языки пламени просто завораживали древнего человека. Во всех уголках света сохранились бесчисленные мифы о похищении огня, и почти всюду в это рискованное предприятие пускаются не ради практической пользы, но только потому, что огонь прекрасен. Вокруг огня можно плясать или просто сидеть и смотреть на него. Кроме того, в мифах обычно подчеркивается, что именно этот великия подвиг позволил человеку стать непохожим на зверей. Огню до сих пор поклоняются как божеству. Во многих культурах разведение домашнего очага имеет явные признаки ритуала. В Риме одной из самых почитамых богинь была Веста, во славу которой весталки разводили священный огонь.

Очарованность пламенем, чья загадочность сравнима с тайной монолита из фильма Кубрика, можно считать древнейшим в истории нашего рода свидетельством открытости и готовности пускаться в опасные путешествия, которые издавна стали важнейшей и уникальной чертой человека, отличающей его от обычных животных. И эта характерная особенность с поразительной ясностью проявилась в событии, о котором я не устану говорить с восхищением.

В предшествующих главах мы рассуждали о других проявлениях душевного трепета, благодаря которому представители нашего вида превосходили самих себя. Охотники с благоговейным трепетом относились к окружавшим их диким зверям, земледельцы — к чуду посеянного зерна, Древнешумерские жрецы-звездочеты — к размеренному ходу планет по небосводу. Все было таким таинственным, невыразимым и странным! Ницше назвал человека «больным зверем», daskrankeTier, потому что наш образ жизни изменчив и непредсказуем. В отличие от других видов животных, наше естество не сковано жесткими схемами. Лев вынужден

всю жизнь быть львом, собака — собакой, но человек может стать астронавтом, троглодитом, философом, моряком, хлебопашцем или скульптором. Он умеет играть и воплощать в своей жизни бесконечное множество совершенно разных судеб, а выбор его не определяется ни рассудком, ни просто здравым смыслом — только приступами восторга, или, как сказал Робинсон Джефферс, «миражами, выманивающими за ограду». Тот же поэт заявил: «Человечество — яйцо, откуда нужно вылупиться, панцирь, который надо расколоть, уголь, что должен стать пламенем, атом, требующий расщепления». Но что же выманивает нас за ограду?

Влюбленность дикая, что скачет выше стен природы,

искусство прыгуна, которому ограды не помеха, — Либо разумность звезд далеких и таинственные знания

кружащих демонов, тех, что слагают атом.

Судя по всему, именно первая увлеченность огнем выманила человека за ограду, к неведомому прежде образу жизни, где священным центром сугубо человеческой сферы забот стал домашний очаг. И лишь после того, как человек отделился от зверей, его воображение было очаровано устройством животной и растительной жизни и произвело на свет крупные мифологические схемы как внешнего, общественного строя, так и внутренних, личных переживаний: появились шаманы, живут как волки, ритуальные договоры с бизонами, танцоры в масках, тотемные первопредки и все остальное. Целые народы подчиняли свою жизнь законам и обрядам растений — умерщвление, расчленение и жертвоприношение лучших, самых выдающихся соплеменников во имя всеобщего блага. Эта идея сбереглась даже в Евангелии от Иоанна: «Истинно истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (12:24—25). Она же легла в основу притчи Христа о лозе сказанной на

Тайной Вечере: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза а вы ветви» (15:4—5).

Как видно, мифологическая растительная символика предполагает неразрывное слияние личной жизни с существованием общества, «выманивающего человека за ограду». Сравним с охотничьими племенами: их обряды, основанные на мифологии соглашений с животным миром, признают «обмен услугами», который расширяет круг интересов человеческого духа, стремящегося охватить нечто помимо его собственных непосредственных нужд. И все же, пожалуй, наибольший восторг, когда-либо воодушевлявший человеческую мысль, испытывали жрецы-звездочеты, созерцавшие больше пяти тысячелетий назад ночное небо над Месопотамией. Наблюдения за светилами вызывали ощущение стройности, математической предопределенности мироздания, в согласие с которым следует привести и устройство общества. Именно тогда появились иератические города-государства — источник и надолго утвердившийся образец устройства всех высших, интеллектуальных цивилизаций.

Иными словами, вовсе не экономика, а небесная механика стала причиной развития религиозной мысли, искусства, литературы, науки, морали и общественного уклада, которые в те времена вознесли людей До уровня цивилизованной жизни — в очередной раз «выманили за ограду» и позволили достичь чего-то неизмеримо большего, чем решение сугубо экономических или политических задач.

Как известно, сегодня подобные идеи и принципы безвозвратно канули в прошлое, а опирающиеся на них цивилизации разобщены и стоят на грани гибели. Общество уже неподвластно движению планет, а социологию и физику, политику и астрономию не считают разделами единой науки. Наконец, саму личность больше не воспринимают (во всяком случае, у нас, на демократическом Западе) неотъемлемой и второстепенной частичкой гигантского государственного организма. Теперь мы

знаем — если вообще что-нибудь знаем, — что личность уникальна и не должна подчиняться правилам чужой жизни. Кроме того, дам известно, что если божественное и существует, то кроется оно вовсе не «на небесах», среди планет или где-то за ними. Галилей доказал, что физические законы движения земных тел применимы и к тому, что выше, среди небесных сфер: недавно мы сами стали свидетелями того, как наши, земные законы перенесли астронавтов на Луну. Вскоре человек ступит на Марс и другие планеты, и мы можем не сомневаться, что к тому времени математика далекого космоса уже будет рассчитана человеческим умом нашей планеты. Там нет законов, которые не выполнялись бы тут, нет богов, бессильных здесь — и не только здесь, но и внутри нас, в наших душах. Что же делать теперь с простодушными образами телесного вознесения Илии, Девы Марии и Христа на небеса?

Что делаешь, Земля, на Небесах? Чем занята ты там, Безмолвная Земля?

Астронавты переставили Луну вниз, а нашу планету пустили в полет по небесам. С марсианских равнин старушка Земля будет выглядеть еще более далекой, возвышенной, «неземной», — и все же ничуть не приблизится к какому-то богу. С Юпитера она вообще покажется крошечной точкой — и так далее, до бесконечности. Родная планета будет казаться все меньше по мере того как наши дети, внуки и праправнуки будут уходить все дальше по открытому совсем недавно пути, наяву сталкиваясь с тем, что мы уже предвосхитили умом.

Иными словами, происходящее сейчас преображение мифологически сферы сравнимо по величию разве что с переворотом, совершенным в четвертом тысячелетии до нашей эры древнешумерскими звездочётами. Гибнет не только мир богов и людей, но и само настроение, породившее их в ту восторженную эпоху. Много лет назад неизгладимое впечатление произвели на меня работы Лео Фробениуса, которого сих пор считаю лучшим мифологом своего времени. Он воспринимал всю исто-

рию человечества как единый органический процесс, подобен развитию живой особи, которая проходит стадии роста, зрелости и старости. Существование человеческого рода, как и отдельной личности начинается с детства, переходит от поры юности к зрелому возрасту а после к увяданию. Детством человечества была давняя и невообразимо долгая эпоха первобытных охотников, рыбаков, собирателей и сеятелей живших в тесном общении с соседями из животного и растительного мира. Вторая стадия, которую Фробениус назвал «монументальной» началась с расцветом первых земледельческих городов. Уклад жизни обладавших письменностью цивилизаций был согласован с воображаемым устройством мироздания, проявлявшимся в законах движения небесных тел. Позже в светилах начали видеть обители высших духов, хотя на самом деле планеты, как уже хорошо известно, совершенно материальны. Законы Земли и нашего мышления распространились настолько что захватили территории, принадлежавшие некогда богам, — и мы узнали в богах самих себя. В результате воображаемые основы «монументального миропорядка» были перенесены «оттуда» в наши собственные души. Началась новая эпоха — «материалистическая», как назвал ее Фробениус, глобальная, сравнимая по духу с воодушевлением давних времен, когда верх взяла лишенная иллюзий мудрость и забота о материальном теле и человек сосредоточился на нуждах настоящего, а не мечтах о далеком будущем. Из языков пламени, мира зверей и трав и межзвездной запредельности Дух переселился в человека, прямо на землю — ту Землю, которую астронавты увидели и сфотографировали, паря в Небесах у самой Луны.

В одной своей лекции мой друг Алан Уотс предложил любопытную замену прежнему образу человека как сосланного па эту землю чужака, чей дух, сбросив после смерти бренную телесную оболочку, возносится к своей настоящей родине и остается рядом с Богом на Небесах. «На самом же деле, — заявил доктор Уотс своим слушателям, — мы вовсе не приходим в этот мир. Мы появляемся из него, как лист из дерева или дитя из чрева... Иисус сказал, что не собирают с терновника виноград или

с репейника смоквы; так и людей не собирают с другого, безлюдного мира. Наш мир рождает людей, как яблоня — яблоки, как лоза — виноград».| Другими словами, мы — естественное порождение этой Земли. Больше того, как заметил доктор Уотс в той же беседе, мы, существа разумные, являемся плодами разумной Земли, как и должно быть в разумной энергетической системе — ибо «не собирают с репейника смоквы». Таким образом, нас можно считать глазами, ушами и разумом Земли, исполняющими по отношению к ней ту же роль, какую чувства и сознание играют для нашего организма. Наши тела едины с Землей, цветущим оазисом в пустыне бесконечного космоса», и через нас в этот оазис приходит, в нем цветет и плодоносит математика бесконечного пространства — как математика в уме Ньютона, в нашем уме, в уме Земли и Вселенной.

Вспомним еще раз; когда сидевший в своей унылой пещере троглодит-синантроп откликнулся на чары огня, он учуял в языках пламени силу, которая уже переполняла его собственное тело: жар, тепло, окисление — то же, что происходит в недрах Земли, Юпитера и Солнца. Облаченный в маску танцор тотемического охотничьего племени воображал себя священным зверем, чтобы прославить интуитивно ощущаемую в убитой добыче грань собственной души, что роднит нас с животными, — мудрость инстинкта, на которой основан естественный порядок жизни на Земле. То же относится и к миру растений, чьи формы скрывают еще один аспект нашей сущности — принципы питания и роста. Во множестве мифологий, причем далеко не примитивных, люди изображаются растущими из земли или деревьев — «земля рождает людей»! Вот лишь самые известные примеры: крест, древо жизни, на котором, как плод, распят Христос, «второй Адам»; дерево мудрости Будды и ясень Иггдрасиль древних германцев. Все эти деревья олицетворяют мудрость жизни, которая явственно проступает уже в растительных процессах. Именно она еще в утробе матери придает нашим телам определенный облик, готовит их к умению дышать воздухом этого мира, переваривать и усваивать посредством сложнейших химических процессов еду, которую в этом мире

можно найти. Именно эта мудрость дает нам глаза, чтобы видеть мир, и мозг, чтобы осмыслять его в математических категориях, пригодных для самых далеких уголков пространства и времени.

Побывав на Востоке, я обратил внимание, что зодчие буддийских храмов часто выбирают возвышенности с прекрасным видом. Когда глядишь с таких мест на безбрежные просторы, возникает Двойственное чувство: ты словно становишься меньше, но и, вместе с тем, разрастаешься, так как обзор шире привычного. Еще я замечал, что в полет (особенно над океаном) совершенно родным начинает выглядеть мир неодушевленной материи — облака, сам воздух и чудесные переливы света. Тут, внизу, нас волнует милая сердцу природа растений; там, в вышине, — изумительная игра пространства. Прежде думали: «Как мал человек в сравнении со Вселенной!» Переход от геоцентрической системы к гелиоцентрической, на первый взгляд, лишил человека главенствующего положения — а быть в самом центре казалось невероятно важно! Но, с духовной точки зрения, центр там, куда направлен взор. Поднимись на вершину и смотри на горизонт! Ступи на Луну и гляди, как восходит над головой Земля — пусть даже у тебя дома, на телеэкране!

Всякий раз, когда расширяются горизонты, будь то в пещере троглодита, буддийском храме на вершине холма или на поверхности Луны, неизбежно происходит очередное расширение сознания и, одновременно, прозрение в глубины самого Бытия, чья сущность едина с нашим естеством. Помимо прочего, при этом непременно обогащаются и улучшаются условия материальной жизни человека.

Таким образом, главная моя мысль заключается в следующем: прямо сейчас все мы совершаем один из самых гигантских скачков человеческого духа в познании не только окружающего мира, но и загадки нашей собственной души. Это важнейший в истории шаг, равного ему не было и, возможно, не будет! И что же мы слышим от «гениев социологии», заполонивших в эти дни взбудораженные университеты? Их типичная

оценка была на днях изображена на большом плакате в йельской книжной лавке: фото нашего астронавта на пустынной Луне с подписью «И что такого?».

Вернемся, однако, к мифологической и богословской стороне этого события. Средневековый итальянский аббат-провидец Иоахим Флорский еще в начале тринадцатого века предсказал закат христианской Церкви и приход завершающей эры земной духовной жизни, когда Святой Дух будет говорить с человеческой душой непосредственно, без помощи духовенства. Подобно Фробениусу, этот монах рассматривал историю как смену эпох, последней из которых является наша. Всего он выделял четыре эпохи: первая, разумеется, началась с Грехопадения и явилась вплоть до главного исторического события, великой драмы искупления. Каждая эра проходила «под знаком» соответствующего Лика Троицы: первой была эпоха Отца (законы Моисея и народ Израилев), второй — Сына (Новый Завет и Церковь). Затем — ив этом, конечно, взгляды аббата сильно расходились с традиционным учением — должен был наступить период Святого Духа, эпоха погруженных в размышление святых, когда постепенно угаснет Церковь, в которой уже не будет необходимости. Во времена Иоахима довольно многие считали, что личность святого Франциска Ассизского как раз и знаменует зарю грядущего царства прямого духовного общения, предвестием которого было прямое Сошествие Святого Духа. Но, оглядываясь вокруг и наблюдая за тем, что происходит с Церковью сейчас, когда цивилизация с самым, пожалуй, горячим со времен позднего средневековья пылом рвется к мистической религиозности, я склонен полагать, что именно наши дни являются эпохой, которую предвещал некогда добрый пастырь Иоахим.

Прежде всего, нет уже ни благословенной свыше власти, которую все вынуждены признавать, ни миропомазанного наместника, оглашающего Божью волю. В современном мире все государственные законы приняты обществом. Ни тебе Синая, ни горы Елеонской — и никто не притязает на ниспосланную с небес власть. Законы принимаются и изменяются по

решению человека, и в рамках светской юрисдикции каждый вправе самостоятельно решать свою судьбу, искать свою истину и делать свой выбор. Мифологии, религии, философии и системы мысли, которые зародились больше шести тысяч лет назад и в которых черпали истины и принципы жизни все монументальные культуры Востока и Запада — Европы, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока и даже Древней Америки, — канули в прошлое; теперь мы предоставлены самим себе:

каждый может идти за своей звездой и прислушиваться к велениям собственной души. Мне кажется, невозможно придумать более уместное олицетворение героев нашего времени, чем образ мужественных астронавтов. И еще мне трудно представить, чтобы эта глава, славя их деяния, Свершалась иначе, чем строками из «Чалого жеребца» Робинсона Джефферса:

Атомы, рвущиеся на волю, Ядро — к Солнцу,

электроны — к планетам,

родство признавая, Без мольбы, себе равные,

целое целому — микрокосм Не входящий, не приемлющий входа, еще точнее,

полнее,

невиданнее сопряжен С другим пределом,

другим величием;

и тождество чувствует страстно…

Солнечная система и атом, два противоположных края научных исследований, признаны равнозначными — и в то же время различными! Таким должно стать и наше тождество со ВСЕМ — мы ему тождественны, хотя в то же время мы являемся его глазами, ушами и разумом. Ту же метафизическую идею высказал в своей поразительной и возвышенной книге «Моя картина мира» прославленный физик Эрвин Шрёдингер:

«Все мы, живые существа, неразрывно связаны, так как являемся в действительности отдельными гранями единого бытия, которое в западных понятиях можно, пожалуй, называть Богом, а в упанишадах именуют Брахманом».

Очевидно, вовсе не наука уменьшила человека в размерах и разлучила с Божественным. Напротив, мнение ученого возвращает нас, как ни странно, к взглядам древних; современный физик считает, что людям следует увидеть в окружающей Вселенной гигантское отражение сокровенного естества самого человека. Мы и вправду — органы чувств и сознание Вселенной, либо, говоря богословскими терминами, глаза и уши, мысли и Слово Бога. Больше того, прямо здесь и сейчас мы участвуем в сотворении мира, которое непрестанно развертывается в беспредельном пространстве нашего разума, где проносятся небесные светила — а теперь и ракеты с нашими сородичами, жителями Земли.

XII. НИКАКИХ ГРАНИЦ (1971 Г.)

Что такое новая мифология и какой она будет? Поскольку мифы сродни стихам, первым делом обратимся с этим вопросом к поэту — скажем, Уолту Уитмену и его «Листьям травы» (1855 г.):

Я сказал, что душа не больше, чем тело,

И я сказал, что тело не больше, чем душа,

И никто, даже бог, не выше, чем каждый из нас для себя,

И тот, кто идет без любви хоть минуту, на похороны свои он идет,

завернутый в собственный саван.

И я или ты, без полушки в кармане, можем купить

все лучшие блага земли.

И глазом увидеть стручок гороха —

это превосходит всю мудрость веков.

И в каждом деле, в каждой работе

юноше открыты пути для геройства,

И каждая пылинка ничтожная может стать центром вселенной,

И мужчине и женщине я говорю:

да будет ваша душа безмятежна перед миллионом вселенных.

И я говорю всем людям: не пытайте о Боге,

Даже мне, кому все любопытно, не любопытен Бог.

(Не сказать никакими словами,

как мало тревожит меня мысль о Боге и смерти.)

В каждой вещи я вижу Бога, но совсем не понимаю его, Не могу я также поверить, что есть кто-нибудь чудеснее меня.

К чему мне мечтать о том, чтобы увидеть Бога яснее, чем этот день.В сутках такого нет часа, в каждом часе нет такой секунды,

когда б не видел я Бога. На лицах мужчин и женщин я вижу Бога и в зеркале у меня на лице Я нахожу письма от Бога на улице, и в каждом есть его подпись, Но пусть они останутся, где они были,

ибо я знаю, что, куда ни пойду, Мне будут доставлять аккуратно такие же во веки веков.

Строчки Уитмена удивительно перекликаются с настроением самой ранней (ок. VIII в. до н. э.) упанишады, «Брихадараньяки» ~ «Большой Лесной книги»:

И когда говорят: «Приноси жертву тому богу», «приноси жертву другому», то это лишь его творение, ибо он — все боги. [...]

Он [Атман] проник сюда до кончиков ногтей, как нож в ножны, как огонь в пристанище огня. Его не видят, ибо он неполон. Дышащий, он зовется дыханием, говорящий — речью, видящий — глазом, слышащий — ухом, разумеющий — разумом. Это лишь имена его дел. Кто почитает лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он неполон. Пусть почитают его как Атмана, ибо здесь все [его дела] становятся одним. Этот Атман — след всего сущего, ибо, поистине, как находят по следу [утерянное], так узнают по нему все сущее. [...]

Лишь Атмана следует почитать дорогим. Кто почитает дорогим лишь Атмана, у того дорогое не погибнет. [...]

Кто же почитает другое божество и говорит: «Оно — одно, а я — другое», тот не обладает знанием. Он — как животное перед богами. Ведь, поистине, как многие животные приносят пользу человеку, так и

каждый человек приносит пользу богам. Даже когда бывает взято одно животное, это причиняет неудовольствие, — чего же говорить о многих? Поэтому, им [богам] неприятно, когда люди знают это.

О том же выразительно говорилось еще раньше, в «Египетской Книге мертвых»:

Я — Вчера, и Сегодня, и Завтра. Я властен рождаться вновь. Я — божественная сокровенная Душа, сотворившая богов и дающая погребальную пищу жителям и бездны, страны мертвых, и небес. [...] Здравствуй, владыка святыни, что высится в центре земли. Он — это Я, а Я — он!

И разве не совпадает это со словами самого Христа, пересказанными в гностическом «Евангелии от Фомы»

Тот, кто напился из уст Моих, станет как Я. Я также, Я стану им, и тайное откроется ему. [...]

Я — всё: всё вышло из Меня и всё вернулось ко Мне. Разруби дерево, Я — там; подними камень, и ты найдешь Меня там (112; 81).

А вот еще пара строчек Уитмена:

Я завещаю себя грязной земле, пусть я вырасту моей любимой травой, Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под подошвами.

Лет пятнадцать назад я познакомился в Бомбее с исключительно интересным немецким иезуитом, его преподобием отцом Герасом. Он вручил мне оттиск своей свежей статьи об отражении в индийских мифах тайны Бога Отца и Сына. Этот удивительно непредубежденный человек был большим знатоком восточных религий. Статья написана строго научнымиязыком, но главная ее мысль сводится к тому, что древнеиндий-

ского бога Шиву и его сына Ганешу, всенародного любимца, можно в определенном смысле считать равнозначными христианским Отцу и Сыну. Поскольку Второе Лицо Святой Троицы в его предвечном аспекте именуется Богом, который предшествует истории мира, питает ее и проявляется в каждом из нас (опять же, в определенной мере) как «образ Божий», то даже самому ортодоксальному христианину не так уж труд но разглядеть тени собственной религии в чужих богах и святых. Полагаю, все мы уже готовы признать тот факт, что любая мифология и ее персонажи — порождения психики, отражения ее деятельности. Откуда еще взяться богам, как не из человеческого воображения? Нам известна их история, мы знаем, какие этапы они проходили в своем развитии. Не только Фрейд и Юнг, но и все видные современные ученые в области психологии и сравнительного религиеведения признают и отстаивают точку зрения на мифологические образы и персонажи как родственные сновидениям по самой природе своей. Больше того, как говаривал мой старый друг Геза Рохейм, раз все спят одинаково, то и сны видят «по-одинаковому». Во всех уголках мира встречаются, по существу, одни и те же мифологические сюжеты: предания и легенды всех великих традиций повествуют о непорочном зачатии, многократных воплощениях, смерти и воскресении, втором пришествии, судном дне и так далее. И, поскольку образы эти исходят из психики, они многое говорят — разумеется, языком символов — о нашей душе, ее устройстве, законах и внутренних силах.

По этой причине их нельзя толковать как прямые, буквальные, доподлинные и неоспоримые указания на локальные исторические события и па действующие в них лица. Фактические ссылки если и имеют значение, то лишь второстепенное. Так, например, полагают буддисты, для которых исторический царевич Гаутама Шакьямуни — лишь одно из многочисленных не менее историчных воплощений «сознания Будды»; так же мыслят индуисты, насчитывающие бесчисленное множество воплощений Вишну. Однако нынешние христианские богословы сталкиваются с большими неудобствами, порожденными их собственной доктриной о

том, что Назорей был единственным историческим Вочеловечением Бога; сходные затруднения испытывает иудаизм с его не менее противоречивой доктриной единого Бога, который сотворил весь мир, по почему-то отдает предпочтение только одному «избранному народу»-В наше время подобный этноцентрический историзм ждет печальная духовная судьба. Нарастающие трудности, с которыми духовенству удаётся зазывать на свои банкеты ценителей «лозы виноградной», служат очевидным свидетельством того, что предлагаемые свадебные напитки теперь не так приятны на вкус. Наши отцы довольны были и этим, так как теснились в крошечном мирке вчерашней науки, когда каждая циклизация оставалась «вещью в себе». Но мы-то уже увидели фотографию нашей планеты, сделанную с поверхности Луны!

В старину, когда основными общественными единицами были племена, религиозные общины, народы и даже цивилизации, локальной мифологии вполне удавалось придавать всему, что пребывало за внешними границами общества, вид чего-то неполноценного, а местной разновидности общечеловеческого наследия отводить роль единственно правильного и незыблемого — или, по меньшей мере, высшего и благороднейшего — воззрения. И это было полезно, ведь тогда уклад жизни общества держался на том, что молодежь положительно откликалась на собственную систему племенных знаков и отрицательно — на знаки чужие, любила родное, а ненависть обращала вовне. Но сегодня все мы — пассажиры одного космического корабля (так однажды назвал нашу планету Бакминстер Фуллер), с невообразимой скоростью несущегося в никуда сквозь непроницаемую тьму Вселенной. Так можно ли допустить, чтобы на борту разгуливали космические пираты?

Ницше еще столетие назад назвал наше время «эпохой сравнений». Раньше существовали границы, в пределах которых люди жили, мыслили и толковали мифы. Теперь никаких границ нет, и после того, как они пропали, начались распри —ужасные столкновения не только самих народов, но и мифологий. Словно убрали заслонки, что разделяли камеры

с раскаленным и студеным воздухом, и теперь в одном пространстве бурлят противоборствующие стихии. Мы вступили в чрезвычайно опасный век грома, молний и ураганов. Не думаю, однако, что это должно вызывать истерию, взаимные обвинения и ненависть. Случившееся закономерно и совершенно естественно, ведь при первой встрече не соприкасавшиеся прежде энергии, у каждой из которых есть своя гордость, непременно вступают в борьбу. Именно это и происходит сейчас: вздымается гигантская волна, и мы несемся на ее гребне в новую эпоху к новому рождению, к совершенно небывалым условиям жизни — и едва ли, кто-то из наших современников владеет ключом к будущему и особенно его предугадать. Обвинять в этом тоже некого («не судите, да не судимы будете»). Происходящее нормально, несмотря на болезненность, смятение и многочисленные ошибки.

Среди энергий, которые на полной скорости врезались друг в друга и грозят взрывом, далеко не последнюю роль — я умышленно подбираю мягкие формулировки! — играют древние мифологические традиции. Речь идет прежде всего о культурах Индии и Дальнего Востока мощно прокладывающих себе путь в сферы европейского наследи Влияние, конечно, взаимное, ведь одновременно в Азию рекой вливаются наши идеалы рационального, прогрессивного гуманизма и демократии. Следует также учесть, что общее направление современной науки задавалось некогда архаичными представлениями, лежащими в основе всех традиций. Думаю, все согласятся, что нам предстоит сделать чрезвычайно тонкий выбор и решить, нужно ли сохранять хоть что-то из мудрости человеческого рода, которой мы располагаем в настоящем, — ведь разумные идеи непременно нужно забрать с собой в неведомое будущее.

Я довольно долго размышлял над этим вопросом и пришел к такому выводу: если в символических образах — а мудрость и знания всегда и везде воплощались в символике — видят вовсе не прямые указания на подлинные исторические события и достоверные рассказы о жизни выдающихся людей, если символы понимаются прежде всего психологиче-

ски, по-настоящему «духовно», как намеки на внутренний потенциал человека, сквозь них начинает просвечивать то, что по праву можно назвать philosophiaperennis. Эта философия, однако, теряется из виду, когда священные тексты толкуют буквально, как исторические летописи, что вполне обычно для строгой ортодоксальной мысли.

В своем философском труде «Convinto» Данте различает буквальный, аллегорический, моральный и анагогический (мистический) смысл любого отрывка из Библии. Рассмотрим, к примеру, такое утверждение:

«Иисус Христос воскрес из мертвых». Его буквальное значение очевидно — некая историческая личность по имени Иисус, которую называли также «Христос» (Спаситель), ожил после смерти. Привычное для христианина аллегорическое толкование выглядит приблизительно так: «И потому мы тоже воскреснем из мертвых и будем жить вечно». Моральное поучение сводится к тому, что мысли следует обращать на созерцание вечного, а не бренного. Однако анагогическое, или мистическое, прочтение той же фразы открывает то, что не относится ни к прошлому» ни к будущему и выходит за рамки времени и вечности — происходит не тут или там, но повсюду вокруг, прямо сейчас и всегда. Таким образом, четвертый смысл заключается в том, что смерть — во всяком случае, в нашем преходящем мире — и есть жизнь вечная. Такой трансцендентальной точке зрения будет соответствовать своя мораль: «созерцая мимолетное, разум должен видеть в нем вечное», и своя аллегория: то самое тело, которое святой Павел назвал «сим телом смерти» (Рим. 7:24), представляет собой вечную жизнь — и она не ждет нас где-то там, на небесах, а разворачивается здесь, на Земле, и прямо сейчас, в этот миг.

Между прочим, сходный смысл имеет изречение Уильяма Блейка: «Если б врата познания были открыты, людям открылась бы бесконечность». Думаю, та же мысль угадывается и в приведенных в начале главы строках Уитмена, индийской упанишады, «Египетской Книги мерт-

вых» и гностического «Евангелия от Фомы». «На первый взгляд кажется, будто символы развитых религий совсем не похожи, — писал католический монах, покойный отец Томас Мертон, в своей краткой, но проницательной статье под названием «Символика: общение или объединение?», — но когда постигаешь смысл религий и видишь, что любые переживания — а это вершина веры и духовной практики, — яснее всего выражаются символами, становится понятно, что символика разных религий имеет намного больше общего, чем сухие формулировки официальных доктрин».

Тот же автор отмечает: «Настоящий символ не просто указывает на что-то другое. Он содержит в себе определенную структуру, которая пробуждает в человеке обостренное сознание глубинного смысла жизни и действительности. Настоящий символ увлекает к самому центру круга, а не к очередной точке на окружности. Именно символика позволяет человеку эмоционально и сознательно соприкоснуться с глубинами собственной души, другими людьми и Богом. [...] Слова Бог умер [...] означают, по существу, что погибли символы».

Поэт и мистик считают образный ряд откровения вымыслом, благодаря которому достигается анагогическое прозрение в глубины бытия — как собственной души, так и Вселенной. С другой стороны, богословы-фанатики упорно выискивают в священных писаниях буквальный смысл и тем самым губят традицию. У каждого из трех великих воплощений — Иисуса, Кришны и Шакьямуни — была своя, особая Жизнь, но если видеть в них символы, указующие не на самих себя или друг на друга, а на обычных людей, то скрытое содержание всех трех об разов равнозначно. Еще один отрывок из статьи монаха Томаса Мертона: «Человек не в силах воспринять символ, если не пробудил в своей душе духовный резонанс, откликающийся не просто на знак, но на святыню, божественное наполнение символа. [...] Символ — объект, указывающий на субъект. Он ведет к глубочайшему духовному сознанию далеко за пределами уровня объекта и субъекта».

Иными словами, при верном восприятии мифологии религии и великие эпосы безотказно проводят сквозь завесу персонажей и событий к вездесущему и вечному «наполнению», которое в каждой вещи присутствует целиком. Эта общая функция роднит все мифологии, гениальные стихи и мистические традиции. В той цивилизации, где по-прежнему действенны такие ободряющие прозрения, живы все и вся. Следовательно, необходимым условием того, чтобы мифология оживляла современный образ жизни, является умение распахнуть «врата познания», ведущие к великому и ужасному чуду человеческой души и Вселенной, в которой мы — глаза, уши и разум. Богословы, читающие свои откровения, так сказать, задом наперед, указывают только на прошлое (или, говоря словами Мертона, на «очередную точку окружности»), утописты предлагают лишь надежды на будущее, тогда как действенная мифология, зародившаяся в тайниках психики, возвращает человека к душе («центру круга») — и всякий, кто с достаточной серьезностью последует за ее путеводными знаками, заново откроет их в самом себе.

Пару недель назад я получил пакет от исследователя из Мэрилендского Центра психиатрических изысканий в Балтиморе. Зовут этого психиатра Станислав Гроф, и он прислал мне рукопись внушительного труда, где изучены результаты его четырнадцатилетней практической работы (сначала в Чехословакии, а затем здесь, в США). Он занимался психолитической терапией, то есть лечением нервных расстройств — как невро – так и психотического характера — с помощью разумных дозЛСД. Его открытия настолько ярко подтвердили мои размышления о мифологических формах, что я намерен посвятить несколько следующих страниц рассказу о типах и слоях сознания, которые доктор Гроф обнаружил в ходе собственных промеров бездонных глубин человеческой души. Кстати, его книга, которую сейчас готовят к публикации, будет называться «Агония и экстаз в психиатрическом лечении».

Постараюсь изложить все кратко. Первую категорию вызванных ЛСД переживаний доктор Гроф назвал «эстетическими». В целом они напоминают последствия наркотического опьянения, которые еще в 1954 году описал в своей книге «Врата восприятия» Олдос Хаксли — после того как принял четыре десятых грамма мескалина. Главная особенность: поразительное обострение, изменение и усиление восприятия всех органов чувств, в результате чего, как отмечал сам Хаксли, даже обычная садовая лавка под жарким солнцем выглядит «невыразимо прекрасной, такой дивной, что даже страшновато». Другими, более глубокими следствиями становятся ощущение телесного преображения, невесомости, полета, ясновидения, даже способности превращаться в зверя — почти то же самое, о чем рассказывают первобытные шаманы. Такими способностями (так называемыми сиддхами) обладают, по их собственным заверениям, индийские йоги; считается, что эти силы приходят не извне, а изнутри, пробуждаются благодаря мистическим практикам и потенциально кроются в каждом из нас. Олдос Хаксли придерживался того же мнения, хотя и выразил эти идеи на языке Запада, но об этом мы поговорим чуть позже.

Второй тип реакции на ЛСД доктор Гроф назвал «психодинамическими переживаниями» и связал с тем слоем сознания, который Юнг определил как «личное бессознательное». В этих случаях ЛСД, по существу, приводит в действие перегруженное эмоциями содержимое психики, с которым обычно работает фрейдистский психоанализ. Мрачное напряжение и испуганное сопротивление рациональной оценке, характерные Для этого уровня, вызваны многочисленными неосознаваемыми путами нравственных, социальных и по-детски напыщенных защитных механизмов эго, неуместных в зрелом возрасте. Что касается мифологических сюжетов, с которыми профессиональные психоаналитики сравнивают такие внутренние конфликты — например, комплекс Эдипа или Электры, — то на самом деле в данном случае они вовсе не мифологичны. В контексте инфантильных биографических ассоциаций они не играют никакой анагогической, сверхличностной роли и представляют собой исключительно детские мечты, потерпевшие крах в результате подлинных или

воображаемых запретов и угроз со стороны родителей. В фантазиях этого «фрейдистского» уровня появляются подчас традиционные мифологические персонажи, но и они остаются просто аллегорическими образами душевных противоречий — по наблюдениям доктора Грофа, чаще всего встречаются «столкновения полового влечения г религиозными табу, а также примитивные фантазии о демонах в аду или райских ангелах; все зависит от сказок, угроз и обещаний родителей» Психологические «узелки» личного бессознательного слабеют только после того, как человек деятельно переживет этот индивидуальный «психодинамический» материал вместе с его эмоциональными, чувственными и понятийными свойствами. Лишь после этого можно пуститься в дальнее внутреннее путешествие, перейти с биографического мелководья к подлинно сверхличностным (сначала биологическим, а после метафизическим и мистическим) глубинам.

Во время фрейдистского психоанализа и на «психодинамических» стадиях психолитического лечения пациенты «возрождают в памяти» укоренившиеся неосознанные схемы эмоций и поведения — и тем самым избавляются от них. Доктор Гроф заметил, что, когда такие личные воспоминания остаются позади, у больных появляются психологические и физические симптомы возрожденных переживаний совершенно иного характера — например, агония появления на свет: тот миг (наделе он растягивается на долгие часы) покорного и беспомощного ужаса, когда маточные мышцы внезапно сокращаются — а потом снова, и снова, без конца... Пациенты испытывают также более острые муки второго этапа рождения, когда раскрывается шейка матки и плод неумолимо выталкивается по родовым путям; движение сопровождается непрестанным усилением страха и агонии. Вершиной этого кошмара становится ощущение полного уничтожения — и тут вдруг свобода, свет!.. Острая боль, когда режут пуповину, пугающее удушье, пока кровь не находит новый путь к легким — и первый вдох, выдох, самостоятельное дыхание! «Пациенты часами мучались от боли и хватали ртом воздух, ––пишет доктор Гроф. — Цвет лиц менялся от мертвенно бледного до лилового. Они катались

по полу и корчились в сильных судорогах: мышечное напряжение вызывало спазмы и резкие подергивания. Частота пульса нередко удваивалась, сердцебиение становилось скачкообразным; наблюдалась тошнота, часто с рвотой и обильным потоотделением».

«Субъективно, — продолжает он, — эти переживания имели трансперсональный характер, то есть охватывали рамки намного шире сферы индивидуального организма и срока жизни отдельной личности. Подопытные отождествляли себя сразу со многими личностями или целой группой людей, иногда даже со всем страдающим человечеством в прошлом, настоящем и будущем. [...] Наблюдаемые явления по природе своей намного фундаментальнее и многомернее, чем на фрейдистской стадии». Судя по описаниям, они действительно относятся к мифологической, сверхличностной сфере, поскольку не ограничиваются, как на фрейдистском этапе, событиями личной жизни, одновременно погружают в глубины и выводят наружу — к тому, что Джеймс Джойс назвал «значительным и постоянным в человеческих бедствиях».

Например, при повторном переживании в ходе психолитического лечения кошмара первых стадий родовой травмы — тех минут, когда матка начинает сокращаться и у запертого в утробе плода пробуждается от страха, боли и чувства опасности первичное самосознание, — до смерти перепуганного пациента захлестывает острейшее ощущение того, что страдания составляют саму основу бытия. В голове мелькают фантазии о пытках инквизиции; переполняющие чувства метафизического бедствия и экзистенциального отчаяния вызывают отождествление с распятым Христом («Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»), Прометеем на скалистой вершине или Иксионом с его вращающимся колесом. Мифическое настроение соответствует буддийскому «вся жизнь — страдание»: в страхе и боли человек появляется на свет, в страхе и боли умирает, да и в промежутке его не ждет почти ничего кроме страха и боли. «Суета сует, все суета». Пациента охватывает навязчивое желание докопаться до «смысла», и если ЛСД-переживания прервутся на этой

тоскливой ноте, человека долго не оставляет ощущение тошнотворности и бессмысленности жизни, больше похожей на омерзительную и безрадостную преисподнюю, откуда нет выхода ни в пространстве, ни во времени — мы и вправду будто «за закрытыми дверями». Остается разве что самоубийство, которое в подобных случаях Низменно покорно, тихо и беспомощно: утопление или горсть таблеток снотворного.

Однако при переходе к обостренным ощущениям второго этапа родовой травмы, долгой и мучительной борьбы с мышцами родовых путей, общее настроение и образный ряд становятся неистовыми. Господствуют уже не смирные, а яростные страдания с признаками жестокости и садомазохистской страсти: фантазии о кровавых войнах или схватка» с громадными чудовищами, видения гигантских приливных волн и потопов, разгневанных богов, обрядов жертвоприношений, сексуальных оргий, сцен страшного суда и так далее. В столкновениях пациент одновременно видит себя и жертвой, и нападающей стороной; по мере того как нарастает общая острота агонии, он постепенно приближается к мучительному порогу и наконец пересекает его. Доктор Гроф метко назвал этот ужасающий перелом «вулканическим блаженством», так как в нем сливаются все крайности боли и наслаждения, счастья и ужаса, жажды убивать и нежной любви. Соответствующая мифическая символика — та же, что в религиозных откровениях мучений, чувства вины и самопожертвования: ярость Господня, всемирный Потоп, Содом и Гоморра, Моисей с десятью заповедями, Христос на кресте, вакханалии, умерщвление жертв в храмах ацтеков, Шива-Разрушитель, отвратительная пляска Кали на погребальном костре и фаллические обряды Кибелы. Самоубийства, совершаемые в этом «дионисийском» настроении, носят разнузданный характер: человек может вышибить себе мозги, спрыгнуть с моста на рельсы перед несущимся поездом и тому подобное; порой самоубийство замещается бессмысленными и жестокими убийствами. Пациент одержим ощущением агрессивного напряжения, смешанного с предчувствием неизбежной катастрофы, что вызывает предельную вспыльчивость и склонность провоцировать конфликты. Ему кажется, что весь мир

полон опасностей и несправедливости. Карнавалы с их дикими выходками, буйные увеселения с беспорядочным сексом, пьяные оргии и разгульные танцы, насилие во всех его проявлениях, головокружительные авантюры и смертельный риск — вот образ жизни, помеченный свирепой стадией родовой травмы. В ходе сеансов лечения возврат к этому событию может привести к кульминации ужасающего кризиса подлинной гибели эго, полного уничтожения на всех уровнях, за которым рождается наконец величественное, беспредельное ощущение свободы, нового рождения и спасения, сопровождающееся беспримерными переживаниями декомпрессии, пространственного разрастания» ослепительно яркого света. Человеку видятся павлиньи перья, радужные переливы, раскрашенные небесной синью и золотом гигантские залы бесконечными рядами колонн и хрустальными светильниками и прочие подобные картины. Ощущения чистоты и незапятнанности вызывают у пациента всепоглощающую любовь к людям, свежее восприятие искусства и красоты природы, непреодолимую жажду жизни, готовность прощать, чудесное чувство всеобщей гармонии, согласия с окружающим миром и близости к Богу.

Доктор Гроф обнаружил — и лично мне это кажется очень поучительным, — что на последовательных сеансах лечения пациент черпает поддержку в различных символах многочисленных религий мира. Переживание мук родовой травмы чаще всего вызывает в мыслях ветхо- и новозаветные ассоциации, переплетающиеся порой с некоторыми греческими, египетскими и другими языческими аналогиями. Но когда агония завершается и пациент ощущает свободу «рождения» — по существу, второго, духовного появления на свет, избавления от неосознанных страхов прежнего, «перворожденного» состояния личности, — образный ряд видений полностью меняется. Место библейских, греческих и христианских сюжетов занимает символика восточная — главным образом индийская. «Источник таких переживаний неясен, —признается доктор Гроф, — но сходство с индийской традицией поразительное». Он сравнивает тональность этих фантазий с вневременным внутриматочным существованием

до рождения: блаженство, покой, неизменность с глубоким и приятным ощущением радости, любви и гармонии, даже единства со Вселенной и Богом. Как ни парадоксально, это непередаваемое состояние одновременно бессодержательно и всеобъемлюще — это небытие, которое больше бытия, отсутствие эго, но беспредельность «я», заполняющего весь космос. В связи с этим мне вспоминается отрывок из «Врат восприятия», где Хаксли рассказывает о своих ощущениях во время первого мескалинового полета ума, которому открылась такая чудесная ширь, что и вообразить нельзя:

Размышляя о своих переживаниях, я согласился с мнением выдающегося философа из Кембриджа, доктора Брода, который считал, что «нам следует намного серьезнее относиться к таким теориям воспоминаний и чувственного восприятия, как предложенная Бергсоном. Он предположил, что функция мозга, нервной системы и органов чувств — это прежде всего отсев переживаний, а не их обильное производство. Каждый человек в любой миг способен вспомнить и ощутить все, что случалось когда-нибудь с ним или происходит где-то во "селенной. Задача мозга и нервной системы —уберечь нас от потрясения и смятения, которые неизбежно вызвала бы такая гигантская масса бесполезных и бессмысленных сведений. Таким образом они отсекают большую часть воспоминаний и переживаний, оставляя нам лишь ту крошечную выборку, которая, вероятнее всего, имеет практическое значение».

По таким теориям, каждый из нас потенциально — «всеобщий Разум», но в той степени, в какой мы остаемся животными, наша главная задача — выжить любой ценой. Для того чтобы обеспечить биологическое выживание, «всеобщий Разум» вынужден уменьшать пропускную способность мозга и нервной системы, и в результате с другой стороны клапана сочатся лишь ничтожные капли того сознания, которое помогает продолжать существование на этой планете. [...] Большая часть людей сознает обычно лишь то, что просачивается сквозь тугой вентиль и чему местный язык присваивает священное звание истинной реальности. Но

кое-кто, похоже, рождается с неким дополнительным каналом, проложенным в обход узкого клапана; у других людей обводной канал может появляться кратковременно — как непроизвольно, так и вследствие «духовных упражнений». Так или иначе, по второму каналу течет не подлинное восприятие «всего, что происходит где-то во Вселенной» (ведь сам по себе этот канал не заменяет основной пропускной вентиль, который по-прежнему сдерживает весь объем «всеобщего Разума»), а нечто большее и, главное, совершенно непохожее на тщательно отобранные, практические сведения, которые наш ограниченный индивидуальный ум считает полной — по меньшей мере, достаточной — картиной действительности'.

Из сказанного совершенно очевидно, что мифологические символы, зарождающиеся в душе и к ней же обращенные, представляют во всем многообразии своих разновидностей различные этапы или степени открытости пропускного клапана эго-сознания, его доступа к беспредельным просторам того, что Олдос Хаксли называет «всеобщим Разумом». В «Тимее» Платон утверждал, что «есть только один способ пестовать что бы то ни было — нужно доставлять этому именно то питание и то движение, которые ему подобают. Между тем, если есть сродство с божественным началом внутри нас, то это мысленные круговращения Вселенной»2. Я бы добавил, что именно оно и представлено в мифе. Однако как показывают многочисленные мифологии народов мира, универсалии повсюду конкретизируются и вписываются в местные общественно-политические условия. Как говаривал мой преподаватель сравнительного религиеведения из Мюнхенского университета, «субъективно все религии одинаковы, но объективно различаются».

В прошлом — думаю, мы уже вправе считать те времена минувшими — различные виды религий соответствовали разным и нередко противоположным интересам многочисленных обществ; частная символика приковывала личность к идеалам и рамкам местной группы. Но здесь, на Западе, мы уже научились видеть разницу между сферами приложения и

задачами, с одной стороны, общества, прагматичного выживания, экономики и политики и, с другой, подлинно психологических (либо, как говорили раньше, «духовных») ценностей. Вернемся ненадолго к Данте: в четвертой части своего «Convito» он рассуждает о предписанном свыше разделении Церкви и государства; олицетворение такой самостоятельности он видит в тесно связанных и все-таки независимых историях Иерусалима и Рима, Папства и Империи. Это две длани Господни, но правую нельзя путать с левой. Затем Данте попрекает римских пап вмешательством в политику, так как церковная власть — «не от мира сего», а от Духа. Перенося эту аналогию в современный мир, можно сказать, что те же отношения связывают «всеобщий Разум» с утилитарными целями биологического выживания: то и другое совершенно естественно и необходимо, но приравнивать их нельзя.

Сегодня мы, слава Богу, живем в светском государстве, руководимом обычными людьми (со всеми их недостатками). Наше общество опирается на законы, которые продолжают совершенствоваться и основаны на римском, а не «иерусалимском» праве. Больше того, идея государства стремительно разрастается сейчас до концепции экуменизма, охватывающей все населенные уголки Земли —и если мир не сплотит нечто иное, то объединяющим началом станет, безусловно, экологический кризис. По этой причине у нас уже нет ни потребности, ни возможности придерживаться локальных, общественно-политических, ограниченных, «объективно различных» религий, которые разделяли народы в прошлом и воздавали Богу кесарево, а кесарю — почему-то Божье.

«Бог — мыслящая сфера, чей центр повсюду, а окружность — нигде». Так сказано в небольшом сборнике изречений под названием «Книга двадцати четырех философов» (XII в.). Каждый из нас, кем бы и где быон ни был, находится в центре, а в душе его, сознает он это или нет кроется «всеобщий Разум», чьим законам подчиняется не только любой ум но и любое пространство. Как я уже говорил, все мы — дети прекрасной планеты, которую совсем недавно сфотографировали с поверх-

ности Луны. Мы не перенеслись сюда волей какого-то бога, а просто выросли из нашей Земли. Мы — ее глаза и ум, зрение и сознание. Как утверждают ученые, сама Земля, порхающая мотыльком вокруг Солнца, возникла некогда из туманности, а туманность зародилась в бездонном космосе Так стоит ли удивляться, что тут и там царят одни законы? Но тогда и глубины нашей души — беспредельный космос, откуда в человеческий разум приходят все те боги, которыми в минувшем населяли зверей и растения, холмы и ручьи, далекие планеты и своеобразные общественные обряды.

У нас появилась новая мифология — мифология бесконечного пространства с мерцающими огоньками, глубокого космоса как внутри, так и снаружи. Мы околдованы им, как ночные бабочки, и мчимся туда, к свету Луны и дальних планет, одновременно погружаясь в бездну собственной души. На Земле все границы и горизонты уже исчезли. Теперь мы не в силах отдавать сердца родному и ненавидеть чужое, потому что на этом космическом корабле нет уже ничего «чужого». И ни одна мифология, по старинке твердящая об «иноверцах» и «врагах», не сможет удовлетворить нужды нашей эпохи.

Итак, вернемся к вопросу, с которого началась эта глава: что такое новая мифология?

Как было, есть и будет всегда, пока существует род человеческий, это все та же древняя, неизменная, вечная, «субъективно одинаковая» философия, но рассказанная новой поэзией, которая отныне черпает слова в настоящем, а не в памятном прошлом или надеждах на будущее. Ее задача — пробуждать не самомнение «народов», а самосознание личности, которая должна увидеть в себе и других уже не просто разобщенные эго, сражающиеся за теплое место под солнцем, а равноправные центры «всеобщего Разума», частички единого целого, у каждой из которых свой путь — и у пути этого нет границ.